

ISSN 0132-0637

7 1992

Октябрь

Октябрь

7 1992



ПРЕДЛАГАЕТ НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ—

***РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, БИЗНЕСМЕНАМ,
БАНКИРАМ, АРЕНДАТОРАМ—***

взаимовыгодный диалог в вопросах обеспечения финансовой стабильности производственной и коммерческой деятельности, сохранения устойчивости социального положения работающих у вас людей.

Страховые полисы, приобретенные в наших организациях, предоставят вам гарантии наиболее полного возмещения при повреждении (гибели), краже основных и оборотных средств, убытках при осуществлении коммерческих операций (страхование непогашения кредита и ответственности заемщиков).

Только у нас вы можете заключить страховые договоры, обеспечивающие комплексную страховую защиту рабочих и служащих.

Это коллективное страхование жизни, возвратное страхование, страхование на случай потери работы (рабочего места), инвалидности, временной нетрудоспособности, от несчастных случаев, страхование различных видов имущества работников.

Устойчивость проводимых страховых операций обеспечивается значительными запасными фондами, качество работы — опытом, профессионализмом кадров. Наши тарифы доступны всем.

Если вы за предусмотрительность в делах, если вас заинтересовали наши предложения — обращайтесь в организации Росгосстраха, имеющиеся во всех городах и районных центрах республики.

Адрес Правления Росгосстраха: 103981, Москва, Неглинная ул., 23.

Телефоны: 200-29-95, 200-47-77.



ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1992

И Ю Л Ь

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНДРАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

«Октябрь — 1992 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Бахыт КЕНЖЕЕВ.
Младший брат. Роман 7

Ольга ГРЕЧКО.
Дождемся сентября. Стихи 69

Георгий ИВАНОВ.
Книга о последнем царствовании. Предисловие, коммен-
татории и публикация Вадима Крейда 71

Игорь МЕЛАМЕД.
Три стихотворения 112

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Петр СТРУВЕ.

Итоги и существо коммунистического хозяйства. Предисловие и публикация Ивана Задорожнюка . . . 114

«БЫВАЮТ СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ...» ГИПОТЕЗЫ, РАЗЫСКАНИЯ

Игорь ВОЛГИН.

Не удостоенные света. Булгаков и Мандельштам: опыт синхронизации 126

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Тамара ИВАНОВА.

Глава из жизни. Воспоминания. Письма И. БАБЛЯ. Окончание 161

Леонид МАРТЫНОВ.

Старинные легенды. Публикация Г. Суховой-Мартыновой 187

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),
И. А. БРЯНСКАЯ (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы),
Н. К. ЛОШКАРЕВА (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН**
(заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 08.06.92. Подписано к печати 01.07.92. Формат 70×108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 112 900 экз. Заказ № 1807. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124 ГСП, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64,
214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии —
214-60-24, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

«ОКТАБРЬ» — 1993

Не каждая книга становится настоящей. И все же из потока современной литературы мы стараемся выбрать и донести до читателя лучшие произведения наших и зарубежных авторов. История и современность, вихревые сюжеты и плавное, домашнее течение жизни, любовь и ненависть, политика и религия — все, что входит в круг интересов жизни каждого из нас, мы надеемся, предстанет перед вами в художественном исполнении как мир красоты и как мир ущербности, потому что нет в природе явлений однозначных, — но этим, видимо, и интересны и природа, и человек в ней.

Мы надеемся, что произведения, которые мы планируем представить на страницах «Октября» в 1993 году, полюбятся вам, принесут вашей душе удовлетворение, обогатят нравственно, станут вашими друзьями и собеседниками в наше беспокойное время.

Для вас, наши читатели, отбираем мы самое ценное из наследия российских мыслителей прошлого, из современных философских теорий Запада, готовим серию статей по проблемам русской литературы XX века.

ПРОЗА «Октября» будет представлена следующими произведениями:

Марк АЛДАНОВ. Начало конца. Роман.

Казалось, что с выходом 6-томного собрания сочинений М. Алданова почти все наиболее значительные его произведения стали достоянием читателей.

Но вот перед нами его роман в двух книгах, о существовании которого даже исследователи творчества М. Алданова знали лишь понаслышке, — его нет в «спецхране», на русском языке целиком не издавался он и за рубежом.

А между тем это едва ли не самая интересная вещь из наследия М. Алданова. С присущим ему художественным мастерством романист-историк рисует Европу конца 30-х годов, последних мирных лет перед второй мировой войной, — «начало конца». Сталин и Гитлер, общая политическая ситуация, размышления о фашизме, об установившемся режиме в России, его влиянии на судьбы страны и мира — такова канва этого романа с острым, детективным сюжетом.

Уверены, книга порадует читателей таланта этого замечательного романиста.

Анатолий АНАЦЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.

Кровавый Атила, свирепый Боян и не менее свирепые Чингисхан и Батый — три опустошительных нашествия несметных полчищ с востока — гунны, авары, монголы — выдержала в прошлом русская земля. Есть разные версии о становлении российской государственности, о нравах и характере славян, об их культуре, социальной и нравственной жизни, однако многое в нашей истории и поныне остается загадочным. Работа, задуманная как приложение к первому тому романа «Лики бессмертной власти», — еще одна попытка проникнуть в тайны формирования нашей души и нашей государственности, ибо без истинного познания истории человек слеп — не только в понимании окружающей его жизни, но и во взгляде на будущее. Читатель столкнется не просто с описанием исторических событий, материал подан с романной широтой и присущим автору философским осмыслением.

Михаил АРДОВ. Мелочи архи... прото... и просто иерейской жизни. Картинки с натуры.

По стилю и теме перед нами своеобразное продолжение «Мелочей архиерейской жизни» Н. Лескова. Однако, как пишет в предисловии автор, перед великим предшественником у него есть и два преимущества. Первое — наличие священного сана, и потому многое довелось постигнуть на собственном опыте; второе состоит в том, что двадцатый век явил нам такие «картинки», какие в веке девятнадцатом никому и в самом страшном сне не могли бы присниться.

Борис ВАСИЛЬЕВ. Дом, который построил дед. (Бремя выбора). Роман, книга вторая.

До сих пор писателей старшего поколения волнуют события, которые стали для России судьбоносными. Борис Васильев — писатель, которого не нужно представлять, — завершил вторую книгу своего исторического романа. И хотя время выбора в романе — Февральская революция — давно прошло, на самом деле книга о сегодняшнем времени и о сегодняшнем бремени выбора: не повторить роковые ошибки тех лет. Книга Б. Васильева дает нам урок памяти и нравственную основу выбора.

Владимир ВОЙНОВИЧ. Замысел. Роман.

Владимир Войнович — один из тех немногих писателей, которые в наше время обратились к прекрасной традиции русской прозы — роману, по-гоголевски ироничному и по-щедрински язвительному. Читателям хорошо известны его романы о Чонкине. Книга, которую он заканчивает для нашего журнала, — это одновременно и завершающая часть трилогии, и новое произведение, новые герои, новое время, подытоживающее прожитые на родом десятилетия, его надежды, радости, горечь.

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс. Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Эта книга — продолжение уникальной биографии Достоевского, первый том которой — «Родиться в России» — получил широкое читательское признание.

Новая работа посвящена участию Достоевского в «странном заговоре», известном как дело петрашевцев. Основываясь на новых архивных источниках, автор восстанавливает тайную подоплеку этой общественной драмы, которая оказалась тесно связанной с дальнейшими судьбами России. «Политический процесс» — это воссоздание процесса всей русской исторической жизни 1847—1849 годов — от деятельности Николая I и членов царствующего дома (анализируются интимные дневники наследника престола) до полицейской провокации, жертвами которой стали Достоевский и его друзья.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Мытари и блудницы. Роман.

О романе, который еще на писательском столе, говорить трудно. Но художественный вкус и опытная рука известного современного поэта и прозаика Бахыта Кенжеева — лучшая реклама его книги. О своем новом произведении автор сказал, что оно будет во многом неожиданным для читателя. В текст традиционного романа будет вставлен так называемый «народный роман» в лучших традициях западной литературы, и мы убежде-

ны: то, что выйдет из-под пера этого талантливого автора, будет с интересом принято читателями.

Руслан КИРЕЕВ. Песни Овидия. П о в е с т ь.

Руслан Киреев обратился к непривычному для него жанру — авантюрной фантастике.

Худосочный, кривоzubый Шурик из пригорода вдруг сверхъестественным образом «переселяется» в великолепного Гурнова — мускулистого баловня жизни в кожаной куртке.

И начинается с ним твориться невообразимое...

Разумеется, известный писатель затеял эту фантастическую метаморфозу не только ради увлекательного сюжета.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы. Часть вторая.

В 1988 году «Октябрь» опубликовал заметки Н. Мордюковой «Вот так и живем». Редакция получила множество откликов на этот рассказ талантливой актрисы о своей жизни.

В следующем году читателей ждет новая встреча с Нонной Мордюковой.

Иван ОГАНОВ. Венок грехопадений. Р о м а н.

В нынешнем году «Октябрь» открыл для читателей самобытного писателя — Ивана Оганова, опубликовав его трагифарс «Песни о погибших детях». Знакомство продолжил «Новый мир» народным балаганом «Опустел наш сад» (№ 5).

«Венок грехопадений», по словам автора, — самое дорогое для него произведение. Здесь квинтэссенция размышлений писателя о человеке, его природе и предназначении. О замысле Творца и забвении нами Промысла Божьего. Это своеобразная месса, в которой и Покаяние, и Надежда.

Вячеслав СУХНЕВ. В Москве полночь. Р о м а н.

Перед нами остросюжетный, с элементами детектива роман-антиутопия, написанный на современном материале.

Из нынешних бытовых, нравственных, политических реалий прорастает жесткий и, к сожалению, возможный прогноз нашего ближайшего будущего: разуверившиеся люди, дегуманизированные социальные отношения, потрясаемая катастрофами столица некогда великой державы...

По большому счету это роман-предостережение. Без последовательно демократических реформ, без гуманистического решения нынешних сложных социальных проблем мы можем прийти к капитализму в самом его уродливом, деформирующем личность варианте — по типу слаборазвитых стран третьего мира. Именно об этом роман московского прозаика.

Юлиу ЭДЛИС. Сия пустынная страна. П о в е с т ь.

У каждого народа есть свои герои. Всякая земля освящена потом и кровью живущих на ней людей. И святость эта ярче всего предстает в воспоминаниях детства, особенно изложенных опытной рукой зрелого писателя. Детство Ю. Эдлиса прошло в маленьком, тихом бессарабском городке, волею судеб оказавшемся на перепутье истории. Мягкий юмор, лиризм, пластичность языка помогают читателю погрузиться в неповторимую атмосферу этого разноязыкого клочка земли в междуречье Днестра и Прута, делают его не наблюдателем, а модлимым участником всего происходящего,

заставляют сопереживать любви и боли автора. И как же щемяще звучит эта повесть сейчас!

В ПОЭТИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕ ЖУРНАЛА — самый широкий спектр направлений, стилей, манер. Читатели познакомятся со стихами О. БЕШЕНКОВСКОЙ, Е. ВИНОКУРОВА, А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, С. ГАНДЛЕВСКОГО, Ю. МОРИЦ, И. ПОМЕРАНЦЕВА, В. СОСНОРЫ, Л. ФИЛАТОВА, А. ЦВЕТКОВА, прочно завоевавших место на поэтическом Олимпе, а также с поэзией талантливой молодежи. Открывать новые имена — традиция «Октября».

РАЗДЕЛ ПУБЛИЦИСТИКИ будет представлен новыми работами самых авторитетных публицистов современной России. Среди них Сергей АНДРЕЕВ, Леонид БАТКИН, Юрий БУРТИН, Михаил ГЕФТЕР, Игорь КЛЯМКИН, Сергей ЛЕЗОВ, Юрий ПИВОВАРОВ, Лариса ПИЯШЕВА, Максим СОКОЛОВ, Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ, Григорий ПОМЕРАНЦ, Юрий ЧЕРНИЧЕНКО.

Продолжат сотрудничество с «Октябрем» известные публицисты русского зарубежья: экономист Игорь БИРМАН (США), политолог Михаил ВОСЛЕНСКИЙ (ФРГ), философ Александр ЗИНОВЬЕВ (ФРГ), политолог Кронид ЛЮБАРСКИЙ (ФРГ), философ Борис ПАРАМОНОВ (США), историк Александр ЯНОВ (США).

«Духовное наследие России» — новая рубрика журнала. Она объединит статьи, мемуары, письма, эссе русских философов, историков, публицистов XIX—XX веков, чьи работы не издавались в годы тоталитарного режима. Среди них М. ВИШНЯК, С. ВОЛКОНСКИЙ, Т. ГРАНОВСКИЙ, А. ПОТРЕСОВ, П. СТРУВЕ, М. ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ, В. ЧЕРНОВ, Д. ШАХОВСКОЙ.

Под рубрикой «Гуманитарный факультет» будут публиковаться комментированные тексты культурологов, философов, социологов и психологов, ставших классиками XX века, но известных у нас в основном лишь понаслышке: Теодор АДОРНО, Мартин БУБЕР, Жак ДЕРРИДА, Жан-Франсуа ЛИОТАР, Пауль ТИЛЛИХ, Арнольд ТОЙНБИ, Эрих ФРОММ, Эрих ХОФЕР, Карл ЮНГ и другие.

Будет продолжена рубрика «Товар — деньги — товар». Ее темы — деятельность бирж и становление фермерского хозяйства, денежное обращение и налоги, малый бизнес и недвижимость, приватизация и социальные аспекты реформы...

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА представит современный литературный процесс и историю литературы в статьях и эссе Л. АННИНСКОГО, А. АРХАНГЕЛЬСКОГО, Г. БЕЛОЙ, А. БОЧАРОВА, М. ЗОЛОТОНОВОСА, Д. БАКА, Б. САРНОВА, Л. САРАСКИНОЙ.

«Советская литература — новый взгляд» — это нетрадиционные, возможно, спорные размышления критиков об отдельных произведениях и целых периодах литературы, еще недавно называемой «советской», восстановление подлинного литературного и культурного контекста советской эпохи. Надеемся, рубрика представит интерес как для изучающих историю и теорию литературы, так и для всех любителей отечественной словесности.

В рубрике «Из литературного наследия» — неопубликованные произведения Л. ДОБЫЧИНА, Вс. ИВАНОВА, М. ЛОСКУТОВА, ТЭФФИ, В. ШКЛОВСКОГО, неизвестный сценарий-пародия С. ЭЙЗЕНШТЕЙНА «Базар пахоти», продолжение дневников М. ПРИШВИНА.

В рубрике «Воспоминания, документы» — переписка И. Н. Голенищева-Кутузова с Вяч. Ивановым, Ходасевичем, Ремизовым.

Реклама — не окончательная программа журнала на год. Отбор произведений продолжается в течение всего года. Все самое интересное, важное получает право первоочередного выхода к читателю.

Младший брат

РОМАН

Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на поприще людям.

Матф., V, 13.

Часть первая. РЕПЕТИЦИЯ СМЕРТИ

Глава первая

„Почему иностранец менее стремится жить у нас, чем мы в его земле?“ — некогда осведомлялся достославный мыслитель и сам себе отвечивал: «Потому что он и без того уже находится за границей». Сто с лишним лет миновало, а поди ж ты, все таит в себе за граница неизъяснимую прелесть для россиян, маячит болотным огоньком в тумане, блазнится: вроде и есть она, вроде и нет ее, и проверить нет решительно никакой возможности. Но темна вода во облацех — ни с того ни с сего приоткрылась вдруг в начале семидесятых годов неширокая щелка на Запад, и хлынули в нее толпою, чуть не калеча друг друга, интеллигенты и подпольные коммерсанты, зубные техники и тайные агенты, бобруйские инженеры и ленинградские художники-модернисты. Так и Костя Розенкранц, двадцатисемилетний переводчик английской технической литературы, в один прекрасный день вошел на негнущихся ногах в пропащее сургучом и почтовым клеем здание московского Центрального телеграфа, как бы символически увенчанное светящимся глобусом, и тайком от родных заказал разговор с Иерусалимом, где уже постигал азы иврита его школьный приятель Борька Шнейерзон. «Присылай, — выкрикнул Костя сквозь телефонные шумы, писки и поскрипывания, — присылай, и срочно, сил моих больше нет!» Месяца через три он уже выуживал из своего почтового ящика длинный конверт с прозрачным окошком и, приплясывая на лестничной клетке от возбуждения, узнал о надеждах своего родственника Хаима, не Розенкранца, правда, а Розенблатта, на то, что советское правительство со свойственной ему гуманностью позволит Косте воссоединиться с ним на земле предков.

Стоял на дворе 1973 год — смутное время! Набирался в Париже «Архипелаг ГУЛАГ», Северный Вьетнам при поддержке всего прогрессивного человечества готовился к освобождению Южного, Хедрик Смит и Боб Найзер сотрясали стуком электрических машинок весь дипломатический дом на Кутузовском проспекте, соревнуясь друг с другом в постижении варварской нации. Всю первую половину года цены на нефть стояли такие, что невозможно вспомнить без ностальгических слез. Инакомыслящих сажали на детские сроки — три, пять лет, иной раз даже без ссылки, и в чьей-то мудрой голове уже зрела идея обменять уголовника Буковского на Луиса Корвалана, негибаемого борца за права чилийского народа. А Соединенные Штаты мучались совестью. Все громче раздавались там возгласы негодования по поводу Уотергейта, и молодые американцы, не

желая вмешиваться во внутренние дела многострадального Вьетнама, бежали от воинской повинности в далекую Канаду. Между тем в орды, стремящиеся из великого Советского Союза якобы на историческую родину, удавалось затесаться и великороссам, особенно с сомнительной фамилией вроде Костиной.

И в самом начале года 1974-го, тусклым январским днем, предпоследним на родине, сидел Розенкранц на кухне у ближайшего своего приятеля Марка Соломина, чистя по его распоряжению скверную, мелкую, всю в черных пятнах картошку. К вечеру ожидалась гости на мероприятие, которое можно назвать проводами, а можно, не сильно погрешив против истины, и панихидой — поскольку, чего уж там, уезжал этот молодой человек навсегда, и коли сам не вполне это понимал по неизбежной предотездной лихорадке, то приятели, и в первую очередь Марк, уже недели три, с самого получения визы, как-то странно на него поглядывали. С одной стороны, вот он, Розенкранц, живой, в полном наличии, а с другой — вроде и нет его, ведь не увидишься больше никогда, не пожмешь руку. Впрочем, уславливались, конечно, писать и перезваниваться, так что выходила полная неразбериха. Ну подумайте сами, что делать с отъезжающим из России — завидовать? И то сказать, в свободный мир отчаливает человек, там тебе и джинсы американские в любом магазине, и автомобили открытые по хайвэям курсируют, и помидоров зимой, говорят, навалом, даже без очереди. А посмотришь поближе — сидит такой Розенкранц с визой в кармане, но бледен, нервен, небрит, краше в гроб кладут, — волнуется, то есть и картошку порученную чистит плохо — то глазок оставит, то срежет добрый сантиметр, даром, что в свое время чуть не голодовки устраивал, на родителей-стариков орал: вы-де всю жизнь рабами жили, а теперь и мне не даете стать человеком. С третьей же или с какой там еще стороны, изобретен умными людьми на такие случаи алкоголь, конкретно — бутылка дрянного портвейна, с каждым глотком которого Костя несколько веселел.

Между тем скрипнула входная дверь, и насторожился хозяин дома. Единственной соседки своей боялся он, как чумы.

— Кхм... Марья Федотовна, добрый вечер, — сказал он. — У меня тут сегодня, если не возражаете, друзья соберутся, товарища провожать на работу за границу... шума не будет...

Марья Федотовна, подволакивая к своему кухонному столу продуктовую сумку на колесиках, гневно молчала.

— А может, и вы с нами вдруг повеселиться захотите, — лицемерно продолжал Марк, — так милости прошу, так сказать, к нашему шалашу... Света будет, брат мой Андрей, Иван, ну, Костю вы тоже не в первый раз... Закуску вот сообразили. — Он зачем-то вынул из ящика стола увесистую баночку икры, припасенную Розенкранцем в дорогу, и помахал ею в воздухе.

Марья же Федотовна положила в свой миниатюрный холодильник кочан капусты — неплохой, кстати, кочан, верхние листья только морозом побило, а так ничего, крепкий, — пакетик с вареной колбасой и консервную банку без этикетки, завернула половинку черного в пластиковый пакет и пересыпала полкило сахару из бумажного кулька в жестяную банку с надписью «Соль». В угловом гастрономе сегодня давали говяжьи сардельки по рубль сорок, но негодяй продавец не соблюдал нормы, отпущал некоторым чуть не полными сумками, и сардельки кончились за четыре человека до Марьи Федотовны.

— А я милицию вызову, — сказала она почти весело. — Потому что с вами говорить — что горох об стенку. Превратили квартиру в дом свиданий. Пожилому, больному человеку никакой нет возможности отдохнуть после рабочего дня.

— Какая же вы пожилая? — встрял пьяненький Розенкранц. — Вы еще, можно сказать, в самом соку...

— А это не вам судить! — вскричала паскудная баба. — Не вам, молодой человек! Я старая, больная, заслуженная женщина и имею прописку! А у вашего приятеля нет на эту жилплощадь никаких прав! Опять до ночи будет шум и грязь! И пьянка! Умереть не дадут спокойно!

— Это преувели... — начал было Марк, но леопардовая кроличья шу-

ба соседки уже скрылась в темном коридоре. И слава Богу — что может быть скучнее коммунальных ссор?

— Вот от такого и приходится уезжать, — сентенциозно молвил Розенкранц, — от хамства этого, понимаешь ли, советского.

— Слышал, — отмахнулся Марк, — не оправдывайся. Только уж позволь мне повторить, дорогой, — нет в Америке молочных рек да кисельных берегов. И хамов хватает. И у всех свои проблемы.

Брезгливо поглядывая на миску с картошкой, он понес ее к раковине. Судьба остающегося — и тут уж советская власть совершенно ни при чем — всегда представляется ему самому зауряднее и мельче участи отъезжающего... А картошка уже вскипала, шла серой пеной, охлаждалась за окном в авоське водка, Костя кромсал тупым ножом огромный батон «докторской».

— Вот я и хочу причаститься таких проблем, — заговорил он наконец, — как получить заем под низкие проценты, как сына в частную школу определить. Куда в отпуск отправиться — в Европу или на Багамские острова.

— В Европе и для коренных-то американцев дорого, — пожал плечами просвещенный Марк, — а у тебя в первый год, покуда вида на постоянное жительство не получишь, и вовсе не будет права выезжать за границу. «Багамские острова»! — передразнил он. — Дурак ты.

— А ты лакей! — привычно окрысился его собеседник. — Свалить пороку не хватает, вот и проваливаешься всю жизнь, как свинья, в этом болоте, будешь рекламировать его иностранцам да стучать на них своему полковнику. Не так?

— Так ли, не так — не твоего ума дело теперь, Костя. Я иностранцам к себе в душу лезть никогда не позволял. Наговорились, слава-те, Господи, наобсуждались...

— Я и уйти могу.

— Сиди, дурила... Налей-ка и мне. Феррапонтово помнишь? Ящик в день, а? Тогда вкуснее казалось.

Всеми силами пытался Марк в тот вечер умаслить пожилую заслуженную женщину, исхитрился даже до таблички «НЕ РАБОТАЕТ, СТУЧИТЕ» под кнопкой звонка. Стучать стучали, но и на кнопку жали, на всякий, видимо, случай, с утроенной энергией.

Народ собирался разношерстный. Впрочем, так уж повелось на этих — увы, через несколько лет полностью прекратившихся за отсутствием отъезжающих — вечеринках. Близкие друзья перемешаны со школьными приятелями, вытертые джинсы — с костюмами-тройками; записные антисоветчики чокаются, коли уж оказались за одним столом, с помалкивающими членами партии — всех уравнивает отъезд. Часам к семи виновник торжества уже смотрел гоголем, даже с некоторым высокомерием счастливца. А в половине восьмого явилась-таки Света Ч., настал черед слегка возгордиться Марку — барышня из хорошей семьи, при кольце с сапфиром; от портвейна морщится, принесенное же с собою сухое отпивает с безупречной грацией — затмила, положительно затмила всех своих соперниц.

— Значит, из Москвы ты завтра самолетом в Вену? И сколько там проторчишь?

В глазах лысоватого Ленечки Добровольского, аспиранта Института проблем не то мирового коммунизма, не то международного рабочего движения, светилось, помимо иных чувств, жуткое любопытство. Отъезжающего за границу по израильской визе он, как и Света, как и большинство остальных, сподобился лицезреть впервые в жизни.

— Послезавтра, — авторитетно отвечал Розенкранц, — послезавтра в Вену, а там буду дожидаться визы в Штаты.

— И долго?

— Умные люди говорят: месяца три. Ну, в Израиль-то можно хоть на следующий день отправиться, в киббуце апельсины выращивать, но это, Ленька, не для белого человека. К тому же там воевать надо. Нет, вот доберусь до Нью-Йорка, выйду на главную площадь и заору во всю глотку: СВОБОДА!

— Да нет в Нью-Йорке главной площади, — вставил шпильку Марк.

— Ну, на любую площадь. Главное — крикнуть. Хватит, всю жизнь молчал. Найду работенку, определюсь в небоскреб какой-нибудь в Манхэттене, буду по ночам из окошка квартиры Америку обозревать. Знаю, Ленечка, вижу — у тебя уже губы складываются в слово «безработица». Херня это все. Нет никакой безработицы, надо только голову иметь на плечах. На худой конец буду на гитаре играть в нью-йоркском метро. Все лучше, чем тут прозябать. Я же всегда говорил и еще раз повторю, что дурное в этой стране правительство, глупый народ и скверный климат...

— Ну-ка без политики, Костя, — велел Марк.

Ломятся в комнату с мороза новые гости, каждый вырывает еще несколько минут из этого несуразного прощания. Скоро Иван явится, да и Андрею надо налить, да Глузмана расшевелить не грех. Три, четыре звонка, грохот кулаков в дверь — и впрямь Иван с очередной подружкой.

— Эх, незаменимый сотрудник, — с порога Розенкранцу, — значит, все-таки линяешь? На кого покидаешь, задница? Кто же нам, болезным, будет теперь Галича распевать? А с английского кто будет переводить? Молячишь?

Иван — человек состоятельный, щедрый, неразборчивый. Где-то в глухом уголке Сибири горюют без сына старики-родители, второй секретарь обкома партии и заведующая кафедрой научного атеизма в Красноярском университете, сам же он промышляет отнюдь не только «наукой», как торжественно величает свои изыскания с лазерами за счет Министерства обороны... И вот уже появляются из его неподъемного портфеля две бутылки коньяку, пакеты и пакетики, вымуштрованная Ирочка отправляется на кухню, одну из бутылок заграбастывает Паличенко — небездарный лирик, он славится больше сноровкой по части открывания спиртного своими крепкими желтыми зубами, — и склоняется Иван над столом, плеща по всем разнокалиберным рюмкам без разбору: товарища навеки провожаем, милые вы мои, давайте хоть надеремся напоследок. Словом, вечер только начинался, и беснокоилю Марка разве что утиньи шаги соседки в коридоре. Но если совсем честно — кое-кто из гостей его тоже беспокоил, было такое. Ибо на вечеринке уже намечалось некоторое расслоение на публику симпатизирующую, завидующую, негодующую и осуждающую — и с первых минут Костин школьный приятель Сашка Морозов сидел в своем углу сгорбившись, поджав губы. Теснота ли в жилищах тому виной или другие культурные традиции, но на русских вечеринках не расхаживают по дому с коктейлями, а просиживают чуть не все часы за общим столом — больше условий для дружеского единения, а в компаниях же случайных — для скандала, несмотря даже и на то, что времена Достоевского давно миновали, а может, и не было их никогда вовсе.

— Уезжаешь, — протянула Инна, — а мы вот остаемся.

— Никуда он не уезжает, — прервал Андрей свою приятельницу.

— То есть как?

— Я вчера сидел у себя в дворницкой, размышляя, — пояснил Баевский, — и понял или, лучше сказать, осознал, что не существует на свете никакой заграницы. Ни Венны, ни Нью-Йорка, ни Тель, можно сказать, Авива. Просто существует в ГБ специальный и довольно обширный подвал. Отправляющихся якобы за границу сажают туда на инструктаж. Особо упорных, впрочем, бьют. А потом выпускают, чтобы они делали вид, что вернулись, и рассказывали нам всякие байки.

— Я не вернусь, — тихо сказал Розенкранц.

— Значит, так и сдохнешь в подвале.

— Откуда же берутся вещественные доказательства? — Ленечка Добровольский, поддерживая немудреную шутку, потерял себя за лацкан кожаного пиджака, махнул рукою в направлении стоявшего у окошка проигрывателя. — А?

— Из подпольных мастерских. Русский народ, как известно, сумел подковать даже механическую английскую блоху...

— Так, что она прыгать перестала.

— Отстань. Лучше признайтесь, кто-нибудь из присутствующих дам и офицеров видел заграницу?

Выяснилось, что Добровольский ездил на семинар по проблемам мар-

ксизма в Варшаву, Света же в прошлом году отдыхала в Болгарии, на Золотых Песках.

— Тоже мне заграница, — отмахнулся Андрей. — Можно считать, никто. Теперь сообразите: если выйти на улицу и опросить человек двести подряд, что они скажут? Из двухсот, дай Бог, один найдется. Да что стоит нашим чекистам обработать эти несчастные полпроцента населения? Вон в тридцать восьмом году обвиняемые сами себе смертной казни просили у трибунала, а вы говорите — заграница. — Он перевел дыхание. — Но и отсутствие заграницы, господя, — лишь частный случай. На свете вообще нет и не было ничего, кроме советской власти!

Тут он быстро понес какую-то — довольно, впрочем, связную — белиберду о том, что летосчисление мира начинается с 25 октября 1917 года, до этой же даты была тьма и дух Ленина носился над водами.

— И сказал Ленин: да будет народный комиссариат просвещения! И стал народный комиссариат просвещения. И увидел Ленин, что он хорош. И отделил Ленин его от карательных органов и назвал его Советом депутатов, а органы безопасности назвал ЧК. Луначарский же был хитрее всех зверей полевых. Ему-то и поручил Ленин написать мировую историю до семнадцатого года и изготовить всякие археологические...

Марк снова ушел открывать дверь и вернулся с двадцатилетним Владиком, беспокойным и растрепанным молодым человеком.

— У меня знаете какие новости! — бухнул тот немедленно. — Только что по Би-Би-Си... а днем я сам ездил, сам видел... такие новости, ух! Ночью на Новодевичьем монастыре... надписи... эмалевой краской... буквы в полметра... Все видели! Тысяч пять, наверно, и иностранцы, в общем, такая вышла удачная акция протеста, молодцы ребята...

Собравшиеся недоверчиво зашевелились.

— Ша, Владик, — сказал Иван. — Частишь. Поясни народу, что за надписи, откуда. Без твоей оценки происшествия мы, полагаю, обойдемся. Тем более сегодня такое правило — без политики. Уважай хозяина, Владик.

— «Солженицын — совесть России», — Владик несколько сник, — и «Долой коммунистическое рабство».

— И до сих пор, говоришь, стоят?

— Ага.

— Иностранцев сам видел?

— Двоих. Только у них пленку засветили.

— Прочесть еще можно?

— Трудно. Там взвод солдат с пескоструйными аппаратами с утра вкалывает. Но если знаешь текст, — воодушевился Владик, — то можно, можно, конечно, можно угадать! Они песком по контурам работают, светлые пятна остаются... ну и... Ой, здравствуй, Костя. Я совсем забыл, что ты уезжаешь. Визу не отобрали? Слава Богу, а то я боялся. Знаешь, как они иногда — жутко обидно, уже и билет, и все... А толпа все стоит, кто раньше пришел, говорят тем, которые позже... милиция разгоняет, так что не толпа, а так, кучками, но стоят, стоят!

Иван переглянулся с Глузманом.

— Только народ у нас глупый, — продолжал Владик, — отсталый и трусливый. Думаете, понимает кто-нибудь? Ничего подобного. Стоят и смотрят, как баран на новые ворота. «За это, — говорят, — расстреливать надо». И что хулиганов, мол, развелось, что распоясались-де и все такое прочее, а я хотел возразить и тоже побоялся — вдруг провокация, там же половина — переодетые стукачи...

— Вот сволочи! — внятным шепотом вымолвила Света.

— Ну, я с вами не согласен! — Молодой человек снова воспрял духом, слова Светы, видимо, восприняв как-то по-своему. — Отчего же сволочи? Просто оболваненные пропагандой люди. Это ведь еще Тютчев писал: «Над этой темной толпой непробужденного народа взойдешь ли ты когда, свобода, блеснет ли луч твой золотой?».

Света встала с продавленного дивана и среди общего молчания вышла из комнаты, захватив шаль и сумочку; Марк последовал за нею. Судя по звукам, доносившимся из коридора, хозяин уговаривал прекрасную гостью остаться, несколько раз употребив при этом слово «обещаю». Покуда они препирались, компания уже счастливо забыла о злополучных

надписях, и виновник торжества снова стал вздохнуть делиться планами жизнеустройства в Новом свете. Не преминул, наконец, похвастаться и выездной визой, розовым листочком размером в половину почтовой открытки да сотней с чем-то долларов, полученных вчера во Внешторгбанке. Добровольский задержал доллары в руках, даже зачем-то пересчитал, рыженькая же Ира больше интересовалась визой, выпрашивая, каким образом Костя поедет в Америку, если ясно написано насчет постоянного жительства в государстве Израиль. Отказник Ярослав вздохнул. С проигрывателя неслась припасенная Марком в издевательских целях «Хава Нагила», раздобытая с немалыми хлопотами.

— Завидую тебе, Костя, но совсем не тому. Я слышал, ты на Запад катишь ради красивой жизни, двух автомобилей, домика в пригороде да очаровательной американочки, которая со временем родит тебе трех богатырей. В добрый час! У меня к тебе зависть другого свойства, танатологического.

— Как-как?

— Танатологического, — повторил Андрей без улыбки. — Главной загадкой жизни является смерть, танатос. Что есть смерть, Иван?

— Человек перестает дышать, — с готовностью отозвался жующий Иван, — друзья и родственники помещают его в деревянный ящик, поскольку больше с ним делать нечего, и избавляются от него самым доступным способом. Сжигают, в землю закапывают. Если дело происходит в открытом море — кидают в воду.

— А ты, Костя?

— Спроси своего отца. — Розенкранц поморщился. — Он тебе растолкует, что смерть означает вступление в вечную жизнь. Может, и Иван то же самое скажет. Ты какой сейчас веры, Иван?

— Агностик я теперь, — усмехнулся Истомин, — в другой раз поговорим.

— Нет, господа, — снова заговорил Андрей, — смерть — это прежде всего вечная разлука. А отъезд из Совдепии — то же самое. И никакого другого раза не будет, Иван. Раньше эмигранты хоть надеялись вернуться домой. А у нынешних, у наших, — ну на что им надеяться? Ну да, ты мне растолковывал, что через четыре года получишь американский паспорт и сможешь сюда прикатить туристом, но не тешил бы ты себя этими сказками, Костя. Никто тебя обратно не пустит. Никто. Не увидишь ты больше ни нас никогда, ни родных, ни Москвы, ни Ленинграда. Русскую речь услышишь только эмигрантскую, полумертвую. Это ли не смерть? И, однако, будешь жить, дышать, бродить по чужим улицам. Иной раз, может, и позвонишь по телефону в прошедшую жизнь, а новая будет захлестывать, бушевать...

— Не травми душу парню, — сказал Иван. — Он мог бы до сих пор в отъезде торчать, пороги в ОВИРе околачивать — неужели у тебя бы совести хватило и тогда всякую лирику распевать? Оставь эти рассуждения для своих виршей, Андрей. Мы взрослые люди. Сочинил, кстати? Вот и продекламируй, потешь почтенную публику, мы что-то совсем осовели. А потом нам товарищ Розенкранц на гитаре поиграет.

Глава вторая

«Войны и высокой долины у мертвых на совести нет. И сердце тоскует и стынет, стучась в перевернутый свет. И снова по памяти чертит круги в опрокинутой мгле... Отъезд — репетиция смерти, единственный шанс на земле.

О чем я с покинутым другом затею последнюю речь? О том ли, что солнцу над лугом лучами старинными течь? О том, что землистой отчизне вечерняя смелость сверчка наскучила? Или о жизни, которая тлеет пока...

В преддверии рая и ада сверкает лиловая мгла, и светлая тень снегопада на черные кроны легла. А ветра довольно, и в круге фонарном — довольно огня. Прощай — и мерцание выюги в подарок возьми от меня...»

— Красиво, — заключила рыженькая Ира, — только не очень понятно. Это ведь Костя, кажется, уезжает, а не вы?

— Я уезжаю, Ирочка, я, — подтвердил Розенкранц. Он порядочно захмелел и первые аккорды на протянутой гитаре взял фальшиво. — Позже. В смысле, поиграю попозже.

Стоя у зимнего окна, Марк смотрел на отражения своих гостей — зыбкие, полупрозрачные подобия, парящие над пустым двором, на сам двор, на замыкающую его глухую стену с контрфорсами, смотрел, вспоминая отчего-то лето 1965 года, когда весь курс отправили в Смоленскую область, в село с чудным именем Юрьев Завод, и после работы они с Костей забирались в подвал бывшего графского дома — выстукивать молотком стены в поисках клада. В одном месте, где звук был звонче, разломали первосортную дореволюционную кладку — долго ломали, со вкусом, даже с некоторой надеждой. И сражались они тогда с Розенкранцем за сердце волоокой Марины с французского факультета, и подтрунивали друг над другом, и вместо лекций по истории партии шлялись по осенней Москве... эх... Сокурсники сторонились Кости еще больше, чем он — их; горд был Розенкранц, открыт и ершист да и слишком, пожалуй, умен, но как-то по-глупому. «Какого черта ты считаешь себя умнее всех? — гневался хитрый Марк. — Развалишься на субботник прийти? Стенгазету тебе паршивую выпустить лень?» «Помилуй, — кручинился Костя, — ну что мне делить с этой советской сволочью?» «Плохо ты кончишь, дорогой, — вздыхал Марк, — недаром и фамилия у тебя такая зловещая...» С помощью Андрея, а затем и Ивана он не без восторга окунулся на некоторое время в двусмысленную жизнь каких-то полухудожников, полуписателей, полуинакомыслящих — словом, того бородатого, скверно одетого народа, в изобилии появившегося в обеих столицах в шестидесятых годах, а ныне по большей части рассеявшегося по эмиграции, по лагерям, по спецпсихбольницам или же подобно их западным сверстникам ушедшего в частную жизнь. Курсе же на третьем Костя вдруг сочетался законным браком: русая полноватая Ляля, отщипывая за свадебным столом кусочки от бисквитного пирожного, доверительно объясняла Марку, что «в такой день даже это можно себе позволить». Впрочем, прожили молодые меньше года. После развода Розенкранц влип в неприятную историю в военных лагерях, получил омерзительное распределение, на работе тосковал — словом, потерялся. Были тут и уязвленная гордость, и неуживчивость, и общая неприкаянность — короче, отъезд вдруг представился ему вещью совершенно естественной, блестящей возможностью «самоутвердиться», «вырваться из этого вонючего болота» и наконец «зажить настоящей жизнью»...

— Я говорить не умею, — бурчал Морозов, теребя свои гусарские усы, — да и повода для веселья, по моему, нет. Надо выпить безо всяких здравниц да и разойтись по домам.

— Тебя что за муха укусила, Александр? — обернулся к нему Розенкранц.

Морозов замаялся.

— Ну... устроил ты какой-то шабаш, — выдавил он из себя наконец. — Проводы, визы, доллары... в лучшем случае — глупость...

— А в худшем? — спросил Ярослав.

— А в худшем — подлость! — заорал вдруг Морозов. — Костя — наш русский парень, и мне тошно, что какие-то мерзавцы его толкнули черт знает на что... на предательство! Я стишков строчить не умею, но высказаться, извините, тоже могу. Вена, Америка, небоскребы! Ты же присягу давал, Константин! И не стыдно тебе? Не больно?

— Красиво говорите, Саша, ох, красиво! — вставил вездесущий Глузман. — Как пишете, честное слово...

— А мне начхать! — огрызнулся Морозов несколько невольно. — Это моя родина, мой город, мой язык, я здесь хозяин. Я русский до пятого колена, как и Костя да и как большинство тут выпивающих хрен знает за что. То есть, — спохватился он. — евреи ничем не хуже нас...

— Благодарствую, — поклонился Глузман.

— Только родины у них нет, понимаете, родины!

— А Израиль-то куда?

— Масонская затея — ваш Израиль, — отмахнулся Морозов. — Им все равно, где жить. И американцу все равно, и датчанину какому-нибудь смехотворному все равно, а нам нельзя покидать родину, если мы хотим

остаться настоящими русскими людьми. Да и как может настоящий русский человек по доброй воле променять свой народ на какой-то американский, который и не народ, а так, коктейль какой-то...

— А с чего ты вообразил, Саша, что я хочу быть, по остроумному твоему выражению, настоящим русским человеком? Может, мне эта твоя Россия уже совсем обрыдла. Может, американский-то человек кой в чем и получше будет, а? Уж, во всяком случае, они из своей страны кровавой помойки не устроили.

— Да как у тебя язык твой поганый позорачивается, Розенкранц? — вскричал Морозов.

Назревал, а точнее, уже разгорался, к немалому неудовольствию хозяина, полновесный скандал. Мысли, которые с таким жаром высказывал простодушный инженер, были, видимо, мысли заветные, мысли выношенные и взлелеянные, может быть, кем-то и подсказанные, но почву нашедшие благодатную. Рвался возразить Владик, но Иван жестом осадил беспокойного студента.

— Твоя страна на таком подъеме! Сколько терпели от этих иностранцев. Еще лет десять пройдет — эти англичане с французами сами к нам на поклон заявятся да и американцев за собой приведут. Пожалеешь тогда, Костя, да поздно будет...

— Как вы тогда с эмигрантами — вешать будете или расстреливать? Это я так, — пояснил Глузман, — любопытства ради.

— Бросьте вы паясничать, Яша. Есть, есть историческое назначение великих народов. Мы, русские, призваны объединить Европу. Правительства приходят и уходят, а народ остается. — Щеки у оратора несколько побагровели, лоб вспотел. — Хотя лично я и в социализме ничего плохого не вижу, по-моему, это то же самое христианство, только без Бога. Зато царскую Россию все били, а нынешней все боятся...

— Даже ее собственные граждане?

— Это диссиденты пусть боятся России! А нормальным русским людям на родине хорошо. Они на своем языке, самом богатом в мире, даже слова не нашли для этих подонков — пришлось из английского занимать. Вот ты, Владик, про надписи рассказывал, с подлым таким восторгом, а я, между прочим, согласен с народом. Сволочи и предатели это сделали.

— Они же хотели как лучше, Саша, — сказал Андрей бесстрашно.

— Гришка Отрепьев, самозванец, тоже хотел как лучше, — отрубил Морозов. — Театры, реформы на польский манер. А для народа главное — жить по-своему. И революция наша показала всему миру что? Широту русской души! Нате вам, господа славянофилы, не нужно нам ни Бога, ни царя-батюшки! Как там у Блока — нам ясно все, и острый галльский смысл, и роковой германский гений...

— Сумрачный, — сказал Андрей. — Сумрачный германский гений, Саша.

— А насчет свободы, — торопился Морозов, — ты, Костя, элементарно продался, уж не знаю, кому. Слава Богу, о Западе знаем предостаточно. И книги я читаю, и передачи ихние слушаю, сейчас вот и глушить почти перестали. Заладили, недоумки: КГБ, мол, притесняет. Лично меня никто не притесняет. На вашем Западе пресловутом точно так же ЦРУ телефоны прослушивает да письма вскрывает. Ну, жрут они там получше, зато только о брюхе своем и думают... И мой тебе совет, Костя, — пока не поздно, дай ты эту бумажонку обратно, дай эти доллары несчастные, оставайся дома. Родина, она как мать — другой не найдешь...

Плюхнувшись обратно на диван, он обвел всю компанию вызывающим, но в то же время как бы и робким взглядом. Тут Розенкранц не выдержал и расхохотался, а вслед за ним и многие иные. В другой обстановке, кто знает, заступился бы за скисшего Морозова толстогубый и синеглазый Добровольский, но вот беда — русский по паспорту, он воспринимал идеи русского буржуазного национализма почти столь же болезненно, как, скажем, идеи сионизма.

— Видишь, Костя, — добродушно сказал Иван, — какие занятные теорички кочают по нашему отечеству. А ты уверял, что здесь скучно. Смотри, простой парень, ничем не лучше нас с тобой, грешных — и почти своим умом дошел до любопытнейшей смеси славянофильства и национал-соци-

ализма, причем с отчетливым коммунистическим душком. Ты, Саша, прости, кем служишь?

— Никому я не служу.

— Да не кому, балда, а кем.

— Ведущим инженером.

— Интересно. А оклад жалованья какой? Сто сорок? Или сто пятьдесят? И двое детей? И еще есть время на размышления о судьбах отечества? Только без рук, без рук, Саша, мы цивилизованные люди...

Тут обоих спорщиков схватил за руки Андрей, приговаривая, что «в случае чего всех будут брать под одну гребенку, наговоритесь еще на соседних нарах...» Помощь Морозову между тем подоспела со стороны несколько неожиданной.

«Вот, значит, как все это происходит, — шептала сквозь общий шум Света, — ну и друзья у тебя, Марк...» «Случайный народ, — оправдывался незадачливый хозяин, — Иван — актер, а Костя — ну что, собственно, Костя, захотел уехать, так пускай...» «Нет, я скажу, я скажу все-таки...» «Ради Бога, молчи. — Марк закусил губу. — Тебе этой комедии мало?»

— Знаете, ребята, я вот слушаю вас, — начала-таки она, — и думаю: откуда же вы всего этого нахватались? Откуда в вас такая злоба? Ты талантливый поэт, Андрей, зачем тебе фантазировать о каких-то нарах? Кому ты нужен? Живи спокойно, пиши свои стихи. Тебя печатали и еще будут печатать, и книга выйдет рано или поздно, если дураком не будешь, конечно. Я с Сашей далеко не во всем согласна. Но он по крайней мере патриот. И мне тебя, Костя, просто по-человечески жалко. Ты храбришься, конечно, изображаешь самого умного, а сам отправляешься за тридевять земель за какой-то мифической свободой, не понимая главного — никому ты там не будешь нужен. Не понимая, что меняешь шестую часть планеты на кучку озлобленных эмигрантов. Отец мой бывает в Париже, встречается там со стариками из России. Как ты думаешь, что они просят его привезти из Москвы?

— Икры, — пробормотал Глузман.

— Нет, Яша, ошибаетесь, не икры. Не матрешек, не самоваров — этого добра и в Париже сколько угодно. По горсточке русской земли — вот что он им привозит. И плачут старики, плачут настоящими слезами...

Виновник торжества протянул через стол руку и похлопал Свету по плечу безо всяких признаков скорби или хотя бы задумчивости.

— Горсточка земли — вещь хорошая, — молвил Глузман, — дешево и сердито.

— Чем плакать да еще настоящими слезами, — добавил Ярослав не без злобы, — лучше бы выправили себе советский паспорт да и вернулись на родину, на пенсию в пятьдесят рублей, благо никто их во Франции не держит, старичков ваших слезливых.

Тут налились слезами красивые глаза Светы, и Марку так и не удалось уговорить ее остаться. Вместе с ними на улицу вышел Морозов, и вся троица мирно добрела по заснеженной Кропоткинской до стоянки такси. Любовь — великая вещь. Не знаю, что уж там говорил по дороге Марк своей обиженной подруге, но расстались они почти совершенно довольные друг другом. Да и Морозов не таил особого зла на хозяина дома, так что возвращался тот, насвистывая гитарную мелодию не из самых грустных. Та же самая мелодия ожидала его и в квартире, где слегка протрезвевший Розенкранц взял наконец свою шестиструнку. Марк прислушивался, печалась. Возле комода, на куче подаренных ему Костей англо-русских словарей, распластался вылинявший и залатанный пустой рюкзак, с которым не раз ездил Розенкранц с друзьями в короткие и долгие путешествия, а на нем — зачитанная машинописная копия Бродского, из которого Марку приходила сейчас на ум одна и та же строчка: «Смерть — это то, что бывает с другими...»

— У меня еще твой старый спирт есть, только теплый, — шепнул Марк Ивану. — Ты обещал жидкого азота принести.

— Не было сегодня. Но я сухого льда притащил. Возьми сам из портфеля, там термос с широким горлом.

Марк безмятежно раскрыл истоминский портфель, и элегическое его настроение тут же словно ветром сдуло. Оглянувшись на Ивана, он быстро вышел из комнаты, там извлек из портфеля отнюдь не термос, а пла-

стикový пакет с какими-то тремя небольшими увесистыми предметами. подержал его в руке, покосился на затворенную дверь соседки — и поспешил на кухню, где и кинул таинственный пакет в мусоропровод. А до спирта и сухого льда дело дошло только значительно позже, потому что через несколько секунд раздался троекратный отрывистый звонок в дверь.

На лестничной клетке увидел ошеломленный Марк двух милиционеров — одного в чине лейтенанта, а другого, совсем мальчишку, — сержанта. Тут же подоспела и ликующая Марья Федотовна.

— Давно вас жду, товарищ лейтенант! — Своему соседу, как и самим милицейским, она не дала сказать ни слова. — Полюбуйтесь сами — первый час ночи, а у нас в квартире опять шум, опять пьянка! Слышите?

В комнате продолжала петь жалобная гитара Розенкранца.

— И добро бы он был законный жилец, товарищи, а ведь проживает в нарушение паспортного режима. Непрописанный проживает, без договора о поднаеме!

— Документики ваши попрошу, — сказал лейтенант.

Вернувшись из комнаты с паспортом, Марк застал блюстителей порядка уже в прихожей, а Марью Федотовну — с беспокойством посматривающей на ручки талой воды, стекавшие с их сапог. Донесся откуда-то приглушенный звон кремлевских курантов, грянул государственный гимн.

— Что же вам сказать, Марк Евгеньевич, — лейтенант протянул документ обратно хозяину, — прописка у тебя, вижу, московская, парень ты, замечая, понимающий. Неужто не знаешь, что после одиннадцати должна соблюдаться тишина?

— Товарища провожаем, — сказал осмелевший Марк.

— Вы бы знали, товарищ лейтенант, куда они провожают своего дружка! — В голосе Марьи Федотовны звучало неподдельное негодование. — Я все их разговорчики слышала!

— Что вы там слышали, надо еще доказать, — сказал Марк спокойно. Он вспомнил, что в свое время, еще когда в квартире жил ее настоящий хозяин, соседка успела изрядно попортить нервы местным милиционерам. — Вы, Марья Федотовна, опустили до клеветы. Я в суд могу подать на вас, Марья Федотовна...

Поморщившись, лейтенант двинулся в комнату, откуда уже выглядывали в темный коридор обеспокоенные гости. Взгляд его профессионально скользнул по лицам и нехитрой мебели, чуть задержавшись на книжных полках, на «Грюндиге», предмете большой гордости хозяина, да на календаре, который Марк не то выпросил, не то своровал прошлой осенью в представительстве японской авиакомпании. Зима в провинции: снегом засыпана острокрая крыша, одинокая женщина, закутанная в серое, спешит домой, укрывшись ярким зонтом. Мягкие очертания, размытые деревья, светлая тоска.

— Так кого, говоришь, провожаете? — не утерпел сержант.

Марк нехотя показал на Костю, развалившегося в кресле с машинно-писной инструкцией для отъезжающих на коленях.

— И далеко? — вежливо осведомился лейтенант.

— За границу.

— А-а, — протянул лейтенант понимающе и даже с некоторым уважением. — В зарубежную командировку. В социалистическую какую-нибудь страну или в развивающуюся?

— Да в Израиль он уезжает! — выкрикнула Марья Федотовна, вынырнув из-за спины лейтенанта. — Я все слышала! Все!

Милиционер, посуровев, спросил у Кости документы, тот протянул изрядно помявшуюся выездную визу.

— Значит, в Израиль, — задумчиво сказал лейтенант, ударение поставив, как и Марья Федотовна, на последнем слоге, — на постоянное жительство... Что ж, — он помедлил, как бы что-то припоминая, — воссоединение семей граждан еврейской национальности... понимаю. А паспорт ваш можно?

— Нельзя, — усмехнулся Костя, засовывая визу в задний карман джинсов, — нет его у меня. Я теперь, видите ли, лицо без гражданства.

— То есть как без гражданства? — снова нарушил субординацию сержант. — Без подданства, что ли? А паспорт где?

— Сдал я свой паспорт. И распрощался с советским гражданством на веки вечные. Все удовольствие обошлось в пятьсот рублей плюс год жизни. Послезавтра выезжаю в Вену. Не тревожьтесь, лейтенант. Все официально, все законно. Вот мои друзья-приятели. — Он оглядел собравшихся. — Ни с кем я больше никогда не увижусь, вот и собрались выинтить закусить. Хотите рюмашку? Все также трезвые сегодня, аж противно. Уговаривали, завидовали, а в последний момент скисли. Можете себе представить, лейтенант, — он попытался ухватить ошалевшего милиционера за пуговицу тулупа, — мы незадолго до вашего прихода чуть не переругались. С каким же, спрашивается, настроением я должен теперь умять?

Тут лейтенант наконец отстранился от Кости, тем самым обезопасив свои пуговицы, а заодно и авторитет представителя власти.

— Что же вы... — Он замялся, подыскивая подходящее обращение. Товарищ — явно не годилось, гражданин... Но какой же гражданин — лицо без гражданства? — Что же вы, Константин...

— Дмитриевич, — сказал Розенкранц.

— Что же вы, Константин Дмитриевич, покидаете Родину? Поддались на удочку сионистской пропаганды?

— Как можно, лейтенант! — осклабился обнаглевший Костя. — Знаете, что написал один хитрый еврей в графе о причинах выезда? «В связи с представившейся, наконец, возможностью». Вот и я так, и я.

— У него единственный родной дядя в Израиле, — вмешался перену- ганый Ленечка, — он круглый сирота...

— Вранье! — снова вскричала Марья Федотовна. — Он даже и не в Израиле собрался, а в Америку! Тут многие не в первый раз собираются на свои сборища, я много чего слыхала. — Она вынула из кармана байкового халата тетрадку в гладеньком дерматиновом переплете и помахала ею в воздухе. — И дежурств по квартире он не соблюдает! Полы моет плохо! Мыло мое использует! Я измучилась совсем, помогите, товарищ лейтенант!

— Кто прописан в комнате? — наконец спросил сбитый с толку милиционер.

— Крамер Владимир Петрович, — сказал Марк упавшим голосом, — родственник мой.

— Договор о поднаеме есть?

— На днях должны оформить, товарищ лейтенант... я принесу...

— Когда принесете, тогда и поговорим. Комнату вам придется в течение ближайших трех дней о-сво-бо-дить. Закон есть закон, товарищ Соломин, к тому же факт шума после одиннадцати. Даже если б вы были тут прописаны, мы имели бы полное право составить протокол и сообщить вам по месту работы. Станный повод вы нашли для застолья, прямо скажу! И потом — это что такое?

Он показал на зачехленную пишущую машинку в углу.

— Зарегистрирована?

— Пишущие машинки, — подал голос Иван, — уже лет двадцать как никакой регистрации не подлежат. Не те времена. Вы бы еще о радиоприемнике спросили, товарищ лейтенант.

Обиженный милиционер проверил документы и у Ивана, откозырял и велел всем немедленно разойтись, обещав вернуться через час-другой и «проследить». По коридору за ним засеменила Марья Федотовна, пытаясь всучить свою тетрадку с компроматом на зловредного соседа. Куча пальто и шапок, наваленная на стуле в прихожей, таяла. Уходящие говорили какие-то слова ободрения, кое-кто и обнимал, другие просто жали руку, женщины целовали; «Завидую, старина», — шепнул вдруг Ленечка Добровольский; «Свидимся», — весело заявил Ярослав, как, впрочем, и некоторые другие, не терявшие надежды получить долгожданное разрешение. Остались только Марк, Костя, Иван, отправивший домой свою Ирочку, да Андрей. Впрочем, маячила в коридоре и паскудница Марья Федотовна.

Глава третья

Окончательно проснулся Марк только в первом часу. День выдался серый, волглый и томительный, голова отчаянно трещала. Передергивая плечами от холода, он отыскал в ящике письменного стола завалывшийся пакетик «Алка-Зельцер» (приятные иностранные штучки вообще у него водились, но об этом позже), запил шипучий напиток стопкой водки для верности, потом минут пятнадцать стонал и кряхтел под обжигающим душем. Но загаженной комнате разнесло ветром из форточки полупрозрачные листочки давешней инструкции для отъезжающих. Боже мой, Боже правый, никогда больше не свидеться с Костей, какой был друг! Был. Об уехавших всегда говорят в прошедшем времени.

— Бесценный документ, господа, — язык у Кости несколько заплетался, — как выхлопотать вызов, куда жаловаться после первого отказа, куда после второго, какие справки требуют, когда получаешь извещение из этого злоедучего ОВИРа... Тяните. — В кулаке он сжимал четыре спички, у одной предварительно отломав головку. — Выигравший получит инструкцию, и она ему рано или поздно пригодится. А вытяну я — так вы все и сдохнете на нашей богоспасаемой родине.

Ободряя Розенкранца в худшие минуты его отъездной эпопеи, Иван знал, что самого его не выпустят за границу никогда. Андрей при всяком удобном случае твердил, что «потеря языковой среды» для него «равносильна самоубийству». Марк... впрочем, он-то и вытянул роковой жребий.

— Исключено. — Он качнул головой. — И сам не захочу, и власти ни за что не отпустят. Нет, ребята, если и доведется мне пересечь границу, то только с советским паспортом в кармане, с визой на въезд обратно в Россию.

— Марк, Марк, не зарекайся, не играй в Морозова. — Лицо Кости после бессонной ночи посерело, глаза потеряли блеск. — Умерла твоя Россия, осталось двести шестьдесят миллионов ублюдков. Как ты здесь выживешь, с твоей-то душой, на что обопрешься?

— А мы разве не Россия, Костя?

— Нет, Андрей. Я с послезавтра эмигрант, а вы... ну что я могу сказать. Слов высоких не люблю, а все-таки — смертью пахнет в этой стране, гибелью, милые вы мои, гниением. Юность наша кончилась. Погуляли мы славно, сливки с жизни сняли — вот и настала пора отвечать, отрабатывать авансы. Судьба наступает, а с нею шутки плохи, и боюсь я за вас всех, ребята, по-страшному боюсь. Даже за тебя, Марк Евгеньевич.

— Не каркал бы ты, — поежился Андрей. — Все-таки вегетарианские времена. Ни за литературу, ни за, как ты сказал, душу пока не сажают. Можно выжить, можно. Правда, Марк?

— Да. Если не высываться. Чего некоторые из нас совсем не умеют. Что у тебя лежит в портфеле, Иван?

— Оттиски статей, — отвечал Иван хладнокровно, — ксерокопия набовковского «Дара», колбасы полкило, льда сухого остатки в термосе...

— А еще?

— Ну, краска аэрозольная. Купил сегодня, шкаф на кухне покрасить. Три баллона.

— Из которых один начатый.

— И что с того?

— То, что уже в мусоропроводе твоя краска. Конспираторы хреновы. Мальчишки. Ты же вроде ученый, Иван. Ты не слышал о современной криминалистике? О спектральном анализе, извини уж, что лезу в твою вотчину, о том, что у всех химических продуктов из одной партии схожий состав? Ты не понимаешь, что по всей Москве сейчас обыски пойдут? Вчера родился?

— Ничего не знаю, — сказал Иван быстро. — Отказываюсь понимать. Ноу коммент, как говорят американцы. Вы, господа, ничего не слышали, правда? А на твоём месте, Марк, я зашел бы к нам на семинары как-нибудь. Не пожалеешь.

Марк, вздохнув, покачал головой, а Розенкранц зачем-то пожал Ивана руку, за ним и Андрей. К скользким темам больше не возвращались, к высоким тоже. Под утро, когда прогудел по туманной улице первый

троллейбус, настала пора расходиться. На лестнице, на пыльных и грязных ее ступенях, Марк обнял друга, и они трижды поцеловались. Константин отстранился, кажется, всхлипнул, взглянул Марку в глаза — и вся траица стала неторопливо спускаться. Хлопнула дверь на улицу. Марк вернулся в комнату и закурил. За стеною уже трезвонил будильник, поставленный для верности в тарелку с медяками, заворочалась соседка. Просыпалась она тяжело, вечно охала и кашляла в полусне. Вчера, после ухода всей компании, разъяренный Иван настиг коммунальную патриотку по дороге в комнату, сделал страшные глаза, загородил ей путь.

— Ах ты сука старая, — прошипел он к немалому ужасу Марка. — Добилась своего, вредительница? Ты не догадываешься, где мы все работаем, дура? Ты знаешь, что стоит мне слово сказать — и ты у меня в двадцать четыре часа вылетишь к чертовой матери и со службы, и с квартиры этой, и вообще из Москвы? — Он на секунду раскрыл перед носом ошалевшей соседки ярко-алый, переплетенный в настоящую кожу пропуск в свой сверхсекретный институт. — Давай-ка живо свою тетрадку. Тоже мне помощница выискалась! Ты соображаешь, сука безмозглая, что чуть не сорвала товарищу Розенкранцу выполнение государственного задания особой важности?

Послушно протянув тетрадку, Мария Федотовна рванулась к своим дверям и, вероятно, так и не услышала сдавленного хохота своих обидчиков. Выходка ничего себе, но с квартиры теперь придется съезжать совершенно точно. А куда? И снова морока, снова картонные коробки для книг, опять собирать дурацкую разрозненную посуду, сортировать письма — с каждым переездом их остается все меньше, только стопка от Натальи такая же толстая... глупо-то как.

Прописан был Марк у матери, в однокомнатной квартирке в Хорошево-Мневниках, украшенной превеликим множеством подушек, лоскутных одеял и недорогой фарфоровой посуды. Получили они это жилье на берегу Москвы-реки лет десять назад взамен небольшой комнаты в подвальной коммуналке. Прожил Марк у матери меньше года, с первого же курса института кочевал с волчьим упорством из одного случайного места в другое, в студенческие годы, бывало, и поголаживал, но за независимость свою и свободу держался мертвой хваткой, тем более что фундамент у них был самый что ни на есть хлипкий. Родители давно разошлись; с матери тянуть было непристойно да и не очень возможно, а отец в своем нынешнем состоянии был бессребреник и нищий, и со школьных лет таил на него Марк горчайшую обиду. По образованию синолог, работал отец когда-то на зарубежном вещании, захаживали в дом хорошо одетые гости, немногословные улыбчивые китайцы приносили соевый соус в баночках и диковинную лапшу, мать бегала на коммунальную кухню проверять пироги, к вящей зависти многочисленных соседей, и устилала стол крахмальной скатертью, и гоняла Марка в рыбный магазин на Арбате за осетриной. Чуть ли не в том же магазине отец потом работал грузчиком и выделял Марку алименты: двадцать четыре рубля в месяц. Положим, Андрею доставалось не больше, но много ли ему было нужно в своем Харькове? А Марк учился в английской школе, куда кое-кто из одноклассников, бывало, подкатывал к началу занятий на черной «Волге» с шофером. Вот вам и обида, почти ненависть, вот и уязвленность сердца, вот и безумное желание выбиться в люди, чтобы кому-то что-то доказать — Господи правый! — вот и драма почти на всю жизнь. Марк и службы своей, порядком ему опостылевшей, не бросал, все надеясь, что рано или поздно она вынесет его неведомой волною на небесную высоту, где обретаются холеные дети ответственных работников, сами понемногу в этих самых ответственных работников превращающиеся. Самое ужасное состояло в том, что Марк яснее ясного понимал всю суетность и никчемность своих мечтаний, а совладать с собою не мог. И в результате, отдавая парикмахеру Жоре на Новом Арбате четыре, скажем, рубля — сумму, пробиравшую в его финансах ощутимую брешь, — он испытывал не столько радость столичного пижона, сколько злобное удовлетворение. Простая прическа в детстве стоила пятнадцать копеек, модельная, или как там, — сорок плюс одеколон, от которого со стoisческой улыбкой всегда отказывался подросток Марк... и был такой Витка Быстров, проводивший своей барской ладонью именно по модельной стрижке... и были

серо-зеленые благотворительные талончики на питание в школьном буфете, которые каждый месяц получал он в темном уголке коридора от подследственной учительницы математики... у-у-у! Впрочем, покладистая буфетчица иногда обменивала талончики не на пошлые булочки и сосиски, а на шоколадку или даже на несколько серебряных монеток, которые Марк тут же издерживал на сигареты с фильтром, совсем недавно появившиеся в Москве. Блаженная детская бедность, потные гривенники, сгнившие марки английских колоний—где вы?.. Сегодня на бульваре, задумавшись, он вдруг забрел в самую гущу ветвей цветущей яблони и чуть не сошел с ума от запаха и прикосновения лепестков, а яблоневая ветка до сих пор стоит в бутылке из-под вина, выпитого вчера с друзьями,—так вот, по этой жизни, несущей во чреве завтрашние потери, он, Марк, будет тосковать куда горше, чем по детству, и какая уж там сентиментальность, просто слезы по прошедшему, безо всякой сладости...

Голова еще побаливала, и вскоре Марк уже сидел в полупустой пирожковой, под резным деревянным панно с тремя богатырями на распутье. Пива не было, пришлось взять водки. После второй стопки Марк огляделся вокруг—и с некоторым неудовольствием узнал в одном из двух парней, сидевших неподалеку за бутылкой, Володю Струйского. Тот тоже поднял глаза, и взгляд его просиял.

— Марк! — подскочил он. — Кореш ты мой бесценный! Сколько лет, сколько зим!

— Недели две, — усмехнулся Марк.

— Да ну? Заметано — подсаживайся к нам. Что с тобою — один, угрюм, водку глушишь? Право, не узнаю. Пошли, пошли. — Он понизил голос. — С клевым парнем познакомлю. Зануда, но пьет, как лошадь, к тому же угощает. Не кобенясь. Ба! «Мальборо»! Тем более пошли. У нас курево кончилось, а в этой лавочке только «Беломор». Дай-на помогу перетащить твои пирожки, дружище.

Своего собеседника — широкоплечего, с тяжелой нижней челюстью — представил Струйский как «нашего рязанского коллегу». Из его приоткрытого портфеля свиной кожи торчали засаленные хвостики трех, а может, и четырех увесистых батонов вареной колбасы.

— У вас что, тоже со снабжением неважно?

— По-всякому, — отвечал запасливый рязанец. — Тебя как звать-то? Извини, не расслышал.

— Марк, Марк! — сказал Струйский. — Гид-переводчик Конторы по обслуживанию иностранных туристов, в некотором роде тоже коллега. Да ты, кстати, его фотографию позавчера видел у Светы.

Настоящая фамилия Струйского была Струйский-Горбунов, но еще лет десять назад отец-полковник решил ее поделить, так что молодой смене досталась первая, романтическая половина, а старшему поколению — прозаическая вторая. Семьи Светы и жизнерадостного Володи дружили домами с незапамятных времен, и даже развод ее родителей не устранил некоторых надежд «стариков» в отношении детей. Но тут что-то не сладилось, не без косвенного участия Марка, появившегося на горизонте в прошлом году. Впрочем, примерно в то же время у Струйского вдруг возникли известные обязательства к некоей Ларисе, девице посторонней, провинциальной, совершенно не того круга. Без прибавления в семье в конце концов обошлось, и все же к сентябрю месяцу Лариса со вздохами, со скрипом была принята в дом — моральных правил полковник держался самых строгих. Женатый Струйский ничуть не пожертвовал своими правами друга детства, бывал у Светы запросто, в том числе и один. Служил ли он, как папаша, в органах? Неизвестно. Но количество и живость его знакомств заставляли кое-кого призадуматься. Денег и свободного времени у него тоже имелось куда больше, чем полагалось бы аспиранту, пускай даже и кафедрой чего-то там такого в Московском университете. Так что иные в выводах не стеснялись, но Марк от окончательных суждений воздерживался, памятуя, к слову, и о том, что был Володя прежде всего болтун, хвастун и вообще малый несерьезный.

— Пей до дна, пей до дна, — балагурил Струйский, — нечасто удается нашему брату заложить за воротник в рабочее время. Почто гудяешь, старина?

— Отгулы. Завтра снова на работу.

— Опять путешествовать?

— По подвалам я буду путешествовать... Слушай, Струйский, меня вчера с квартиры согнали. Сучка эта, Марья Федотовна, закатила жуткий скандал. У тебя никто не сдает? Хоть комнату?

— Юморной ты мужик, Марк, — развеселился Струйский. — Зашибаешь прилично, в Конторе вроде на хорошем счету, а ни квартиры, ни хрена. У нас в кооперативе...

— Спасибо, — оборвал его Марк, — спасибо. Вы-то что пьете?

— Отгулы, — собезьянничал Струйский. — К тому же у Сережи кончилась длительная и ответственная командировка. Соскучился по семейству, а? Сергей! Соскучился?

Сергей неторопливо дожевал пирожок и вытер пальцы, затем достал из глубин портфеля обернутый в целлофан новенький том Юлиана Семенова. Между страницами книги обнаружилась глянцевая фотография пухлого младенца.

— Оля, — сказал он. — Два года скоро.

— Семья! — воскликнул Струйский. — Кстати, вот сигареты американские. Марк угощает.

Недоверчиво закурив, Сергей тут же закашлялся и со словами «химия сплошная» ткнул заграничное диво в блюдце. В том же портфеле у него оказалась начатый блок «Столичных».

— Что-то ни хрена у вас в Рязани нет, — кольнул его Марк, — ни мяса, ни курева. Неужели даже вас не снабжают?

Рязанский коллега вопросительно взглянул на Струйского.

— Одних снабжают, других нет, — застрекотал тот. — Поменьше вопросов, товарищ Соломин, как говорится, вопросы здесь задаем мы. Вот ты, например, явно считаешь, что Сережа из органов. И, выражусь, имеешь полное право остаться при своем законном мнении. Однако, старина. — Он беззастенчиво достал у Сережи из кармана пиджака небольшую бумажку, сложенную вчетверо и порядком потертую на сгибах. — Зри, — он развернул ее перед носом Марка, — предьявитель сего Матвеев Михаил Петрович... является младшим научным сотрудником рязанского НИИ животноводства... и печать круглая, ты полюбуйся на нее, Марк Евгеньевич, это же класс... «Даже вас!» — передразнил он. — Сменим пластинку, Марик. Газеты читаешь?

— Ну?

— Новости слышал?

Хотелось на воздух. Там, в ранних январских сумерках, начинался снегопад и загорались первые огни проспекта. Где-то по вечеряющему городу еще метался Костя, а может быть, уже прощался дома с родными. Ребята поедут завтра с ним в аэропорт, а Марку это не по чину — слишком примелькалась его физиономия в Шереметьеве. Под потолком мерзкой пирожковой зажглись, мигая и треща, люминесцентные лампы.

— В общем, парень, кончили мороку с этим власовцем, — подал голос Сережа. — Отвезли вчера на площадь Дзержинского, подержали для остротки, а сегодня уже и отправили куда подальше.

— Шутить? — вздрогнул Марк. — Какой суд так быстро управится?

— Для птички такого полета, — Струйский наставительно поднял палец, — никакого суда не требуется. Чрезвычайное, понимаешь ли, заседание Президиума Верховного Совета, лишение советского гражданства за действия, несовместимые со статусом и наносящие ущерб престижу. Звонок по красному телефону. А там в спецсамолет — и катись, Александр Исаевич, колбаской по Малой Спасской! Полагаю, — он посмотрел на часы, — он уже отсыпается в каком-нибудь Франкфурте-на-Майне.

Марк незаметно перевел дыхание.

— Дешево отделался, — сказал он искренне.

— Разрядка, мать ее!.. Шум! Торговля! Вот ты как полагаешь — быстро его теперь забудут?

— Откуда мне знать?

— Быстро, — постановил Сережа. — Кому он будет нужен в своем Израиле?

— В Израиле? — Марк изумился.

— А куда он еще денется? Будто ты его настоящей фамилии не знаешь.

— Я читал другое, — сказал Марк сухо.

— Где?

— В «Литературной газете». Писали, что он из помещиков. Из донских казаков.

— Знаем мы таких казаков, — бурчал Сережа, — знаем таких помещиков...

— Бросьте базлать! — Струйский подмигнул Марку. — Проводил ты своего Розенфельда?

— Розенкранца.

— Один хрен. Проводил?

— Он такой же мой, как и твой. И откуда ты все знаешь, Струйский?

— Слухом, слухом земля полнится, старина. Не ценишь ты моей дружбы, ох, не ценишь. Другой бы на твоём месте... ах! Водочки ещё хочешь?

Блеф, думал Марк, сплошной блеф. Только и знает, что цену себе набивать. Проболталась, конечно, Светка. Блеф. И коллега этот рязанский... бандит с большой дороги. Кто же он все-таки такой? Верно, из провинциальных спортсменов или милицейских, самбист какой-нибудь. А может, и впрямь из органов. Младший сержант или вовсе рядовой, шесть классов образования. Тьфу.

— А у нас так не принято. — Сережа изучал его взглядом, исполненным легкого презрения, но вместе с тем и снисходительного дружелюбия. С таких взглядов в пьяных компаниях начинаются либо клятвы в вечной дружбе, либо кровавый мордобой. — Двое, значит, пьют, а третий из себя целку строит. Давай-ка, парень, как тебя, Марк, что ли. Сам понимаешь. Работаем мы, как собаки, служба нервная, опасная. Если пьем — пьем. Если ты наш человек — а ты наш, по глазам вижу, что наш, русский парень, — то и ты с нами выпьешь, друзья тебя угостят, а ты не откажешься. И выпьешь по-нашему, по-русски, без этих жидовских выкрутасов. Я и налью тебе по-русски. Держи.

Он сграбастал бутылку и изобразил фокус, которым и сам Марк не однажды восхищал американских туристов: а именно, выказывая немалую твердость в пальцах, наполнил пузатую зеленую рюмку до самых краев, так что бедному Марку пришлось отпить первый глоток на собачий манер, низко склонившись над столом. Остаток он допил единым махом и тут же принялся прощаться. Струйский увязался проводить его до гардероба.

— О вчерашнем слышал? — спросил он вдруг абсолютно трезвым голосом.

— Не понимаю.

— Информирую: какие-то поганцы из диссидентов устроили серьезную пакость в Новодевичьем монастыре, прямо напротив «Березки».

— Слушай, Струйский...

— Не горячись, — перебил его собеседник. — Дело не только в монастыре. По дружбе тебе советую в ближайшее время либо кое от кого держаться подальше, либо, наоборот, держаться к ним поближе.

— Володя, я...

— Не ломай из себя целку, как выражается наш рязанский друг. Сам меня о квартире спрашивал.

«А это уже не розыгрыш, — думал Марк, которому никак не удавалось засунуть руку в рукав пальто. — Не розыгрыш. Поздравь себя, Соломин, заслужил, наконец, доверие...»

— Вот что, Струйский. — Он принялся медленно застегивать пуговицы. — Я в такие игры не играю. Понимай как хочешь. У меня своя профессия, своя жизнь. Договоримся, что ты мне ничего не предлагал, я от тебя ничего не слышал. Ты ведь, это, ну как его... неофициально?

— Да, Марк, неофициально. — Струйский покачал головой. — Только по большой к тебе симпатии. И не спеши, не спеши так уж наотрез. Есть время подумать. Пока, Свете привет.

— Кланяйся и ты Ларисе, — сказал Марк. Тошнота, мучившая его после угощения рязанского коллеги, стала совершенно нестерпимой.

Глава четвертая

Есть что-то утешительное в ритмическом чередовании времен года, месяцев, дней и ночей. Каждая новая весна — будто рифма к прошедшим; новые ночи и новые сновидения — тоже отчасти повторение пройденного, и сам их приход приносит грустную и легкую надежду. Только бессонница — не из этого ряда. Не до лирики у пустого предутреннего окна, особенно в оттепельную пору поздней зимы, под ровным серым сиянием городского небосвода. Пустынны продутые резким ветром улицы, темны жилые коробки, бледнеют фонари, только за углом по кровавому отблеску угадывается неоновая вывеска «Мясо» да иной раз прощумит такси по заледенелому асфальту, невесть куда увозя подгулявшего косноязычного седока. Может быть, в Шереметьево. Там и в шестом часу утра — жизнь, снуют хитрые носильщики, заспанная буфетчица варит кофе случайным клиентам. Люди, свет. Марка в последние недели чуть не каждую ночь будили кошмары. И на этот раз, вскидываясь и пристанывая сквозь сон, он опять куда-то летел, проваливался, бежал. Пыльная полдневная дорога, руки связаны, босые ноги разбиты — Господи, откуда такой бред! Давно пора к врачу. И молоденький Витя Ветловский повадился снится, не в третий ли раз за эту зиму молчаливо усмехается, машет рукой? А за ситцевой в горшок занавеской кухни — та же ночь, Боже правый, мокрый снег покрывает оконное стекло хилыми косыми росчерками. И самолеты, верно, никуда сегодня не улетят из Шереметьева...

Он осторожно зажег газ под чайником, потом открыл-таки холодильник и отхлебнул из бутылки дрянного кагора, принесенного братом Андреем. Ах Ветловский, Ветловский, лежал бы себе под дешевеньким цементным надгробием в Вострякове, не тревожил бы живых — у них и своих забот довольно... Или не Марку жаловаться? Так тяжело бывало с Натальей, еще хуже — одному во всех этих случайных комнатухах, — и так в общем-то хорошо на этой чистой кухоньке, под своим японским календарем, на котором уже другая картинка — акварельный поток бежит, шумя, по горному склону.

— Говорила я тебе вчера, негодник, чтобы пил меньше.

Марк обернулся. За урчанием чайника, за своими расхристанными мыслями он не заметил, как вошла на кухню заспанная и насмешливая Света.

— Ты своими бессонницами уже и меня совсем извел. Снотворное бы пил, что ли. Хочешь, достану?

— Это душевное, — привычно оборонялся Марк.

— Неисправим. От кого ты набрался таких идей? От американцев? У них, говорят, эти штучки в моде.

— Отправляйся спать, — сказал Марк мрачно. — И чаю у меня не проси.

— Какой уж теперь сон! Покрепче, пожалуйста. И вина немножко, прямо в чашку. Ну что нос повесил? Бродяга несчастный. Квартиру тебе Иван подыскал?

Марк удрученно покачал головой.

— Нахлебник. И зачем я с тобой связалась?

— Гонишь?

— Будешь и дальше засовывать грязные носки под ванну — выставлю точно.

— А серьезно?

— Трудно сказать. — Света, помедлив, положила себе в чашку еще сахару. Чашка была тонкая, ложечка — серебряная не серебряная, но издававшая приятный уху легкий звон. — Отец возвращается через две недели. Он, сам знаешь, либерал порядочный, но все-таки старое поколение. Придется как-то объясняться.

Марк, рассеянный и растерянный, искоса следил за движениями ее рук.

— Знаю, знаю, милая, — сказал он наконец. — Я позавчера снова ездил смотреть какой-то хлев. Полсотни в месяц, а коммуналка гнуснейшая, чуть не с мышами. Вдобавок — на улице Двадцати восьми героев-панфиловцев. Убей меня, не могу я жить на такой улице, там вечером зарезать могут.

— Да нет такой в Москве, — смеялась Света.

— Есть. В крайнем случае перееду в дворницкую к брату.

— Спать на этом вонючем матрасе в углу?

— А куда деваться? — резонно возразил Марк. — Думаешь, мне сладко висеть у тебя на шее? Лариса эта жуткая так и стреляла глазами по квартире — хорошо, я догадался свою зубную щетку припрятать. Чернухин тоже... — Небо за окном начинало светлеть, и, если б не мокрый снег, запели бы уже в черных ветвях первые птицы. — Съеду, скоро съеду, — пробормотал он, отвернувшись.

— Заладил, как слюманый патефон. — Она погладила его по волосам. — Лучше скажи: отчего ты на мне жениться не хочешь?

Марк так и поперхнулся чаем. То есть спору нет, вопрос этот витал в воздухе давно, и более того, по всем приметам настало самое подходящее время для женитьбы, той самой, которой он всю жизнь боялся почти так же, как брат Андрей. За минувший месяц он основательно позабыл и комнату с высокими лепными потолками, и утреннюю яичницу, и вечерние свары со злодейкой Марьей Федотовной — в тетрадке у которой, кстати, оказались вместо ожидавшихся доносов и клеуз только фиолетовые психиатрические каракули. Иными словами — размяк, избаловался, отъелся. Подходила ему пора остепениться и по обстоятельствам, можно сказать, служебным. Бурлили в последнее время в его Конторе какие-то подводные течения, слышались намеки. Дураку понятно, что в любой характеристике слова «товарищ Н. женат» почти так же важны, как «морально устойчив и политически грамотен».

— Интересно. — Он снял очки. — А гордость как же? Хорош Марк Соломин, скажут. Чуть остался на мели — и тут же как бы, значит, по расчету...

— Какой расчет, глупый! — Света несколько покраснела. — Можешь вообще считать, что предложение, в лучших традициях суфражисток, сделала я сама. Ты ведь меня любишь?

— Конечно, — возмутился Марк.

— И Наталью свою забыл? — По голосу Светы чувствовалось, что знает она о своей бывшей сопернице куда больше, чем следует. — Забыл?

— Конечно, — снова сказал Марк. — Разумеется. И все-таки непонятно...

— Так хочешь или не хочешь? — перебила она.

Марк, разумеется, хотел, а если и был в своем ответе немногословен, то единственно по робости и скромности. Он и впрямь почти позабыл свою Наталью: в Ленинград не звонил уже месяца три, а не ездил и того дольше. Ночной разговор со Светой мог, в сущности, состояться еще в конце осени. Марк не раз уже поругивал себя за нерешительность, справедливо рассуждая, что «и эта птичка может упорхнуть, а жить когда-то начинать надо».

— Мать я уломаю легко, даже без твоей помощи, — размышляла Света вслух, поскрипывая креслом-качалкой. С кухни они окончательно перебрались в комнату, место гнусного чая заняла обнаружившаяся в глубине секретера бутылка шампанского. Горели, как водится, свечи. Печальный же шелест мокрого снега сменился подобающей случаю негромкой музыкой — не то Вивальди, не то Скарлатти. — К отцу поедем сразу после его возвращения. Он после Пицунды всегда довольный и добрый. А комедию с загсом устроим к осени. Если не передумаем, конечно.

— Ты можешь передумать?

— Ах ты дрянь самоуверенная! Мало ли что может случиться. Тем более с такой завидной невестой, как я. «Дочь Сергея Георгиевича, — прошептала она, кого-то передразнивая, — да-да, того самого...»

— Хвастаешься?

Она перестала улыбаться.

— Если бы ты знал, как мне это отравляет жизнь. Будто я сама по себе ничего не стою. Я рада, что хоть тебя это не отпугнуло.

— Я сначала понятия не имел, чья ты наследница.

— Ценю.

— А зачем до осени-то тянуть?

— Диплом я защитить должна? А это июнь. Летом ты снова будешь

мотаться со своими иностранцами. А в Сочи в сентябре бархатный сезон. Вот и отправимся в свадебное путешествие.

— В печенках у меня сидит твое Сочи, — пожаловался Марк, — пять-шесть раз в год пальмами этими люблюсь. Давай лучше в Крым. Я бывал в таком селе Морском, недалеко от Судака... Там в конце августа ни души...

— Оставь свой дикий Крым для богемы во главе с твоим братцем и этой кошмарной Инной. Там оч-чень романтично, знаю, только жрать нечего, жить негде, а из развлечений — только на пляже валяться.

— Жить есть где.

— Годы мои не те. Хочу в гостиницу. Хочу спустить чертову уйму денег. Будто плохо мы с тобой провели те три дня в Сочи.

Приморский их роман вышел, как и все подобные романы, бурным, со всеми положенными аксессуарами, лунными ночами и поцелуями на пустынном берегу. Но, как бы в нарушение курортной этики, жизнерадостный переводчик Конторы по возвращении в Москву позвонил Свете, а проведив американцев — заявился в гости с огромным букетом лохматой сирени. Прошло лето, миновала осень, роман обозначился основательный, хотя в жизнерадостности своего избранника Света несколько ошиблась да и его знакомства поначалу порядком ее насторожили. Но и то, и другое, разумеется, было довольно поправимо и нисколько не перевешивало его щедрости, мягкости, ума наконец, не говоря уж о некоторой лирической жилке, которая так нравится молодым женщинам. Тут, пожалуй, самое время сказать, что был Марк наподобие Раскольникова замечательно хорош собой — русоволосый, прекрасно сложенный, с голубыми глазами, правда, чаще скрытыми за стеклами несильных очков. Заодно и портрет героини: смешлива, длинноволоса, миниатюрна, иной раз резковата в суждениях и движениях, но добра.

— Почему Инна-то кошмарная? Ну ладно, стихи ее мне самому не нравятся. Но ведь кандидат наук. Восходящая звезда филологии.

— У нее колготки драные, — сказала Света. — И в ресторан она заявила в зеленой юбке и красной кофте. Я знаю, что ты скажешь: она, мол, Андрею помогает, у нее денег нет. Тоже мне филантропка. Она ему портвейн покупает и в путешествия возит, чтобы он от нее не ушел. Куда как проще! И орала она в ресторане, на нас оборачивались с соседних столиков. Слушай, жених, давно хотела тебя спросить: зачем тебе-то поить всю эту шушеру? Ты же не миллионер, а?

«Шушерой» Света, очевидно, называла многочисленных приятелей Андрея и Ивана, которые частенько ошивались у Марка — ели, пили, ночевали. Но это, естественно, прекратилось после его переселения. Что же до вчерашнего вечера в ресторане «Интурист», то Иван не только платил за себя сам, но и принес неизменную бутылку спирта, а неимущие Инна и Андрей нисколько его, Марка, не разорили — расплачивался он не живыми деньгами, а талонами Конторы, все равно лежавшими без пользы.

— Я еще прибыль получил. — Он достал из своей потрепанной нейлоновой сумки с надписью «Экзотик Турс» маленький турецкий флажок на подставке, сворованный вчера пьяным Иваном из целой коллекции за спиной разгильдяя-метрдоателя. — Видишь, какой красивый.

— Я бы на твоём месте горы своротила, — ставя поднос с кофе, сказала Света. — Сколько ты уже торчишь в своей Конторе — четвертый год? Или пятый? И все заштатный переводчик на ста двадцати рублях. Мужик, называется. Смотри, милый, детей-то нам рановато, но как распишемся, сразу подадим на двухкомнатную. Пару тысяч отец подкинет, а остальное? И не век же с него тянуть. Правда, почему тебе там ходу не дают?

— Грызня, — пожал плечами Марк, — интриги.

— Ну и уходил бы. Я тебе могу место в Союзе писателей подыскать. Тем же переводчиком. А?

— Девочка. — Марк отхлебнул кофе, обжегся, оставил чашку. — С какой стати менять шило на мыло? Вот определюсь в выездные, вступлю в партию — тогда и посмотрим. Хотя, конечно, тот еще зверинец наша Контора. Ты Верочку Зайцеву помнишь по практике? Тошная такая?

Буквально на днях «грызня» и «интриги» в Конторе по обслуживанию иностранных туристов, точнее, в отделе Англии и Америки, вылились в одну трагикомическую историю, связанную с тем, что вступить в партию ра-

ботникам Конторы, как и везде, было нелегко, на весь огромный отдел выделяли всего одну-две вакансии в год. На такую-то вакансию и метила многоопытная Вера Зайцева, беззаветно сражавшаяся с идеологическим врагом уже без малого десять лет. Именно ей по странному совпадению и была адресована открытка из Филадельфии, в которой неведомый Фредди предлагал этой московской Венере руку и сердце, обещая заодно увезти ее в свою Америку. Открытка, напечатанная по-русски на машинке, попала к начальству раньше, чем к адресату, и никто, пожалуй, никогда не видел в стенах Конторы такого злого и заревавшего создания, как мадам Зайцева после беседы с Зинаидой Дмитриевной и Степаном Владимировичем. И то сказать — воспоминания о случившихся изредка браках между работниками Конторы и идеологическими врагами, вернее, о сокрушительных последствиях этих браков для всего отдела, бросали Зинаиду Дмитриевну в холодный пот. Между тем на лестнице в клубах табачного дыма происходило брожение переводческих умов. «Девочки», составлявшие большинство сотрудников, шушукались, ахали, качали головами. Ежу было понятно, что напечатана злосчастная открытка, присланная, кстати, в заклеенном конверте, ни в какой не Филадельфии, а на беспризорной «Оптиме», спокон веков стоявшей в 302-й комнате: буква «р» подсказывала, буква «а» пропечатывалась из рук вон плохо.

— Ты сообрази, ведь кто-то писал эту открытку, просил знакомого иностранца бросить в ящик, врал что-то. Подлость человеческая безгранична, — заключил Марк. — Хочу жить в лесу, среди волков и медведей. Ты поселилась бы со мной в лесу?

— Тебе на службу пора, — сказала Света. — Хочешь, провожу тебя до метро?

Нехотя наступало сырое, пасмурное утро, по Ленинградскому проспекту текли озабоченные толпы. Покашливала Света, кутаясь в длинный лиловый шарф, притих Марк. Шли они неторопливо. Света поигрывала чуть растрепанной хризантемой, купленной у продрогшей частницы. Где-то возле улицы «Правды» они вдруг стряхнули с себя оцепенение — обнялись, поцеловались крепко и дальше отправились рука в руке, пренебрегая неодобрительными взглядами мрачного дворника.

— Что за намеки вчера бросала Инна? Только честно.

— Говорят, Максимов в Париже открывает новый журнал, — просто-душно ответил Марк. — Кто-то обещал передать стихи Андрея для первого номера. Или третьего — не помню.

— Беда мне с тобою, Марк! — рассердилась Света. — Втолкуй ты ему, наконец, что нельзя сидеть между двух стульев. Я ведь продолжаю за него хлопотать. Но чуть что...

Еще со второго курса института она по совету отца исподволь переводила — как бы для себя, разумеется, — рассказы прогрессивных английских и американских писателей. Кое-что как-то само собой вышло в свет в журналах, остального хватило бы на небольшую книгу — и тут были самые разнообразные обещания и перспективы. Через переводческие семинары при ЦДЛ, через соседей по даче и по дому оказалась Света почти независимо от своего отца вхожей в московские около- и просто литературные круги, причем, заметьте, состоявшие отнюдь не из богемной шантрапы. Тот же Чернухин, к примеру, был исключительной бойкости выпускник Литинститута, автор двух поэтических книг, член редколлегии молодежного журнала — это в тридцать четыре-то года! Правда, из его вчерашних телефонных комплиментов стихам Баевского с железной логикой вытекало, что опубликовать их не возьмется не только он, Чернухин, но и вообще никакой здравомыслящий человек. О небольшой повести, которую Баевский дописал перед самым отъездом Кости, ни Света, ни тем более Чернухин знать не могли.

— Чернухин обещает ему переводы из одного киргиза. Сегодня должен подтвердить. Пускай зайдет к нему в среду.

— Вот спасибо! — обрадовался Марк. — Что же ты сама ему не сказала?

— Не хотела... Хватит с меня этих idiotских проводов. Говорила я почти то же самое, что твой Андрей, а меня чуть за дверь не выставили. — Она усмехнулась. — Нельзя всерьез с этими твоими приятелями. Обозленные неудачники. Одни лезут в подпольную литературу, другие — в эмигра-

цию, третьи — власть ругают. А нормальные люди тем временем тихо живут и делают свое дело. Это куда труднее — так?

Марк кивнул. Время для спора было самое неподходящее.

Глава пятая

Ровно в три часа дня жемчужно-серая «Волга» с кокетливыми шелковыми занавесочками на заднем стекле лихо осадила у дома номер 3 по Малому Институтскому переулку, иными словами — у московской баптистской церкви, известного желтого здания, украшенного начищенной медной вывеской. Первым из машины вылез корректный и услужливый гид-переводчик, а в приоткрытую им переднюю дверь — тучный иностранный турист, немедленно угодивший лакированным востроносым бацмаком в весеннюю лужу. Конфуз разрешился обоюдными улыбками и был тут же забыт — на пороге церкви уже встречала гостей молодежавшая Татьяна Ивановна, лучилась, почти таяла. Просиял и американец всеми складками ухажженного лица, за ним, чтобы не зевнуть, и Марк. Процедуру он знал назубок. Поначалу зарубежных визитеров вели в молельный зал — показывать новую систему звукоусиления и недавно отремонтированный орган. В особой комнате с гордостью демонстрировали несколько ящиков с Библией — один открытый, остальные заколоченные, — «буквально вчера» доставленные из типографии. Тут же преподносили свежий номер «Братского вестника». В заключение этапировали в приемную, где на вполне приличном английском языке добрейшая Татьяна Ивановна беседовала с гостями по душам. Для вящего радушия приглашался на стаканчик минеральной воды и кто-нибудь из церковного совета, а то и призывался рядовой, случайно оказавшийся под рукой прихожанин. Опытные люди работали в Иностранном отделе церкви.

Так и сегодня Татьяна Ивановна и мистер Брэм явно не нуждались в услугах приотставшего Марка. Клиент, в миру причастный к чему-то нефтеперерабатывающему в Пенсильвании, не далее как вчера утром подписал контракт на покупку не то формальдегида, не то метилового спирта в неусветном количестве и по совершенно бросовой цене. Одно это, согласитесь, может значительно поднять настроение. А тут еще привели во вполне цивилизованную церковь, никаких гонений на веру вокруг не замечается. Увидав же в молельном зале огромный витраж «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ», гость и вовсе растрогался.

— Как это верно! — Он обернулся к Марку. — На всех языках мира! БОГ ИЕСТ ЛЬУБОВ! Скажите, миссис Петрова, а верно ли...

С добродушной обстоятельностью втолковывала Татьяна Ивановна любознательному господину Брэму, что зал на шестьсот человек обычно наполнен до отказа, что на недостаток средств жаловаться не приходится, что есть тенденция к росту числа прихожан. Все блуждали по пустым переходам раскаты чистого голоса солистки. Марк прислушался было, пытаясь разобрать слова, но его клиента уже уводили в приемную. В потрепанном своем пиджачке, в клетчатой рубашке и начищенных старомодных башмаках маялся у дверей верный Евгений Петрович, библиотекарь, не жаловавший таких встреч и бывавший на них лишь по настоянию Татьяны Ивановны. Расселись по креслам, откупорили минеральную воду, не без труда нашли где-то лигун хрустальную пепельницу — и поплыл по комнате сладкий запах вирджинского табака. Мистер Брэм воспринял приглашение чувствовать себя как дома несколько буквально и даже спросил кофе, который после минутного замешательства и был принесен расторопным Владиком из того же Иностранного отдела. Сначала беседа шла мирно, а потом гость стал мяться, закатывать глаза и, наконец, со страдальческой улыбкой осведомился, верно ли, что у верующих в Советском Союзе отбирают детей.

— Это вопрос нелегкий, — сочувственно начала Татьяна Ивановна, — сложный вопрос. Наверняка вам в Америке совсем заморочили такими вещами голову, верно?

Под материнским ее взглядом гость несколько смуглился.

— Вот видите! Как отравляет нам всем жизнь недобросовестная пропаганда! Что же вам ответить, господин Брэм? По советскому нашему законодательству родители обязаны воспитывать детей в духе идеалов коммунизма. Но подумайте сами — расходятся ли, в сущности, эти идеалы с

нашими? Конечно же, нет! Здесь, на земле, евангельские христиане стоят за то же самое, за что и народная власть, — за мир, за социальную справедливость. Так что у нас нет никаких оснований противопоставлять себя государству. Даже наоборот — мы считаем, что делаем с ним одно высокое дело.

— Но я читал... — робко перебил американец.

— Разное случается в жизни, господин Брэм. Разве у вас в Америке не бывает случаев лишения родительских прав? Есть же на свете и алкоголики, и наркоманы, и просто умственно неполноценные люди. Вы читали, я тоже кое-что читала, я знаю, например, какие трагические масштабы приняла сейчас в вашей стране проблема жестокого обращения с детьми. А ведь есть, дорогой мистер Брэм, и такие несчастные, у которых психические нарушения выливаются в форму религиозного фанатизма. Такие люди бьют своих детей, заставляют их сутками молиться, не пускают в школу. Угодно ли такое Господу?

— М-м-м, — сказал американец.

— В таких случаях, не стану скрывать, бывает, что суд — я подчеркиваю, суд! — выносит решение о лишении родительских прав. Но не отбирают детей, как вы выразились, нет, такого у нас не бывает. Вообще, дорогой мистер Брэм, вам добрый совет — поменьше доверяйте эмигрантам, диссидентам и прочему сброду. Им нужен в конце концов только политический капитал.

Гость, дивясь премудростям кириллицы, полистал «Братский вестник», похвалил полиграфию и обложку цвета морской волны.

— Это единственный баптистский журнал?

— Почему вы спрашиваете?

— Я слышал...

— Вот как много вы о нас слышали! — радушно сказала Татьяна Ивановна. — И все о проблемах, о трудностях. Что же, обидно. Хорошо, вы приехали к нам, можете получить информацию из первых рук, а как-то миллионам простых американцев! Да, есть еще «Братский листок». Вы, судя по всему, и о расколе в нашей церкви слышали?

Заблудшие братья из Совета церквей, по ее словам, нарушали известную заповедь насчет Бога и кесаря. Слышались в речи Татьяны Ивановны и словечки вроде «близорукий», «фанатичный» и «упрямый». Все это, по разумению неверующего Марка, было совсем не так несправедливо. Гость кивал, Евгений Петрович вставлял своим усталым голосом кое-какие прискорбные замечания.

— Вот еще что, — настырный американец слегка увлекся, — как у вас обстоит с принципиальным уклонением?

— С чем?

Марк объяснил диковинное выражение.

— Старшего моего, Карла, — делился заокеанский брат, — осенью призвали в армию, во Вьетнам...

— Как я вам сочувствую, мистер Брэм!

— Спасибо, — вздохнул американец. — Для него это была трагедия. Да и для всей семьи. Он теперь санитаром. Но статус уклониста оказалось получить совсем непросто. И смотрели на него в армии так косо! И я, знаете, заинтересовался: а как с этим в других странах, в другие времена?..

Заговорил Евгений Петрович почему-то по-русски, Марку пришлось переводить.

— Что ж, мистер Брэм, воинская повинность у нас есть и в мирное время, как и в большинстве европейских стран. Совет церквей считает, что верующие не должны брать в руки оружия и приносить присяги. Трудно с ними согласиться. Как сравнивать Америку и Россию? Вам же никогда не приходилось защищать своей территории от завоевателей. Слава Богу, конечно. А мы в последней войне потеряли двадцать миллионов человек. Я и сам фронтовик. И считаю, что защита Родины — это, извините, моральный долг, который для настоящего христианина, может быть, еще важнее, чем для неверующего.

— Во время войны, — поддержала Татьяна Ивановна, — в Советской Армии почти не было этих... уклонистов.

«Святая правда. — Марк взглянул в ее честные очи. — Расстреливали их в те времена, перед строем».

— Ну а сейчас-то, когда войны нет?

— Уроки истории помнятся долго, — переводил Марк. — Военная повинность у нас всеобщая. Молодые наши братья это понимают.

— А если нет?

— Попадают под суд! — отрезал Евгений Петрович. — Но это бывает исключительно редко. Да что далеко ходить — месяц назад я сам ездил в действующую армию по просьбе прихода. Был тут у нас один молодой человек. Уж не знаю, кто на него успел так повлиять, но заупрямился. Отказался принимать присягу. Майор его написал нам в церковь. И что же — пробыл я с ним три дня, поговорил с парнем по-христиански — и вот служит, и письма пишет, и даже, кажется, на неплохом счету...

Шофер «Волги» с нетерпением поглядывал на часы. Марк попросился с клиентом, от предложенной пачки чунингама отказался, но шариковую ручку все-таки взял. Разбрызгивая комья мокрого снега, машина скрылась за поворотом по-весеннему прозрачной улицы.

Отец в том же выцветшем габардиновом плаще, что и пять, и десять лет назад, вышел из церкви вслед за Марком. Примостившись на сырой бульварной скамейке неподалеку от Малого Институтского, они закурили: Марк — с наслаждением, Евгений Петрович — опасливо оглядываясь.

— Растравил меня твой американец, — пожаловался он. — Дымит, как паровоз.

— Это у вас считается грехом, — сощурился Марк.

— Как сказать. Мы же не раскольники. Но все-таки лучше бы мне прихожанам на глаза не попадаться. Сколько раз твердил я Татьяне, что не надо иностранцам раздаривать наши журналы! Ты знаешь, какой у него тираж?

Марк знал.

— Паблсити, — сказал он. — К тому же как у вас там — рука дающего не оскудеет. Кстати, отец, что за душеспасительные вояжи в действующую армию?

— Бочков покойный так ездил чуть не десять раз в год. Ты Петю Скворцова помнишь?

— Я думал, у него белый билет.

Петя Скворцов, тишайший щуплый плотник, с грехом пополам окончивший семь классов, из книг читал только Библию, откуда и вынес свои непрактичные убеждения насчет воинской службы. До самого призыва он надеялся, что «все обойдется», но даже психиатр поставил жирный лиловый штамп «годен» в его бумагах. Попав же в учебный лагерь, безропотный баптист вдруг взбунтовался почище первых христиан. Львам на съедение его, конечно, никто бы не кинул, но посадить лет на пять могли за милую душу. Для всей церкви, включая и Евгения Петровича, сюрприз был самый неприятный.

— И где он теперь?

— Лучше скажи, где ты теперь. Соседка твоя меня облаяла по телефону. Опять на новом месте? Совершенно забыл отца. Хоть бы позвонил когда.

— Вот мой новый номер. — Одеревеневшими от холода пальцами он записал семь цифр на пустой сигаретной пачке. — Держи. Мать, кстати, получила к Новому году место в седьмом цехе. Важная такая стала — спасу нет. Даже не хочет говорить, какой гриф на чертежах в этом седьмом.

Окурки, брошенные в снег один за другим, зашипели и погасли. Неуютно было на этой продутой зеленой скамейке под грохот трамваев, ползущих по голому бульвару. К тому же Марка одолевала странная досада, не имевшая отношения к детским обидам. Евгений Петрович со всеми причудами своей биографии был попросту не до конца ясен своему сыну. В твоей советской психологии, издевался Иван, умещается только черное и белое. А Евгений Петрович из другого измерения, откуда тебе его понять? Правда, говорилась это еще в период горячего увлечения баптизмом, «настоящей, — как выражался тогда Истомин, — подлинной религией для народа, совмещающей веру с разумом...» Возможно также, что Марк тайком ревновал отца к брату Андрею, к их встречам, к их поездкам на север ловить рыбу, даже к плохо проявленным шукам, которые висели потом месяцами на веревочках в дворницкой, распространяя омерзительную вонь. Иной же раз мнилось Марку, что отец прибил к баптистам случай-

но. Мысль эта при всей ее нелогичности льстила его самолюбию. Он не переставал ждать от Евгения Петровича какого-то взрыва, глупейшего полусумасшедшего поступка — и в этом горчайшим образом заблуждался. К своим пятидесяти четырем годам его отец вполне достиг того, что в прежние времена называл бы равенством самому себе, то есть душевного покоя, согреваемого мыслями о грядущем воскресении, да сознанием своей необходимости общему делу, всем этим одутловатым, плохо одетым людям, ищущим спасения. Иные могли бы счесть его человеком холодным, но приходжане любили беззаветно, особенно после того, как начал он писать статьи в «Братский вестник» и изредка проповедовать*.

От отца пахло бедностью — крепким табаком, земляничным мылом. Ткнувшись в его плохо побритую щеку, Марк, не оборачиваясь, заспешил вниз по бульвару к стоянке такси...

В обширном подвале Конторы вдумчиво скрипели перьями две девицы из немецкого отдела. Свой короткий и, прямо скажем, довольно пустой отчет переводчик Соломин накатал минут за десять. Впрочем, и подмахнул его начальник Подвала, не читая.

— Присядьте, Марк Евгеньевич. Хотел побеседовать с вами еще днем. Хочу сообщить и сам, и от лица Зинаиды Дмитриевны, что мы весьма довольны вашей работой.

— Очень приятно, — засмутился Марк.

— Товарищи говорят, что и на овощной базе вы трудились с огоньком. За последние два года у вас нет ни одного выговора. Вынесено две благодарности в приказе. Выписана повышенная премия.

— Спасибо, Степан Владимирович. Стараюсь.

— Да, набираетесь опыта. Помните, не все у нас с вами шло гладко поначалу?

Был грех: Марк имел глупость не только придержать у себя несколько номеров подаренного кем-то «Ньюсуика», но и принести в свой отдел, похвастаться. Мясистый Степан Владимирович, носивший, к слову, опереточную фамилию Грядущий, попомнил ему тогда и случай с Библией, и скандал с американскими пацифистами, даже историю с фермерами из Айовы в музее Ленина. Кипел, старый дурак, слюною брызгал.

— Исправляюсь, Степан Владимирович.

— Верно. Что ж, молодозелено, а теперь вы стали опытным, проверенным сотрудником. Вот у нас с Зинаидой Дмитриевной и возникла мысль, что вы, пожалуй, засиделись в рядовых гидах-переводчиках и заслуживаете повышения. Как вам кажется, с должностью старшего гида-переводчика вы бы справились?

— Надеюсь. — Марку не удалось скрыть разочарования. Подумаешь, повышение. Двадцатка в месяц. Таких старших полконторы.

Не любил он Подвала, официально именовавшегося Первым отделом. Еще лет семь назад, на первой практике, Марку простыми словами разъяснили, чем отдел занимается и чего хочет лично от него. С этим-то он примирился быстро — в отличие, кстати, от Кости, который от практики в Конторе вообще увильнул. Гибкая была этика у Марка. Эстетика — другое дело. Ужасная канцелярская бедность Первого отдела оскорбляла не что иное, как его чувство прекрасного. Последнее, если верить поэту, должно быть величаво. А тут — фанерные столы, обгрызенные ученические ручки, фиолетовые чернила, в люминесцентном свете подвала принимавшие вид особенно мерзкий. За все семь лет только и удалось Первому отделу выбить фонды для новой звукоизоляции на дверь телетайпной.

— Теперь у меня к вам несколько вопросов.

Хорошие психологи всегда начинают беседу с приятного. Сжался Марк. Если тут, под портретом Дзержинского, состоится продолжение разговора со Струйским, то — конец. С работы придется не просто уходить — бежать. Брат Андрей мог сколько угодно дразнить его, но стучать на безответных иностранцев — это одно, они сегодня здесь, завтра там, да и хрен проверишь. Но...

— Разумеется, — сказал он.

* Этому скромнейшему помощнику библиотекаря при церкви, по всей видимости, суждено было на склоне лет большое будущее. И некогда я и сам смотрел на него не без тайной зависти... Только давно это было. Очень давно. (Прим. авт.)

— Вот у меня ваши анкетные данные, товарищ Соломин. Кое-что нуждается в уточнении. Скажем, ваше имя. Согласитесь, что при такой фамилии и внешности оно звучит несколько странно.

— В честь Марка Аврелия, — беззапинки отвечал подчиненный. — Отец тогда увлекался латынью. Ну и, кроме того, я родился очень слабый. А Марк вроде бы именно это и означает.

Бояться было нечего, даже напротив — сквозил в тоне Степана Владимировича оттенок приятного обещания, и Марк лишний раз порадовался, что явился сегодня на службу в костюме, белой рубашке и галстуке, почти таком же, как у его собеседника.

— Очень хорошо. — Грядущий поставил в своих бумагах птичку. — Вы должны отдавать себе отчет, Марк Евгеньевич, что в нынешней международной обстановке мы должны проявлять особую бдительность по отношению к...

— Лицам, потенциально имеющим вторую родину, — закончил за него Марк, обнаруживая некоторое знание эвфемистического языка закрытых циркуляров.

— Вот именно. Теперь еще вопрос, более, так сказать, личный. Вы ведь не женаты. И не собираетесь?

— Отчего же, — ответил Марк после секундного колебания, — собираюсь.

— Отлично! — Степан Владимирович поставил еще одну птичку. — Не забудьте, когда это будет официально оформлено, зайти в отдел кадров и внести изменения в анкету.

— Лично вам я могу прямо сейчас сказать. — Марк потупил взор. — Это Светлана Ч. Она у нас практику проходила в прошлом году.

— Вот как! Не родственница писателю?

— Дочь, — сказал Марк.

— А-а! Так позвольте мне вас от всей души поздравить. Очень рад. Ну и, наконец, вопрос третий и последний. Вы, Марк Евгеньевич, зарекомендовали себя образцовым комсомольцем. Не скромничайте. Зинаида Дмитриевна рассказывала мне о ваших творческих, неформальных семинарах.

Старый боров, разумеется, имел в виду вовсе не сомнительные истоминские сборища, на которые, к слову, Марка продолжали усиленно зазывать, а кружок общественно-политической подготовки.

— Читал я ваш доклад о Солженицыне и о прощках сионизма на Ближнем Востоке. Толково. Мы даже планируем привлечь к вашим семинарам сотрудников из других отделов. Скажите, товарищ Соломин, — тут он помедлил, — вы никогда не думали о вступлении в КПСС?

— Счел бы за большую честь, товарищ Грядущий, если бы партия решила оказать мне такое высокое доверие, — отбарабанил Марк.

— Не сомневался в вашем ответе, — подытожил Грядущий. — Словом, чтобы нам с вами не темнить, сообщу, что состоялось у нас на днях небольшое рабочее заседание парткома. Давайте договоримся, что вы еще подумаете, взвесите свои возможности и где-нибудь в сентябре подадите заявление. С нашей стороны, надеюсь, возражений не будет.

Дальнейшую ритуальную дребедень Марк пропустил мимо ушей. Он переживал едва ли не самые счастливые минуты в своей недолгой жизни. Не зря, не зря угроблено четыре с половиной года в этом гнусном заведении, не зря сочинялись отчеты, не напрасно строчились ура-патриотические статейки в стенгазету «Советский переводчик». Ах Костя, дружище, стоит ли рубить гордыебы узлы! Всюду, как видишь, можно приспособиться, я еще скажу тебе об этом в Нью-Йорке, когда поздним вечером закачусь к тебе в гости, тайком от тамошнего начальника Первого отдела... Так думал Марк, преданно уставившись в заплывшие старческим жирком глаза Степана Владимировича, а вернее — рассматривая чайные принадлежности, стоявшие на железной полочке за спиной Грядущего. Помятый электрический чайник, мутные стаканы, начатая пачка сахара-рафинада. Скучно живет в Первом отделе, без воздуха и света, скорее бы на улицу. Кесарю, конечно, кесарево, но и Богу отдай положенное. В дворницкой уже, верно, собираются гости на тридцатилетие Андрея, а надо еще захватить домой — так он про себя начал уже называть Светину квартиру, — захватить проигрыватель, купленный вчера в комиссионке. Сколько они уже не виделись

с братом? Тот порадуется новостям из Подвала, но снова начнет язвить, да и Иван, сам карьерист порядочный, не останется в стороне. И черт с ними! В этом доме, в Столешниковом переулке, удивительный двор, обрамленный железными крышами, старыми стенами. От пьяной болтовни и утомительного шума не раз выходил в него Марк поздним вечером лишний раз взглянуть на звезды в кирпичном колодце, вдохнуть пронзительный воздух ранней весны, забыться отчаянием и восторгом. Иногда это нужно больше жизни.

— Ответственность... — услышал он, очнувшись. — И на этом, Марк Евгеньевич, позвольте с вами попрощаться. Завтра в девять тридцать вас будет ждать Зинаида Дмитриевна для беседы примерно на ту же тему.

— Искренне вам благодарен, Степан Владимирович.

Прощальное рукопожатие улыбающегося начальника вызвало у Марка почти такой же приступ тошноты, как водка, поднесенная на Новом Арбате рязанским коллегой. Но на ветреной оттепельной улице он мгновенно пришел в себя, — и самое радужное настроение держалось у него еще недели две после этого разговора.

Глава шестая

Забутые Богом пригороды Москвы — черные, нищие, бесконечно дорогие сердцу! Узкая ленточка потрескавшегося асфальта, талая вода по циклолотку, прощальный гудок электрички. Каменная ограда Патриаршего подворья и по правую руку — старухи в порыжевших платках и довоенных латаных пальто семят к церквушке, сияющей предзакатной медью куполов. «Совсем забыл, — вспоминал Марк, — что пахнет тонким дымом и серебрится ранняя весна. В отечестве глухом и нелюбимом все так же удивительна она. Сверкают лужи, стаивает наледь, по всем приметам — скоро ледоход. Пора и мне куда-нибудь отчалить, собрать пожитки да уехать от своей судьбы куда-нибудь навстречу... не смерти, нет — скорее в те края, где я зажгу свечу и не замечу, как быстро тает молодость моя. Прощай, ручей, прощай, сосна и верба, прощай, любовь, сияющая для того, чтоб корни превращались в нервы и трепетала влажная земля. О Господи, откуда грусть такая — плывут снега, и солнце припекает, а человек, мятущаяся тварь, уставился в осиновый букварь... и слезы льет об этом человеке его жена... а он из многих книг усвоил только истину, как некий старательный, но глупый ученик...»

Стихи брата, с восклицательными и вопросительными знаками, там и сям расставленными туповатым Чернухиным, соседствовали в сумке у Марка с куда более насущной бутылкой экспортной «Столичной». Имелись и иные приношения в дом прозаику Ч.; впрочем, Марк все равно робел. Миновали кладбище, жестяные венки, растрепанные весенним ветерком, прошли мимо Дома творчества, вокруг которого степенно прогуливались, кутаясь в кроличьи воротники, провинциальные работники пера. Увидали, наконец, зеленый штакетник, а за ним — массивную фигуру с лопатой, в ватнике и тренировочных штанах. Это маститый прозаик кончал расчищать площадку под парник, где уже нынешней весной грозился высадить ранние помидоры.

Они слегка опоздали. Было много оправданий, извинений и родственного хохота. Стремительно переодевшись где-то за дверью и определив Свету помогать мачехе по хозяйству, Сергей Георгиевич позвал Марка в свой кабинет на втором этаже якобы помогать искать запонки. Был он куда как дружелюбен, о недостающем предмете туалета немедленно забыл, взамен достав из секретера пузатую кустарную бутыл, до половины налитую жидкостью безошибочного коньячного цвета.

— Угадал, друг ситный. — Он перехватил взгляд гостя. — Пятнадцать звездочек. Пробовал когда-нибудь?

— Нет, — облизнул губы Марк. — Божественно, — добавил он, отдавая редкого напитка. — Откуда? Разве он вообще продается?

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — подмигнул ему прозаик Ч. — Ничего, что без закуски?

— Очень даже ничего, — сказал Марк, из вежливости отставляя рюмочку в сторону.

Среди почти спартанской самодельной мебели — стульев, лежанки,

книжных полок — в святилище муз выделялись только старинный, красного дерева с бронзой, секретер да в пару ему — письменный стол, обширный, как... словом, как настоящий письменный стол делового человека, с зачехленной конторской машинкой и мраморным чернильным прибором. В специальном стаканчике стояло несколько гусиных перьев. По неизлечимой привычке русского интеллигента Марк, разумеется, невольно шарил взглядом по многочисленным книжным корешкам. На одной из полок стояли книги, рачительно обернутые в плотную бумагу, и по аккуратным снежно-белым обрезам, по непривычному формату искусственный гость без труда догадался об их эмигрантском происхождении.

— Отличная библиотека, — сказал он. — Чувствуется рука профессионала.

— Тут меньше половины, дружище. Заходи в Москве — такими раритетами похвастаюсь! Светке-то наплевать, ей лишь бы в телевизор уткнуться.

— Скажите, Сергей Георгиевич, — льстиво начал Марк, — вы обычно как пишете — от руки или прямо на машинку?

— Зависит от этого, как его, вдохновения, — живо отвечал писатель. — Нет его — так вообще круглые сутки на лежанке валяюсь. А бывает, сочиняется буквально со скоростью печатания. Благодать здесь, в Переделкине. Мне же в городе совершенно не дают работать. Текучка заедает. Где я «Стальное небо» сочинил? Здесь, за этим самым столом. А «Звезды над тайгой»? Утомишься — берешь в руки рубанок или ту же лопату. — Сергей Георгиевич в третий раз наполнил свою рюмку, плеснув заодно и гостю. — Огород. Участок, как ни крути, десять соток. В прошлом году патиссоны посадил, Вероника замариновала банок пятнадцать. Мебель — почти вся своими руками. Ее же сейчас хрен купишь. Новую, опилки эти прессованные, я и с приплатой не возьму, а антиквариат... Секретер видишь? В свое время брал его на Арбате после Сталинской премии. Отдал, как сейчас помню, две тысячи триста старыми деньгами. На днях захожу в салон на Смоленской набережной — стоит похожий. Тысяча восемьсот новыми. Грабеж!

Спустились к накрытому столу. Да, коварная Света явно выдала тайну их приезда, потому что стол был роскошен. Беспомощно-розовая ветчина приятно оттеняла багровый ростбиф, нежная кремовая осетрина светилась желтыми прожилками. С особым удовольствием заметил Марк рядом со своей бутылкой, а может, с ее родной сестрой, глиняную плошку с маринованными грибами. Были это те самые воспетые патриотом Солоухиным чельши, то бишь крохотные, целиком уместающиеся на вилке подосиновники, составляющие наряду с икрой лучшую в мире закуску к водке. Икра, впрочем, имелась тоже. Еще поправляет тридцатипятилетняя красавица Вероника что-то в кажущемся, а на самом деле вдохновенном беспорядке стола, но вот она и уходит, чтобы в считанные секунды вернуться уже без передника, с живой розой, приколотой к синему платью с умеренным вырезом. Вероника молчалива, умна и, говорят, держит прозаика Ч. отчасти под каблуком, но на людях этого не видно. Света почти не тант на нее зла, тем более что история развода именитого писателя с первой женой темна, и виновника за давностью лет отыскать уже вряд ли возможно.

Между тем разговор начинается тостом за встречу, продолжается грибами. «Все, все сам, — сообщает хозяин дома, — и собирал в Тверской губернии, в глухих лесах, и мариновал сам. Кому еще доверишь такую ответственную закуску?» От камина, где потрескивают сухие сосновые дрова, исходит ровное тепло, до главной темы еще довольно далеко.

— Что Горбунов? — спросил Сергей Георгиевич жену.

— Раньше десяти не освободится.

— Друг юности, называется, — с досадой сказал прозаик Ч. — Живет — рукой подать. А видимся раз в год по обещанию. Дела, видите ли. Все работаем, работаем, а жить-то когда? И хоть бы работалось хорошо. Я за всю зиму накатал, дай Бог, десять листов, и то в Пицунде. Уже и в Переделкине не укрыться от поганой этой московской свистопляски. На лыжах покататься некогда.

— Молчи, вечный друженик. — Света погрозила отцу пальцем. — Два-

дцать два года как слышу эту песенку. Сейчас сама жаловаться начну. До защиты три месяца, а диплом готов едва на четверть.

— Успеешь. Ты у меня девка головастая.

— И с распределением...

— Это еще что за новости? — вскинулся прозаик Ч. — Неужели я снова должен... Слушай, дочка, я не так всемогущ, как некоторым кажется...

— Ох, папка, ну когда ты научишься выслушивать людей до конца? Все в порядке, я просто беспокоюсь. Ты же знаешь, каждый год снова слухи, что свободные дипломы вообще отменят. И куда мне тогда? Учительницей? В село Грязное Криворотовского района Тульской области?

— Уж лучше к нам в домработницы! — засмеялся прозаик Ч. — Глашка совсем распустилась. Ты представляешь, умотала в город на какой-то полуподпольный конкурс бит-групп! И вообще... А то смотри, дочка. Платить будем, как не всякому инженеру, работа не пыльная...

— Капризничать стала наша Глаша, — поделилась Вероника. — Два выходных требует. Ухажеров в дом приводит.

Выпили за хозяйку дома, поругали неведомую Глашу, на самом-то деле — почти члена семьи. Обсудили прелести дачной жизни по сравнению с городской. Пуще всего на свете, как выяснилось, любил прозаик Ч. после трудов праведных летними вечерами сидеть у камина, слушая пение соловьев и другой крылатой живности. Марк повеселил компанию парой охотничьих рассказов из числа своих приключений с иностранцами. Поминавшиеся патиссоны таяли во рту, на спиртное налегали без лишней спешки, но в достойном темпе.

— Да, друг сердечный, — осторожно начал Сергей Георгиевич, — все это и занимательно, и поучительно. Как говорится, что русскому забава, то немцу смерть. Однако растолковал бы ты мне все-таки: какой для здорового сообразительного мужика вроде тебя прок в этой Конторе? Ну, мотаешься по всей стране, так небось уже осточертело. Зарплата...

— Меня уже Света этим донимала, — спокойно сказал Марк. — Для умного человека в Конторе масса прелестей.

— Как-то? — упорствовал хозяин.

— Зарплата скромная, — пояснил Марк, — чуть побольше, чем вы платите своей Глаше. Но кое-что к ней добавляется. Премии, командировочные, сверхурочные, потом, сами понимаете... — Он повертел пальцами в воздухе, но ничего не сказал. — Представительская одежда.

— Это еще что? — изумился прозаик.

— А всякие западные тряпки. Продают их нам за полцены, чтобы перед иностранцем в грязь лицом не ударили. Вы вот смеетесь, Сергей Георгиевич, а тряпки хороши. В магазине не купишь.

— Извини, Марк, как-то все это звучит несерьезно. Я человек старой закалки, откровенный...

Пришла пора и Марку убедиться в живости темперамента своего будущего тестя. Тот и впрямь редко кому давал договорить до конца.

— Э-э, — продолжал Марк беззлобно, — не торопитесь. Должен вам сказать, Сергей Георгиевич, что осенью меня принимают в партию.

Впечатление было то самое, какого он и ожидал.

— За это надо выпить особо, — сказал посерьезневший Сергей Георгиевич. — Поздравляю от всего сердца. Нашего брата интеллигента нынче принимают со скрипом, уж кому-кому, а мне это известно досконально... Еще раз поздравляю.

Марк с достоинством осушил свой стаканчик. Он знал, что теперь его будут слушать по-другому, и под сияющим взглядом Светы поделился с прозаиком Ч. и Вероникой своими жизненными планами.

— Так что кончить свои земные дни я рассчитываю в номенклатуре, — заключил он. — Цинизм простите, но тут вроде все свои. Между прочим, насчет партии. Мне очень пригодилась одна ваша недавняя статья.

— Которая?

— О Солженицыне. Я ведь чуть не на всю Контору знаменит кружком политпросвещения. По вашим материалам в основном и готовился.

Сергей Георгиевич, недовольно хмыкнув, принялся чистить зубы обломком спички. В Союзе писателей он ходил не то что в либералах, но как бы в умеренных. Может быть, именно поэтому прозаик Ч., занимав-

ший в разное время самые ответственные посты в аппарате Союза, до сих пор не попал в ЦК КПСС. Впрочем, общее мнение клонилось к тому, что это лишь вопрос времени. Хлебосольный хозяин переделкинской дачи, как писала к его пятидесятилетию «Литературная газета», стоял «в первых рядах непримиримых борцов за дело коммунизма на литературном фронте». Вот некоторые из его широко известных добрых дел. Не прозаик ли Ч. добился издания книги стихов одного из лучших русских поэтов, погибшего в 38-м году? Не он ли выхлопотал его вдове не только пенсию, но и московскую прописку? Не он ли в конце-то концов прославился на всю Москву жестокой простудой, свалившей его в постель как раз в тот день, когда его коллеги единогласно голосовали за изгнание Пастернака из своего Союза и высылку его за рубеж? Этому последнему случаю, правда, было уже больше пятнадцати лет, и здоровье Сергея Георгиевича с той поры несколько окрепло.

— Не хотел я писать этой статьи, — вздохнул Сергей Георгиевич. — Спорил, спорил с этими бараньими лбами в секретариате, даже в ЦК ходил...

— Зачем же писали? — бестактно осведомился Марк.

— Партийная дисциплина, Марк, как тебя там по батюшке. И к тому же свято место пусто не бывает. Другой бы мог дров наломать, ну а в своих мозгах я, слава Богу, уверен.

— А не хотели-то почему?

— Да потому, дорогой мой, что мы с этим типом допустили серьезнейшую тактическую, чтобы не сказать стратегическую, ошибку. Весь этот шум вокруг «ГУЛАГа» бесконечно нам навредил. Создали режламу, раз. Выглядим перед всем миром идиотами, два. Тоньше надо было действовать. Гораздо тоньше. Ты ведь обратил внимание, что в моей, например, статье, в сущности, ни одного кардинального возражения против «Архипелага» нет?

Марк приоткрыл рот, но сказать ничего не посмел. Он до сих пор не мог понять, к чему клонит хозяин, которого трудно было заподозрить в симпатиях к автору «Матрениного двора».

— То-то же. Много правды в этой книге. Документы, свидетельства — все правда. Другой вопрос, что читается она с гадливостью. Почему? — Сергей Георгиевич входил в раж и время от времени даже наставительно подымал массивный указательный палец. — Потому что труд, а, злонамеренный и, бэ, недобросовестный. Что за личность этот Солженицын? Я же его знал со времен «Нового мира», каналю. Явился такой, видите ли, учительшка из Рязани, привез рукопись... пригрели, обласкали, помогали, прогремел на всю страну. Но — посади свинью за стол, она и ноги на стол. Оскорбился он, видите ли, что «Ивану Денисовичу» Ленинской премии не дали. И пошло-поехало! Письма подметные, скандалы, антисоветчина. Гонорары от «ГУЛАГа» он, понимаешь ли, жертвует каким-то небитым диссидентом! — фыркнул прозаик Ч. — Не вчера родились, о швейцарских банках слыживали...

— Не горячись, — заметила Вероника. — Ну, выставили его. Через пару лет никто и не вспомнит, что был такой. Зачем нервы зря портить?

— А затем, Верка, что я свое дело люблю делать чисто, — огрызнулся писатель. — Я литератор, пусть и партийный. Вот и обидно, что не мог я выступить по существу: кроме глав о влосовцах, даже процитировать ничего не удалось. А «Иван Денисович» что из себя представлял? Частный случай. Единичную судьбу. — Трубка раскуривалась плохо, пришлось Сергею Георгиевичу зажечь еще спичку да и после этого изрядно потрудиться, чтобы выпустить наконец первый клуб ароматного дыма. — Но и в этой повестушке при известной злонамеренности можно было усмотреть некоторые — что? — обобщения. А возьми это, с позволения сказать, «художественное исследование». Полстраны, мол, доносило и сажало, а полстраны сидело — вот и вся его главная мысль. Беда в том, что даже называть эту мысль мы не имеем права, чтобы зря читателю голову не морочить. Да и вообще промахнулись мы с твоим Александром Исаевичем. Лет пять назад, а то и семь надо было спохватиться...

— Разумно, — согласился Марк. — Но вы знаете, Сергей Георгиевич, чтобы уж раз навсегда договорить на эту тему, один мой приятель гово-

рил, что он где-то слышал, как кто-то вроде бы удивлялся тому, что наши газеты обожают поносить Запад, ФРГ в особенности, за короткую память. Моя, необходимо помнить уроки истории, преступления фашизма, страдания народов. И вот этот кто-то поражался кампании против «Архипелага», уверяя, что и нашему народу вредно иметь короткую память...

Он говорил бы и дальше, все более озадачивая прозаика Ч., но тут Света принялась довольно яростно толкать его под столом ногой.

— Не слушай ты его, папка, — распорядилась она. — У него мозги, бывает, совершенно не в том направлении работают.

— Почему же? — В прозаике заговорила мужская солидарность. — Ему же надо отвечать своей клиентуре. И мнение довольно распространенное. Но, друг сердечный, опровергнуть его проще пареной репы. Ты самобрази...

Тут в дверь энергично постучали, распахнули ее без приглашения, и в шагнувшим в комнату румяном человеке в штатском Марк признал полковника Горбунова. Облобызав гостя, Сергей Георгиевич усадил его за стол; захлопотала Вероника, накладывая ему закусок. Водкой полковник распорядился сам.

— И не думай беспокоиться, Серега, — говорил он, перемалывая в челюстях кусок ростбифа, — все на мази. И доски, и полиэтилен, и даже рейки — все выписано прямо с базы, по госцене. Наши возможности все-таки не чета вашим, шелкоперским. Так что чуть просохнет — жди грузовика, и вырастут твои помидоры лучшим образом.

Но всем своим прочим достоинствам Горбунов состоял членом правления дачного кооператива недалеко от Перedelкина и имел обширнейшие связи по части стройматериалов и рабочей силы. Но прямой клеветой было бы утверждать, что на одном этом и держалась их многолетняя дружба с прозаиком. Он и заехал не столько по делу, сколько на огонек, как едва ли не каждую неделю. И при этом исчез так же стремительно, как появился.

Марк подбросил дров в камин. Пламя, совсем было затихшее, снова стало кидать малиновые и соломенно-желтые блики на деревянные стены столовой.

— Сергей Георгиевич, — Марк прокашлялся, — вы догадываетесь, что мы приехали не просто так...

— Еще бы! — широко улыбнулся будущий тесть. — Значок-то, значок зачем нацепил, а?

— Ваша дочь заставила! — с облегчением воскликнул Марк, снимая с лацкана значок с остреньким латунным профилем Ленина. — Словом, я хочу просить у вас ее руки.

— У! — сказал писатель. — Официально-то как. А сама дочь согласна? И с матерью говорила? А, была не была, соглашусь и я! Заявление подали, молодые?

— Как можно, Сергей Георгиевич? — Глаза Марка излучали смирение и почтительность. — В некоторых отношениях я человек старомодный. К тому же некоторые деловые вопросы...

— Ладно. Польщен. О делах — потом. Дайте-ка я вас поздравлю, дети. С этими словами Сергей Георгиевич встал из-за стола и заключил в широкие объятия сначала наследницу, а потом и Марка.

— Отлично. Я ведь тоже человек старомодный, а мне добрые люди уже успели кое-что донести на ваш счет, я уж и не знал, что отвечать.

— Да ты что! — всплеснула руками Света.

— Вот так-то, — подмигнул прозаик Ч. — Но все — забыто.

За счастье молодых выпили немедленно и с удовольствием, о «делах», то есть о сроках и устройстве свадьбы, хозяин говорил сочно, выказав себя рассудительным человеком и щедрым отцом. Предложение Марка взять на себя хотя бы часть расходов было с негодованием отвергнуто.

— Жаль, с главным подарком придется обождать, ребятки. «Уральскую сагу» только-только сдали в набор, остаток гонорара получу не раньше октября. И на кой ляд я связался с этим «Московским рабочим»? Тираж урезали, теперь решили в бумажной обложке выпускать — картона у них, видите ли, дефицит. Скоты.

— Ваши книги и так раскупают, — утешал его Марк.

— Все равно обидно. И бумага чуть ли не газетная. Словом, злюсь. А ежели совсем честно, — он несколько сник, — тревожусь я за эту книгу. Столько по заводам мотался, кис в гостиницах вонючих, пил с работягами, и писалось с огоньком, а что-то в ней, чувствую, не сладилось. Еще бы хоть месяца три посидеть... Не иди в писатели, Марк. Неблагодарная работа. Главное, живем мы вроде красиво, беззаботно, водочку пьем, в пиджачках замшевых расхаживаем. А копнешь — труд, труд и еще раз труд. Толстой, говорят, «Войну и мир» семь раз переписывал. Думаешь, что-нибудь с тех пор изменилось? Да ничуть!

Скрипя деревянными ступенями лестницы, он поднялся в кабинет и принес давешнюю бутылку, а там подошел и чай, и пирог с грибами, с утра испеченный раскритикованной Глашей. На втором этаже чуть слышно стрекотал сверчок, ночь стояла холодная и ясная.

— Мировой у меня отец, точно? — сказала Света, когда они стояли на перроне в ожидании электрички.

— Да. Только зачем ты мне говорить не давала? — Марк прижался к невесте, защищая ее от ледяного полуночного ветра.

— Кому нужны такие разговоры! И в таком пьяном виде... Пока мы к станции ехали, я жутко боялась. Надо было вообще ночевать остаться.

— Интересно, как бы нас в таком случае уложили, — заметил Марк и сам засмеялся.

Глава седьмая

Тихим и теплым апрельским вечером, пахнувшим городской пылью и липовыми почками, Марк, не достав билетов в кино, мирно покуривал на буфетной скамейке у Никитских ворот, изучая подаренный ему автором очередной роман прозаика Ч. Действовали в нем парторг машиностроительного завода, сорокалетний деловой человек, воспитанный на уроках двадцатого съезда, и косный директор, хотя и ветеран войны. Последний не понимал, хоть кол на голове теши, что, помимо выгодных для плана труб широкого диаметра, завод должен выпускать побольше труб диаметра малого, не забывая при этом и о каких-то уж вовсе невыгодных для плана чугунках и сковородках. Кипели страсти на партсобраниях, сознательные бригадиры отказывались от заслуженных премий, хлопала за совестливым парторгом тяжелая дубовая дверь директорского кабинета. При этом парторг далеко не был сусальным героем книг времен культа личности, о нет! При живой жене и комсомольце-сыне где-то на двухсотой странице он выносил на руках лаборантку Надю из «присмирившего» автомобиля на вечернюю дорогу, целовал ее так, что «зубы касались зубов», а затем, «прерывисто дыша», тащил в овсы, ощущая, как «просыпается в нем что-то, казалось бы, давно похороненное в тайниках памяти». Жена грозила самоубийством, отравивший длинные волосы сын бежал из дому играть с концертной бригадой на БАМе. Порядочного чугунка не было даже в семье самого директора. «Ах, Марья, — говорил он седовласой жене, — я на фронте учился выполнять приказы. И слово план для меня свято. Не думали мы на передовой о каких-то чугунках». Ближе к финалу радостный парторг выходил из здания ЦК КПСС на Старой площади, «влажный весенний ветер дул ему прямо в лицо», и ликующий читатель осознал, что страна вскоре захлебнется трубами малого диаметра, а уж чугунками и сковородками можно будет просто-таки мостить улицы. На четырехсотой с чем-то странице кто-то подкрался к Марку сзади и закрыл ему руками глаза. Разумеется, это оказалась темпераментная Инна в сопровождении брата Андрея, небритого, зато в новеньких американских джинсах, прибывших на днях от Розенкранца.

Парочка собиралась к Владимиру Михайловичу, безобидному пенсионеру, на литературное чтение, и Марк не заставил себя долго уговаривать. Он скучал по брату. Не то чтобы они охладели друг к другу, но виделись в последнее время нечасто.

— Еще раз спасибо за проигрыватель, — сказал Андрей, оставив, наконец, безуспешные попытки отобрать у Марка шедевр прозаика Ч. и выкинуть его в ближайшую урну. — Слушаю своего Моцарта едва не каждый вечер.

— А машинка ивановская как?

— Опять же перепечатаваю свои вирши почти ежедневно. Хотя бронтозавр, конечно, тот еще. Ей-Богу, хочу, чтобы мне снова стукнуло тридцать лет. Кто я был — нищий. Кто я стал со всеми поступившими подарками — состоятельный, хотя и одинокий молодой человек. Инна! Богатый я жених?

— Дурак ты, — почему-то обиделась Инна. — Дурак и пьянь болотная, зря я тебе купила сегодня эту бутылку. И киргиз чернухинский до сих пор лежит нетронутый.

— Почему нетронутый? — возмутился Андрей. — «И в мороз, и в ненастье, — задекламировал он, — и в туман сине-сизый, власть советская — счастье для простого киргиза. И, вставая из праха, светит ярче, чем солнце, для грузина, казаха, латыша и эстонца...»

— Да почему же «вставая из праха»? — захохотал Марк.

— Ну... Ты зато оцени, каков туман, а?

Через несколько минут они уже звонили в дверь большой коммунальной квартиры на Садово-Кудринской. Долго тряс им руки хозяйин старческой своей клешней, долго благодарил за простенький торт и пачку чая. Окололитературная молодежь ходила к нему уже несколько лет, почти каждый четверг, не очень понятно, почему. А, впрочем, отчего бы и нет? Был Владимир Михайлович беден, приветлив и терпим. Был он к тому же и настолько одинок, что, как подозревали, только и жил этими четвергами — ну, разве что еще игрой в шахматы по переписке да чтением книг, приносимых доброхотами. Так одинок был этот некогда преуспевающий журналист и преподаватель Литературного института, что в начале шестидесятых годов, вскоре после возвращения его в Москву, нередко видели Владимира Михайловича в потертом костюмчике и жалком галстуке за угловым столиком в буфете ЦДЛ и подносили ему рюмочку-другую, пытаясь вызвать на воспоминания, молодые зубастые литераторы. Но пьянел он слишком быстро, в воспоминания пускаться не любил, и вскоре швейцар попросту перестал пускать его в здание — за исключением, правда, тех случаев, когда тот приходил со своим единственным другом Арном Штейном, переводчиком восточной поэзии. Через Штейна, кажется, и повадилась к Владимиру Михайловичу молодежь — на вечера, которые кое-кто пышно именовал салонами.

Сегодня ожидался из Ленинграда, прямо с дневного поезда, Алик Костанди, «мэтр», как говорил о нем Андрей, «друг Бродского» и «протезе покойницы Ахматовой». На одиннадцати квадратных метрах жилплощади уже теснились вездесущий Истомин, лирик Жора Паличенко, три тишайшие студенточки с портфелями у ног, некто в окладистой черной бороде, представившийся Давидом, некто в золоченых очках, не представившийся вовсе, зато притащивший три бутылки недурного сухого вина; впрочем, гости продолжали собираться. Отставив в сторону шахматную доску с недоигранным этюдом, Владимир Михайлович расставлял неизменные стаканы и резал торт. А Марк вышел в коридор позвонить по коммунальному телефону Свете. Когда же вернулся, застал в комнате не только долгожданного поэта, но и — увы, увы! — свою ленинградскую Наталью. Не без горечи заметил он, что не только сидит его драгоценная бывшая любовь совсем рядом с протезе покойницы Ахматовой, но и беззастенчиво положила руку ему на колено.

— Устраиваешь судьбу? — шепнул он, примостившись поблизости.

— Я слышала, и ты недолго горевал, — отпарировала она. — Придет твоя писательская дочка?

— Не брось ты меня — не было бы никаких писательских дочек.

— Ой ли? Я все равно была тебе не пара, Марк.

— Когда-то ты другие песни пела.

— Прошло, — беззаботно шепнула она. — Прошло и быльем поросло. Не держи зла.

— И не думаю, — буркнул Марк.

Усатый Алик между тем обстоятельно повествовал, как посчастливилось ему, скрыв филологический диплом, получить свою нынешнюю работу. Предыдущий счастливчик, художник Вася Хронов, после трехлетней схватки с ОВИРОм недавно отбыл-таки в Чикаго к истосковавшейся аме-

риканке-жене. Фантастическая же должность предлагала дважды в сутки, в семь утра и в семь вечера, замерять возле Петропавловской крепости уровень воды в Неве. За эти нехитрые действия метеорологическое управление города-героя платило целых 72 рубля в месяц. Если Алик и привирал, то не без некоторого артистизма.

— А я вот у Эдика Лимонова научился торговать собственными стихами, — заявил Андрей в пику заезжему ловкачу. — Полюбуйся.

По рукам заходили три брошюрки в грязно-коричневых картонных переплетах, кое-как прошитых сапожными нитками. Марк заметил поразил, когда одна из студенточек достала кошелек, за нею раскрыл бумажник и некто в золоченых очках. Вместо двух брошюрок к автору вернулось девять рублей — одного рубля у студентки не хватило.

— Разоримся? — спросил Костанди у Натальи.

Та, вздохнув, полезла в сумочку.

— Бросьте, бросьте, ребята, — поморщился Андрей, — мало ли у меня ваших текстов валяется. Берите так. Я, между прочим, сто лет в Питере не был. Что там, как там?

— Мишулин просил привезти твое, — сказал Алик, — так что сборничек весьма кстати. С него, правда, в Большом доме взяли подписку, что выпустить «Квоту» он прекратит..

— Безобиднейший же был альманах! — рявкнул Паличенко.

— Пришлось переименовать в «Северную звезду», — продолжал Алик, — я вам дам первый номер на пару дней. Подарил бы, да печатается всего шестнадцать экземпляров, сам понимаешь.. У Ленки Герц вышла прелюбопытная подборка из стихов десятилетней давности в «Авроре».. Бражников совсем ссучился, Кушнер стал писать на удивление хорошо, даром что в Союзе.. В общем, тишь, гладь да Божья благодать. Весь город говорит о максимовском «Континенте». Вроде бы уже вышло два номера, но никто их еще в глаза не видел. И уже спорят — печататься или нет..

— О чем, собственно, спор? — Андрей пожал плечами.

Тут, воодушевившись, вступила Наталья. Они с Аликом, оказываются, считали, что не надо торопиться ни с «Континентом», ни с другими эмигрантскими изданиями, буде таковые появятся. Надо сначала истощить все возможности пробиться к читателю на родине. Вот они и решили собрать альманах сорока — пятидесяти ленинградцев, с иллюстрациями неофициальных же художников, а там и отдать в издательство. Конечно, разослав копии сопроводительного письма во все инстанции. В Министерство культуры, в Союз писателей, в ЦК КПСС, в обком партии, в Большой дом. Несут стихи и прозу охотно, подписываются под письмом тоже — политики-то в нем никакой нет.

— Ох, Наташка, — Иван давно уже прыскал в кулак в своем углу, — не думал я, что есть на свете такие идиоты. Я, конечно, не писатель, но прекрасно знаю, чем кончится ваша затея. Не догадываешься? Так вот: кого-то из зачинщиков посадят или сошлют, ну, если совсем повезет, вышлют на Запад. Не больше, чем одного, конечно. Времена нынче мягкие.

— Не скажи, — начал Алик, но тут Владимир Михайлович, выпустив из склеротических пальцев черную шахматную пешку, поковылял открывать дверь.

Со Светой почему-то явился Струйский; Марк показал на него глазами Наталье, та тронула за локоть Алика.

— В общем, надежды большие, — туманно завершил тот.

— Мягкие, мягкие времена, — кротко закивал Владимир Михайлович, — даже Арону обещают выпустить сборник, чуть ли не те же самые стихи, за которые ему когда-то.. В общем, другие времена..

— И Мандельштам вышел, — вставила Света.

— Вы шутите, девушка, — присвистнул Алик.

— Пятнадцать тысяч экземпляр, — засвидетельствовал Струйский. — На черном рынке семьдесят рублей, но наверняка упадет до сорока. Тощая такая книжонка. — Он вытащил из-за пазухи драгоценный томик. — Пардон, Владимир Витальевич..

— Михайлович.

— Пардон, Михайлович, как тут у вас насчет пепельницы?

«Намылю Светке голову, — подумал Марк. — Не нашла ничего лучше, как притащить к несчастному старику стукача. И Наталья.. ох, не было печали..» Утешая себя, он подумал еще, что рядом с женщиной завоеванной и верной потерянная и предавшая заметно проигрывала, несмотря на все свои литературные разговоры и чудные карие глаза. И одета в какой-то претенциозный мешок, сама, видно, шила, и даже самого заваливающего колечка не подарит ей этот паршивец.

— ...присылал из воронежской ссылки стихи к нему в редакцию, — услышал он из своего минутного забытья слабый голос Владимира Михайловича. — По меньшей мере три раза. Ну, о публикации и речи не шло, конечно, но он тайком переписывал их от руки, а вечерами перепечатывал на редакционной машинке. Они редкостью тогда были, машинки, да и роскошью большой. Копии раздавал, была одна и у меня.

— Вот бы взглянуть! — сказала Света с неподдельным интересом. — Там же могут оказаться совсем неизвестные стихи, да?

Владимир Михайлович с готовностью пояснил, что да, разумеется, тексты эти были б незаменимым подспорьем для литературоведов. Но приятель его погиб в ополчении под Москвой, собственные же бумаги В. М. пропали и того раньше при обычных в те годы обстоятельствах. Притихла Света. Накурившийся на лестнице Струйский забрал у Алика своего Мандельштама и принялся расставлять в боевой порядок шахматные фигуры. Стукач он был или не стукач, но разговоры при нем не ладилась.

— Ну, А-алик, — протянула Инна, — кого мы ждем?

Ломаться Костанди не стал. Писал он совсем неплохо, хотя, по уверениям знатоков, слишком часто блуждал в дебрях христианской метафизики.. Читал же скверно, не только гнусавя, как большинство ленинградских поэтов, но и спотыкаясь. Однако ему подсказывала Наталья, подсказывал Андрей, однажды шевельнулись в такт стихам губы у давешней студентки с четырьмя рублями.

— Старик, послушай, ты где-нибудь печатал свои опусы? — заволновался Струйский. — Как на духу тебе скажу — профессионально! Ра-ра-ра пустынное зимовье окружено тропинкой слюдяной, тра-та-та-та рифмуется с любовью, и кто-то там охотится за мной — ну просто здорово!

— Не печатал, — сухо сказал Алик.

Кривил, между прочим, душой лукавый ленинградец. Антисоветчики из мюнхенских «Граней» уже месяцев шесть тому назад как тиснули его порядочную подборку. То есть знать-то он об этом был вовсе не обязан, если б не пришел к нему не так давно в комнатенку озирающийся, но добродушный голландский турист и не вручил сорок с чем-то долларов гонорара, извинившись, что устранился привезти сам журнал. Тем же вечером потрясенный Костанди созвал пол-Ленинграда к себе на Васильевский; покладистый голландец не только сбежал в «Березку» за экзотическим спиртным, но и издержал там порядочно своих денег. Богемная публика пребывала на вершине блаженства, несмотря даже на неизменные макароны и соленые огурцы, поданные на закуску.

— Не печатал, — повторил Алик. — Не поэтическое нынче время. И гимназисточки, переписывавшие от руки любимых поэтов, боюсь, канули в вечность..

Тут осмелевшая студенточка покачала головой и протянула петербургскому мизантропу довольно пухлую тетрадку.

— Прошу прощения, — с готовностью сдался тот, — не мог представить.. Ты посмотри, Наталья, тут и Бродский, и Лимонов, и Баевский, и Кублановский.. даже Цветков затесался..

Становилось душно, и уже приняв украдкой Владимир Михайлович какую-то таблетку. Марк прошел сквозь тесный коридор на лестницу. Сзади скрипнула дверь.

— Не помешаю? — спросила Наталья.

— Нет.

— Меня тоже читать просят, а я за последние полгода ни строчки. — Смотрела она наверх, где посреди затянутого паутиной потолка светилась пятнадцатисвечевая лампочка. — Иногда я завидую тебе, Марк.

— Брось. Ты у нас творческая личность, а я кто? Мещанин и приспособленец. Нуль без палочки.

— Что ты кокетничаешь? Ты же знаешь себе цену. Света твоя, кстати, совсем ничего.

— Благодарствую.

— А я, кажется, жду ребенка.

— Не курила бы, что ли, глупая. Впрочем, поздравляю. Только тяжело вам будет.

— Знаю. Вырваться хочется, — забормотала она, — вырваться, я так устала, милый, сил нет...

Как же назывались эти дешевые духи — то ли «Жди меня», то ли «Может быть»? И что за дом загорался небо на седьмом этаже василеостровского дома — бывшая больница? Или тюрьма? И какие письма обугливались, не хотели гореть в тот вечер в печке с нетронутой многолетней золой? Не вспомнить. И сигарета, с размаху брошенная в лестничный пролет, рассыпается мелкими искрами. И гаснет.

Так и не узнал Марк, кто из собравшихся у В. М. включил приемник. А и узнал бы — что толку. В конце концов последующие события были несколько не связаны с литературным обозрением «Немецкой волны». Из динамика неслись помехи, ревели не то глушилки, не то грозовые разряды, но высокий, чуть истерический женский голос упорно гнул свое.

«...о выходе в свет полученного из-за железного занавеса романа «Лизунцы», с подзаголовком «Кошачье царство». Ожидается и публикация его на английском языке в нью-йоркском издательстве «Фаррар, Страус и Жиру». Автор книги Михаил Кабанов, продолжая и развивая традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Замятина, многое воспринял и от опыта западной антиутопии. Действие «Лизунцов» происходит в обозримом будущем, когда экологические ресурсы планеты почти истощились, Северная Америка уничтожена серией советских ядерных ударов, а Западная Европа, разрушенная войной, включена в орбиту коммунистического гегемонизма. Сам Советский Союз, вернее, то, что от него осталось, распался на ряд карликовых тоталитарных государств, враждующих между собой. Показанная в гротескных красках жизнь их обитателей разительно напоминает унижительную судьбу советских граждан при жестоком сталинском режиме. Но этим не исчерпывается проблематика романа. Михаил Кабанов прослеживает духовную эволюцию своего героя Феди Моргунова, который вначале симулирует умственную отсталость, чтобы избежать соучастия в бесчеловечной системе подавления личности, столь свойственной коммунистическим деспотиям. После событий, в которых нетрудно угадать карикатуру на падение Хрущева и воцарение Брежнева, герой романа поддается иллюзиям и постепенно доходит до важного поста в партийной иерархии. Но затем наступает мучительное прозрение...»

— Хватит! — Андрей выключил приемник. — Терпеть не могу, когда эти невежественные господа из свободного мира берутся рассуждать о русской литературе.

Взгляд, которым одарил брата Марк, был исполнен исключительного бешенства. Конечно, Розенкранц, гнида, передал эту проклятую рукопись через голландское посольство. То-то они о чем-то шушукались с Андреем на проводах.

— Андрей, — заговорил Струйский, — ты случаем не знаешь этой вещицы?

— Я такой литературы не читаю, Володя.

— Кто же такой этот Кабанов?

— Откуда мне знать?

— Может, он ленинградец? Питерский, так сказать?

Он пыливо взглянул на Алика, потом на Наталью.

— Не люблю я таких разговоров, молодой человек, — вдруг взбеленился Костанди. — Ну, Кабанов, а вам какое дело? Вы что, из Большого дома?

— У нас, москвичей, говорят не «Большой дом», а «Лубянка». — Струйский пошел на попятный. — Но я не оттуда, гарантия. Что, уж и любопытствовать не имею права?

На этом разговоры о романе и прекратились. Только на улице удалось Марку остаться наедине с братом.

— Рад, — начал он зловеще, — рад твоему успеху, писатель.

— Я тоже, — хабрился Андрей. — Фаррар, Страус да еще Жиру в придачу — это чего-то стоит. Жалко, комментарий такой тупой. Я же не прозаик Ч., в «Лизунцах» вовсе нет такой политики, которую они мне пытаются шить. Я хотел...

— Ты свинья! — почти заорал Марк. — Ладно, на свою собственную судьбу тебе наплевать. А отец? А я, наконец? Кто клялся и божился, что не будет передавать повести за границу? Пушкин?

— Не повести, братец кролик, а романа, — хладнокровно возражал Андрей. — Под псевдонимом же. Что ты кипятишься?

— А то! Тебя в лучшем случае выкинут за границу, а в худшем просто посадят. Тебе тридцать лет, Андрей, ты мой старший брат, почему я вечно должен учить тебя уму-разуму?

— Ты всерьез?

— А ты думаешь, шучу?

— Слушай, Марк, утешься тем, что псевдоним надежный. А и раскроют — времена Синявского и Даниэля давно прошли. За литературу больше не сажают. Заставят уехать... что ж, не я первый, не я последний. Я своей судьбы не боюсь... странно действует на тебя твоя невеста, — вдруг добавил он. — Осторожен-то ты был всегда, но почему ты стал думать, что меня, русского писателя, должен удерживать страх за собственную шкуру? Да и братья мы с тобой только по отцу. Ты меня ни в одной анкете не упоминаешь, и отец, к слову, тоже. Чего же бояться?

— Не обижал бы ты меня, Андрей.

— Прости.

— Ты знаешь, как я тебя люблю, «русский писатель». Что ты несешь? У тебя освобождение от армии по какой статье, забыл? Тебе в психушку захотелось? Может, ты и благороднее иных, может, и принципиальнее, но нельзя же так. Ей-богу, — оживился он, — коли на меня Света плохо действует, то у тебя мозги набекрень из-за Ивана и его компании. Когда у вас ближайший семинар? В понедельник? Вот и приду.

— Засмеют, — поморщился Андрей. — И потом, я же там сбоку припека. Только послушать заглядываю, да и то редко.

— Все равно приду, — загорелся Марк. — Кстати, негодяй, почему ты не предупредил меня о Наталье? Ладно, прощаю...

Понемногу добрали до «Маяковской» и смешались с праздничной толпой, хлынувшей из концертного зала. У барьерчика на краю тротуара замешкались, и Наталья, бормотавшая себе что-то под нос, в ответ на просьбу старика В. М. послушно возвысила свой хриплый голос. «Смерть, трепет естества и страх, — читала она, — мы — гордость с бедностью совместна. Сегодня Бог, а завтра — прах. Сегодня льстит надежда лестна, а завтра — где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь, как сон, прошел твой век...» Из центра площади, взмахнув чугунной рукой, смотрел вверх голов притихшей компании поэт-самоубийца. Полно, друг Наталья, какие надгробные клики, что ты опять со своим Державиным. Смотри, играет апрель, скоро вылезать из земли первым беззачитным крокусам с тончайшими лиловыми лепестками, желтеть мать-и-мачехе на замоскворецких пустырях и пригорках. Ярится над площадью мигающая реклама, бегущие буквы призывают несознательное население то хранить деньги в сберкассе, то летать самолетами «Аэрофлота».

Доверчивый Алик, позабыв сомнительные вопросы Струйского, вдруг принял зазывать его в Ленинград, находя точку зрения любознательного аспиранта на свои стихи оригинальной, а замечания — точными. Подошла и пора прощаться: кому пожимать руку, кому кивать. Марк поцеловал Наталью в щеку, сказать ничего не сказал — нечего было. За ночным окном шуршащего троллейбуса тянулись все те же скудные витрины, блистали гранитные доколы улицы Горького, мелькали одинокие прохожие.

— Марк!

- Что?
- Это та самая Наталья?
- Нет. Просто тезка. Не ревнуй понапрасну, милая.

Глава восьмая

Доводилось ли вам бывать на неплохих любительских спектаклях? Чем лучше такая постановка, тем больше риск, что с некоего рокового момента зритель вдруг начнет судить ее не со снисходительной дружеской улыбкой, а по волчьим законам профессиональной сцены. Тут-то и начинается крах, катастрофа! Сколько ни тужься старательные дилетанты — нет им прощения, не спасают дела ни отличные мочальные парики, ни с большим тщанием сработанные декорации — почти как в настоящем театре! — ни вдохновенная игра фрезеровщицы Тани в роли Офелии. Рассеивается магия искусства, за актерами перестаешь признавать право на игру, спектакль благополучно проваливается, и зритель не уходит с середины действия разве что из жалости к приятелям.

Такие примерно чувства одолевали Марка в тот апрельский вечер в мастерской у Глузмана, куда важничавший Иван, горячась, доказывал своей команде необходимость «дальнейшего укрепления конспирации» и «перехода к более решительным действиям». Попутно он также на все лады поносил каких-то более известных или менее подпольных, что одно и то же, «легитимистов», обзвав их в одном месте «близорукими апологетами гласности», а в другом — еще более цветистым выражением, которого Марк не запомнил. Слушали его с преувеличенной серьезностью.

— Мы должны будить народ! — орал некто длинноволосый, в волнении просыпая махорку из алого шелкового кисета. — Доведенный до скотского состояния! Голодающий! Агитация и пропаганда! И за нами еще пойдут! Надо только вернуть народу его православную душу, изнасилованную большевизмом!

— Народ доволен, — ворчал Ярослав, — вермишели, хлеба и картошки на всех хватает, это тебе не Вьетнам... Надо, Иван прав, изыскивать что-то новое...

— Вот именно! — кричал Владик. Повышенный тон был вообще принят в этой странной компании. — Как если хулиган ребенка бьет, честный человек же не может в стороне стоять!

— Много болтаем, мало делаем, — подытоживал кто-то четвертый.

— О делах — только с товарищами по тройке, — напоминал Иван с начальственным видом.

Не было на лицах собравшихся профессионального революционного выражения, столь свойственного посещающим Москву представителям зарубежных прогрессивных движений. «Обыкновенные либералы, — думал Марк, — просто не посчастливилось, родились в тоталитарной стране с избытком совести и недостатком интеллекта...» Ясно как день было ему и то, что ни на какие такие «действия», за исключением разве что сомнительной болтовни да распространения скучнейшей разоблачительной литературы, никто из заговорщиков не способен. Словом, не на сборище якобинцев попал Марк, а на дурную инсценировку не то «Бесов» Достоевского, не то совещания недосаженных членов Учредительного собрания. Да и можно ли всерьез заниматься политикой в Яшкиной мастерской, где со стен смотрят апокалиптические полотна, а из дальнего угла озирает присутствующих огромный гипсовый бюст Сталина, глумливо украшенный зеленой тирольской шляпой с фазаньим пером?

Значит, зря носился Марк с идеей вразумить этих провинциальных ниспровергателей. Как и предостерегал брат, его с первых слов принялись довольно злобно высмеивать, намекая на то, что Марк, в сущности, просто беспринципный трус. Не правда, резонно возражал он, такой не пришел бы к вам, а придя — помчался бы после заседания на Лубянку.

— Мне просто обидно, — оборонялся он, — что такие, в общем, талантливые ребята рискуют ради ветряных мельниц. Ну, гадкий у нас режим, омерзительный, кто ж спорит! Но, во-первых, есть и похуже, и не-

обязательно левые. На Албанию я бы Советского Союза не променял, но и на Парагвай тоже. Во-вторых, он же эволюционирует, неужели вы не видите? Еще Пастернак ваш любимый говорил, что не надо тратить сил на переделку жизни, что она развивается сама, независимо от нас. Я бы на вашем месте старался вырастать в эту систему, чтобы со временем преобразовать ее изнутри. У нее же страшная инерция, господа. Против лема, как говорят уголовники, нет приема...

С ним спорили, снова и снова в запале переходя на личности. «Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?» — патетически произнес Иван ту самую фразу, которой лет через восемь так покорит воображение американцев президент Рейган. Но уже раздражали Марка и нечищенные ботинки якобинцев, и нечесанные бороды, и дрянные советские джинсы. Он затих, предоставив Ярославу возможность в свое удовольствие рассуждать о том, что Россия мало-помалу превратилась в одну из самых буржуазных стран в мире и что, «может, сто лет еще придется искоренять в нашем народе эту отвратительную смесь мещанства, своекорыстия и лакейства...» Яков был совсем неплохим мастером, и гость поневоле залюбовался — не собственными творениями хозяина, правда. Висела неподалеку от сталинского бюста не просохшая еще копия «Двух обезьянок» Брейгеля. Пара рыжих зверьков на цепи, проем в толстой кирпичной стене, раскиданные глиняные черепки. А за окном, что за окном-то, Господи? Недостижимо синяя река за окном, парусники, ветряные мельницы, только что упомянутые Марком, легкие птицы, брошенные в воздух несколькими бесплотными мазками.

— Почему именно эта, Яков? — спросил он сквозь общий шум.

— Самая простая. — Глузман улыбнулся. — И к тому же — единственный Брейгель, который мог бы находиться в России. Костя мне на днях прислал альбом, там я и вычитал, что купили ее в тридцать первом году у какого-то русского эмигранта.

— Продашь?

— Подарю. Дай только докончить, ладно?

Тут в прихожей застрекотал старинный телефонный аппарат. Глузман, пожав угловатыми плечами, позвал Марка.

— Как дела? — услышал он слабый голос невесты.

— Все в порядке. А у тебя что? Слышно очень плохо.

— Ну... ничего. Я из автомата звоню, выходила за молоком. Катя из ГУМа принесла тебе обезьянный пиджак. Ты скоро?

— Часа через два.

— Слушай, Марк, я тебя так редко прошу об одолжениях. Приезжай сейчас же, о'кей? За такси я могу заплатить. Пожалуйста.

— Не хотелось бы, но...

— Пожалуйста.

— Хорошо. — Он повесил трубку.

Отпускали его неохотно и прощались по-дружески. А на темной улице неистовствовала весна. И с первых же глотков свежего воздуха голова у Марка прояснилась окончательно. Горьковатый и густой воздух этот казался осязаемым, но был в то же время и невесом, и тягуч, а горечь объяснялась просто — раскидистый тополь у ворот склонился совсем низко, грех было не остановиться, не потянуться вверх и, словно в детстве, не отщипнуть губами набухшую почку. От липовых во рту сладковатая клейкость и запах лета, от этих — терпкость, смола. Близ Николы в Хамовниках — служба кончилась, но еще переливались огоньки внутри церкви — ему повстречалась серая «Волга» с четырьмя пассажирами, на полном ходу свернувшая в переулок. За нею последовал небольшой фургон, ослепивший Марка сияющими фарами. Рокот его мотора и вызвал у него в памяти нехитрую виолончельную темку из Вивальди, преследовавшую его чуть ли не до самого дома.

Такси он так и не взял да и в метро спускаться не торопился. Был редчайший час, когда тело дышит памятью детства и юности, переполняется полузабытой радостью собственного бытия, когда от жизни хочется той самой роковой малости — остановить мгновение. Крепла музыка, раздуваемая ветерком, к виолончели добавился высокий, чуть жалобный клавесин, а может, просто чирикание воробьев, и басовые ноты проскаль-

зывали в ней от неспешных троллейбусов, пустых, как и вся Остоженка в этот час, первых фонарей и первых звезд на чернильном небосклоне. Весна грустнее осени, весной журчат по мостовым чистые ручьи, блестя на обочине среди разноцветных кусочков гравия дореформенная медная монетка, проплывает над ней деревянная лодочка со спичечной матчой, с бумажным парусом. Шумят, шумят городские ручьи, рождаясь там, где намела зима самые высокие сутробы... До самого марта лежали они, чернея, в московских двориках, засаженных сиренью, заваливали лавочку потемневшего, в трещинах, дерева, и на этот сад — а летом был настоящий сад, поверьте уроженцу белокаменной, были настурции, ноготки, раскачивались на мясистых стеблях малиновые диковинные цветы — так и не сумел припомнить названия, но в висячую чашечку целиком помещалась пчела, да и у шмеля торчал наружу только черно-желтый кончик брюха, и в минуту отчаянной смелости можно было изловить неосторожного лакому, захлопнув пальцами толстые губы цветка — дамский башмачок, кажется, но только ни в коем случае не львиный зев, те были совсем другие, — на этот сад, где сейчас только голые ветки да осевший снег, смотрели пыльные окна вросших в землю особнячков, на припухшем слое старой ваты в двойных рамах красовались елочные шары, моточки серпантина, сверкающей серебряный шпиль. Сад, весь дворик обнесены кованой решеткой с чугунными шишаками, навинченными на прутья. Безжалостно разворовывают их окрестные мальчишки, сам грешен — до сих пор сквозь всю кочевую жизнь таскаю за собой этот тяжелый кусок металла, похищенный весенней ночью с помощью плоскогубцев, взятых у одноногого соседа-пьяницы. Лежит он себе в ящике облезлого комода, почти такого же, как у Марка, и тоже подобранного на свалке, а самой решеткой и скрипучих ажурных ворот давно нет... и особнячков нет... и лавочки нет... Только весна и пережила того грузного старика, что с утра до вечера сидел под кустом сирени, улыбался блаженно, подставлял солнцу то одну, то другую морщинистую щеку, прислушивался к журчанию весеннего ручья и счастливо жмурился... Весна грустнее осени, весной кажется — настала пора исполнения желаний, все сбылось, все оправдается: вот-вот щелкнут костяшки счетов, подбивая радостный итог, и смолкнет музыка, будто никогда ее не бывало... и не повторится больше никогда...

Пиджак, сильно смахивающий на тот, что доводилось Марку видеть на молодящемся прозаике Ч., был, разумеется, замшевый, светло-коричневый, источающий неповторимый аромат хорошо выделанной кожи.

— Итальянский, — сказала довольная Света. — Всего двести двадцать да Кате четвертной. Сидит, по-моему, как влитой.

— По-моему, тоже.

— Значит, берем? Я тогда сразу и позвоню.

— Отлично. — Марк снял зарубежное диво и повесил его обратно на спинку стула. — Только сначала обещаю тебе впредь не устраивать подобных комедий со звонками и срочными вызовами домой.

Света сердито плюхнулась в свое кресло-качалку.

— И это вместо благодарности? Хорош гусь! Сколько раз я тебя просила, сколько умоляла поменьше якшаться со всякой швалью? Тебе истории с проводами мало?

— Вот что, Светик, за обновку спасибо, а насчет всего остального — не шуми. И не называй, уж пожалуйста, моих друзей «всякой швалью». Одни из них мне дороги, другие интересны. Я же, прости, не лезу в твои отношения со всеми этими Струйскими, Чернухиными и прочими Добровольскими. Кстати, откуда ты, собственно, узнала, где и с кем я встречался?

Марк вдруг похолодел. С поразительной ясностью вспомнил он, что вовсе не к Глузману приглашал его на площади Маяковского Иван при Свете и маячившем неподалеку Струйском. Звал он его в дворницкую, откуда они и отправились к Николе в Хамовниках.

— Ты сам мне сказал и телефон дал.

— Не было такого.

— Кто тебе дал право так со мной разговаривать?

— Я жду.

— Прямо инквизитор какой-то! — чуть не взвизгнула затравленная Света. — Что, я не могла тебе позвонить из женского каприза? Ты развалишься, если остаток вечера проведешь со мной, а не у этого местечкового Рафаэля? Надоело мне это все. Думаешь, я не подозреваю, чем занимаются эти подонки?

— Заткнись.

— Дурак, какой же ты дурак! Ах, художники, ах, писатели, ах, религиозные деятели... А ты не догадываешься, что они хотят и тебя затянуть к себе, а потом шантажировать? А почему, тебе не приходило в голову? Да потому, что ты им выгоден, выгоден, понимаешь? Потому что ты по службе связан с иностранцами. В нужный момент тебя эти типы используют, потом выкинут на помойку. И тебе жизнь поломают, и мне.

— Вот что, красавица, — Марк поморщился, — либо ты немедленно сообщаем мне, откуда ты узнала о сегодняшней встрече, либо я собираю манатки и ухожу.

Ткнув едва начатой сигаретой прямо в лакированную поверхность журнального столика, очаровательная невеста Марка вдруг спрятала лицо в ладони и в голос, по-бабьи, заревела. На этом нелепая ссора и кончилась. Сердце Марка, как написал бы прозаик Ч., «захлестнула теплая волна нежности», и он бросился утешать свою любовь. Мог же он в конце концов сам проболтаться ей о встрече, а потом запечатать? А взять худший из возможных случаев: допустим, на Лубянке знают о семинарах и Свете действительно сказал о нынешней встрече тот же Струйский? И что с того? Прежде всего, Иванова компания знает, на что идет, не маленькие. Да потом, будто у Комитета нет других дел, кроме как заниматься какими-то болтунами; а уж о надписях в монастыре все давно и думать забыли. Ну, решила Света по преувеличенной своей осторожности вытянуть его из сомнительного общества. Спасибо надо сказать. У нее же свои принципы. А мог, между прочим, и Иван протреться. Долго шептал Марк зареванной Свете какую-то ласковую чушь. Заснули они в обнимку прямо на диване; а часа через три-четыре, далеко за полночь, Света заставила его раздеться, постелила свежее, пахнущее лавандой белье и взбила подушки. Хорошо было снова засыпать под ровный шум апрельского дождя.

Примерно в то же самое время встреченный Марком у церкви фургончик выруливал вслед за «Волгой» из дворика, где помещалась мастерская, а участники семинара, сгрудившись в подъезде, молча смотрели вслед этой мрачноватой процессии. Бригада под началом полковника Горбунова работала слаженно и быстро. Предъявили, как положено, ордер на обыск, вежливо извинились за то, что устраивать его пришлось, вопреки инструкции, в вечернее время. Проверили у присутствующих документы, сумки, портфели, авоськи, карманы. Обшарили комод и кухонный стол, полазили, чихая и кашляя, с фонариком по чулану, вскрыли телефонный аппарат, вывернули тирольскую шляпу с фазаньим пером. Забрали пишущую машинку, две пачки чистой бумаги, одиннадцать записных книжек — по числу присутствующих. Посоветовавшись, сняли с подрамников несколько картин, свернули, перевязали случившимися веревочками и тоже внесли в протокол изъятия. Забрали кожаные перчатки Глузмана, забрали нитяные перчатки, валявшиеся в чулане, забрали полмешка каких-то бумаг, писем, фотографий, разбросанных по всем углам мастерской. Забрали перепечатанного Бродского и перепечатанного Мандельштама, забрали изданного в Париже Бердяева и вышедшего в Москве Оруэлла с грифом «для служебного пользования». Ксерокопию «Архипелага» отобрали у смертельно побледневшего Ивана, вот и вся добыча. Дворник, вызванный в понятия, пробовал злорадствовать, но полковник Горбунов оборвал его самым решительным образом.

В том, что несколько молодых людей собрались выпить чайку да посмотреть на картины, пусть даже и квалифицированные потом народным судом как «ущербные», не было, разумеется, ничего предосудительного. Плохо, конечно, что встреча происходила именно в месте, назначенном к обыску, но опять же: кто усмотрит в этом состав преступления? Слава Богу, не в Америке живем. Собравшихся лишь поименно переписали да заставили расписаться в протоколе. С собой же — в Лубянскую,

а затем в Лефортовскую тюрьму — увезли только Якова да присмирившего Владика. На следующий день, в полвосьмого утра, заехала черная «Волга» и за Иваном, но к часу дня он уже вручал табельщице справку от зубного врача, бормоча в ответ на ее сочувственные слова что-то вроде «ничего, ничего, у них теперь с новокаином».

А Марк проснулся в таком сильном беспокойстве, что решил на всякий случай до начала рабочего дня зайти в злополучную мастерскую. На ступеньках, ведущих в подвал, он поскользнулся, перемазал пальто жирной глиной и, колотя кулаками в дверь, уже предвкушая, как обложит матом сонного Яшку, не сразу заметил болтавшуюся рядом с замком сургучную печать. Экстренно выпросив у начальства отгул, он заметался по Москве, пока не примчался к истоминскому сверхсекретному.

— Ох и накарал же ты! — Иван картинно схватился руками за голову. — Ох и повезло тебе... Я их к чертовой матери... разнесу. Они еще узнают...

— Что с Андреем?

— С ним порядок, с другими плохо.

Сбиваясь и волнуясь, Иван поведал о своей утренней нелицеприятной беседе с Горбуновым, продемонстрировав при этом пальцы со следами лиловой штемпельной краски. «Подписку о невыезде взяли, — добавил он злобно, — суки». Речь, по его словам, шла только о надписях в Новодевичьем.

— Не мне одному повезло, — сказал Марк безо всякой задней мысли. — За ксерокс Исаича могли и тебя загрести.

— Могли, — кивнул Иван.

Из его путаного рассказа следовало, что попались ребята по самой идиотской случайности, едва ли не единственно потому, что в одном из домов напротив Новодевичьего обитал некий пенсионер, любитель утренней зарядки на балконе и к тому же счастливый обладатель фоторужья. Снимок троих хулиганов у монастырской стены вышел нечеткий, с большим зерном, но одежда и черты лица двоих злоумышленников все-таки поддавались опознанию. Сам Иван стоял лицом к стене, к тому же был надежно укутан шарфом.

При всей своей подавленности, при всей жалости к арестованным Марк не смог удержаться от кривой усмешки.

— Значит, твоя судьба теперь в моих руках, Иван? Баллончики-то помнишь?

Иван помнил. Более того, им с Андреем пришлось сообщить эту историю — где намеками, где и открытым текстом — своим якобинцам. Слишком легко прослеживалась цепочка Марк — Света — Струйский — Горбунов, слишком подозрительным становилось и присутствие нашего героя на собрании и его более чем своевременный уход. Но в свидетели по делу его не вызывали, о семинарах вообще не шло речи на следствии, и планы оставшихся на свободе заговорщиков сорвать зло на Марке были благополучно отставлены.

Шло следствие. Под гнетом разнообразных чувств (страх, муки совести, облегчение, любопытство) Марк вскоре заманил Струйского в шашлычную на Арбате, известную под названием «гадюшник», и там до скотского состояния напоил его коньяком. Аспирант-историк долго ломался, но мало-помалу выболтал, что, помимо фотографии, имелось и другие возыри. Сторож «Березки», например, запомнил обрывок номера раннего такси, на котором уезжали злоумышленники. Прочесывание мусорных ящиков в радиусе нескольких километров от монастыря обнаружило полдюжины пустых баллончиков с отпечатками перчаток, нитяных и кожаных. «Ну а третий, третий-то кто был?» — допытывался Марк.

— Полагают, что Розенфельд, — цедил его собутыльник.

— Чудила ты грешная! — сказал Струйский уже на проспекте Калинина, рядом с той самой пирожковой, где предлагал он Марку встать на путь истинный. — С-смысла жизни не понимаешь. Я же спас тебя, говнюк ты эдакий! Где же твоя благодарность, я спрашиваю? Где?

Он обнял Марка за плечо и вдруг сделал неприметное движение пальцами — Марк прямо взвыл от боли.

— Прием! — пояснил Струйский, убирая руку. — Не ценишь ты моей

дружбы, поросенок. Ты хоть понимаешь, что бы случилось, коли мой старик застал бы тебя в тех гостях?

— Понимаю.

— Вот я к тебе как! А ведь ты меня не любишь, знаю. Я... — он загнулся — я для тебя все... я тебя с-спас... скажи с-спасибо...

Марк молчал.

Большинство рассказов Струйского подтвердилось на следствии и на суде. На проклятой фотографии, даже увеличенной до размеров плаката, как в известном фильме «Блоу-ап», третья фигура оставалась совсем расплывчатой, а подсудимые держались мужественно и никого за собой не потащили. Убитые горем родители Владика ходили унижаться на Лубянку, пытались взять сына на поруки. Но для этого требовалось как минимум искреннее раскаяние, а ни Яков, ни его молодой товарищ о снисхождении не просили, напротив, как выразился в дружеском кругу полковник Горбунов, «совершенно отказались от сотрудничества со следствием». Кончился суд мрачно. Глузмана приговорили к шести, а Владика — к пяти годам строгого режима, причем отнюдь не за антисоветскую деятельность, но за «акт злостного хулиганства, совершенный с особым цинизмом». Суд обязал виновных оплатить стоимость ремонта и реставрации монастырской стены, вынес и частное определение в адрес меценатствующего начальника жэка, пустившего Якова в пустыющий подвал в обмен на руководство детским кружком рисования и лепки. Кажется, с работы его впоследствии выгнали. Имущество, находившееся в мастерской, описали; картины, как идеологически вредные и не представляющие художественной ценности, уничтожили. В тирольской шляпе с пером, хотя определено и не той же самой, некоторое время щеголял Струйский, судьба украшавшего мастерскую бюста осталась неизвестной.

В начале лета осужденных этапировали в Мордовию, в политический лагерь, яковинцы не без помощи В. М. и Инны собрали для них какие-то посылки, рассчитывая передать их в лагерь, несмотря на запрещение, своими путями. Марк тоже не остался в стороне от этих благовоительных хлопот. Была реакция и на Западе: стараниями коллег полковника Горбунова из отдела информации процесс упоминался в «Нью-Йорк Таймс», в статье, где на конкретных примерах доказывалось, что диссиденты в настоящее время куда меньше заботят Советскую власть, чем самые обыкновенные хулиганы.

Струйский стал несколько чаще появляться у Светы, но Марку больше не хамил. Семинары совершенно заглохли; их руководитель с головой ушел в свои лазеры да вплотную занялся осуществлением давней мечты — за два месяца затащить в постель двадцать новых баб. Розенкранц слал коротенькие открытки из Вены, собираясь в середине мая перебраться в Нью-Йорк. А Баевский получил после трех лет махания метлой и лопатой свою лимитную прописку, дворничать немедленно бросил и промышлял теперь перепечаткой диссертаций — так по крайней мере он говорил брату. Последний заставил его проделать в дворничьей «генеральную уборку»: сжечь все черновики «Лизунцов», сжечь оба беловых экземпляра, раздарить весь имевшийся сам- и тамиздат. Сам же он подал со Светой заявление во Дворец бракосочетаний с таким расчетом, чтобы свадьба пришлась на начало сентября. После нее молодые решили отправиться в Сочи, где их ожидал отличный номер в одной из гостиниц Конторы — в «Волне», а если повезет, то и в «Жемчужине».

Вот и кончается очередной кусок жизни. Пора сделать шаг к другим страницам, к другому воздуху и другому свету. Жаль. Я привык к своим героям, а ведь со многими придется прощаться навсегда. Такова жизнь, скажете вы? Не хочется верить. Хочется бежать от своего одиночества, собрать всех живых и мертвых на бесконечном дружеском пиру — или хотя бы на этих страницах. Удержаться в водовороте жизни; заставить его на мгновение замереть, сложиться в осмысленную картину... Но разве это зависит от меня, с моим стыдом, с моей бестолковой любовью, с моими страхами — перед молчанием, перед забвением или того проще, перед ночными шагами на лестничной клетке? Но, слава Богу, один из голосов за дверью — женский, и уже раздастся звонок к соседу... слава Богу, судьба дает мне новую отсрочку.

Часть вторая. ВСТРЕЧА

Глава первая

Ах, бессовестные метеорологи, обещали же на весь день «ясно»! Но от Нового Иерусалима к Тушину, от Тушина к Химкам ползли клубы тумана, набухало небо лиловым холодом, и серая занавеска дождя последовательно отгораживала от взгляда бетонные коробочки на том берегу, безлюдный пляж, засыпанный грязноватым песком, и два речных трамвайчика, неторопливо ползущих навстречу друг другу и расходящихся без приветствия. Очередь на шереметьевский автобус заметно волновалась, кое-кто уже раскрывал зонтики. Утром-то имелся и у Марка японский складной — от щедрот американских вояжеров. Но в полдень его новый хозяин звонил с Центрального телеграфа в Ленинград. С беременной Натальей поговорил, Алику привет передал, а о зонтике вспомнил только в метро. В иных обстоятельствах потеря расстроила бы его ужасно, но слишком легко дышалось в преддверии грозы. А и вымокну, думал он, велика ли беда — надето все летнее, сохнет быстро.

Еще молния — покрупнее, поярче, и гром за нею — поглушительней, и, наконец, падает на макушку первая капля дождя, оказываясь и холоднее, и мокрее, чем ожидалось. Но уже подкатил долгожданный автобус, радостно зашевелилась очередь — и, когда гроза ударилась в свою вакханалию, город остался позади. Вспухшая темная река играла под мостом, и действительно шли по ней два речных трамвайчика навстречу друг другу, как мерещилось Марку на остановке, когда никакой реки он еще видеть не мог. Остались по левую руку штабеля гниющих досок и горы промокших удобрений, остались по правую руку сосны на песчаном мысу, худо-бедно укрывающие от грозы десяток застигнутых врасплох купальщиков, а там замелькали краснокирпичные казармы Химок и безымянные деревни, не запоминающиеся, сколько ни проезжай мимо. И у разлуки есть оборотная сторона — изводишься, сетуешь, а пооди ж ты, получаешь в награду умение отчаянно и непоправимо полюбить все то, что было так безразлично при... чуть было не сказал «при жизни». Ничего, честное слово, ничего особенного: летняя гроза, мокрые яблони, усыпанные твердыми завязями, провинциальные палисадники, убогие домишки с колодцами во дворах. Но и Розенкранц, сентиментальности вовсе чуждый, то и дело жалуется в письмах Андрею на тоску по родине, по самой привычности ее для взгляда...

Марк ехал встречать очередную группу туристов. «Черт бы подрал эту Ариадну! — думал он, перебирая служебные бумаги и бумажонки. — Так просил ее дать мне хоть август побыть в Москве...» Впрочем, сразу после проводов навязанных ему американцев в их Америку ему предстояло пять недель отпуска. Да и группа была, что называется, хорошая*.

Мчался Марк на встречу группы, организованной солидной нью-йоркской — еще один плюс — фирмой «Русские приключения», предстояло группе завидное путешествие по Союзу и обслуживание по высшему классу.

Гидом-переводчиком Марк был первостатейным. За кулисами это означало большие труды, вороха заранее заказанных театральных билетов, ресторанных квитанций, всевозможных справок, подтверждений, те-

* Здесь, пожалуй, самое время просветить читателя на предмет кое-каких технических деталей. Турист в СССР приезжает всякий, но опытный переводчик, в данном случае — ключущий носом Марк Соломин, оценивает будущих клиентов, едва взглянув на служебное извещение. Англичанин, скажем, считается товаром второсортным, поскольку, как давно замечено, одержим своими домашними проблемами, прижимист и зануден. Чартерные путешествия из туманного Альбиона в Россию дешевы до неприличия, и соблазняется на них публика мелкотравчатая, нижесредний, коли можно так выразиться, класс. С американцами совсем другой колленкор — тут уж прикатывают любопытствующие профессора, гладкие старички-эмигранты, легкая на подъем и падакая на экзотику молодежь. Нередкая же капризность американцев вполне искупается их щедростью на чаевые и отходчивой натурой. (Прим. авт.)

лефонограмм. В особой пластиковой папочке лежал у Марка загодя припасенный список группы в двадцати экземплярах. Идиотки-переводчицы вечно строчили их от руки в последний момент — и туристов нервировали, и сами время даром теряли. Умный же Марк с утра еще отпечатал свои списки на машинке, в четьгире закладки. Жаль, нет в мире совершенства — застала его за этим невинным занятием Верочка Зайцева, поджала губы, сдобренные фиолетовой помадой, постояла над душой.

— Та самая машинка, — изрекла она наконец. — Буква «р» подскакивает. И «а» не пропечатывается.

— В каком смысле «та самая», Верочка? — Марк обернулся, не переставая стучать по клавишам. — Я уже год с лишним твержу Ариадне, что пора ее сдать в ремонт.

— Ты на ней вечно печатаешь свои списки.

— Ну и что? — Стук машинки замолк. — И другим советую. Степан Владимировичу удобно, и в гостиницах, и на самолетах... Я бы на твоём месте...

— Ты на моем месте в партию вступаешь, Соломин, — сказала Вера.

И тут же испарилась — тоже группу встречать торопилась, сука. Да и спорить с нею Марк не мог — строго-то говоря, историю с открыткой знали только сама Вера и начальство.

А дождь внезапно утих. Небо над мелким березняком по обе стороны шоссе стремительно заголубело, засинело, засияло, освобождая дорогу солнцу. На блестящем мокром асфальте Марк с наслаждением потянулся, полюбовался толстобрюхими самолетами, с туповатой грацией перемещавшимися по летному полю. В газетном киоске купил позавчерашнюю «Интернэйшнл Геральд Трибюн» и углубился в отдел объявлений, а по радио уже с предсмертным хрипом объявляли о прибытии рейса из Нью-Йорка. И пришлось Марку, так и не допив своего кофе, отправляться в таможенный зал.

Сегодняшний самолет на Вену уже улетел, избавив Марка от сомнительного удовольствия подглядывать за обыском у дальних стоек, отведенных для «лиц без гражданства» вроде Кости. И в любой-то стране таможенники — не самый приятный народ, а тут — перины щупают, подкладку у одежды вспарывают, смотрят волками. Оно, конечно, дело государственное, иной раз и впрямь найдут некую материальную ценность, к вывозу запрещенную, изымут в пользу рейха, а все равно противно. На прилете, тут бывает забавно. Ах, как пахнет свободой от терзаемых чемоданов! Брюки, свитера, папки с технической документацией. Ага, распятие кладут обратно, вермут тоже и пачку макарон туда же. Вот и добыча — глянцевоый номер «Плейбоя». «Си, си, грация, — лопочет бизнесмен, — спасибо».

А от постов пограничной охраны уже доносится английская речь — то ли его туристы, то ли зайцевские, а может, и вовсе посторонний народ. Он в который раз открыл сумку. Чек на подноску багажа выписан, яблоко, положенное с утра Светой, на месте, из бумажника выглядывает уголок ее фотографии. На самом дне сумки — пачка аляповатых чемоданных наклеек: храм Василия Блаженного. Всякий раз референт клянется и божится, что последние, а без них нельзя, штук двести уже роздал Марк за это лето. Все в порядке в сумке у гида-переводчика Соломина, и истомского сомнительного письма — нету, хоть и провалялось оно там недели три, даже истрепаться успело в своем ненадписанном конверте. Ивановы яковинцы всегда держались в стороне от западных корреспондентов, стажеров и прочей шати, находящейся под бдительным оком властей. Целью, понятно, была конспирация, а погорели на этом Яков с Владиком — так никто и не заступился за них на Западе.

Через месяц после суда, комкая слова и поглядывая в стороны, Иван передал Марку три листка папиросной бумаги. «Ты что, спятил? — рассердился Марк. — Стряслась беда, понимаю, но из-за какого-то письма, которое поможет, как мертвому припарка, я не хочу рисковать своей работой...» В конце концов он все-таки смягчился. Но поначалу сунуть его было некому, потом один симпатичный лондонский бизнесмен сказал Марку, что «такими делами не занимается». А в прошлую субботу вдруг что-то треснуло у Марка в душе, что-то он отчетливо понял — и, захав

к Ивану с бутылкой водки, молча вернул приятелю проклятое письмо. Ожидаемого разноса не получил, совсем напротив — Иван спешно вызволил двух говорливых приятельниц из рабочего общежития и устроил очень даже неплохую вечеринку. Основной программы описывать не стану, а гвоздем предварительной был сворованный Иваном с работы небольшой лазер, ярко-алым лучом запросто прожигавший, к вящему удовольствию девочек, небольшие дырки в монетках и бритвенных лезвиях.

Марк поднялся с подоконника, провел по волосам расческой и, махнув удостоверением, запросто перелез через барьерчик таможни. Завидев энергичного молодого человека с пачкой деклараций, со значком и сумкой Конторы, туристы обыкновенно подходили к нему сами. Тем более группа была молодая, ни одного человека старше семидесяти двух. Зайцевой-то меньше повезло — вон она маячит поодаль в окружении каких-то совсем дряхлых старушонок.

— Ваша декларация. — Марк протягивает листок первому из своих американцев, ставит крестик в списке. Профессорского вида мистер Уайтфилд берет еще один бланк для огненно-рыжей своей жены — еще крестик. Подходит еще одна пара, оба по крайней мере пятьдесят восьмого размера, подходит зеленоглазая, с короткой стрижкой молодая особа.

— Я Клэр, — заявляет она на почти чистом русском языке, — Клэр Фогель из группы «Русские Приключения», а вы наш гид, и вас зовут...

— Марк Соломин. Вот вам бланк на русском, припас на всякий случай. Сумеете заполнить?

— Ну, — усмехается она. Морщинки в углах ее глаз, и без того не по возрасту глубокие, обозначаются еще резче. — Поскольку я не везу через границу, — взгляд в декларацию, — оружия, боеприпасов, наркотиков, материалов, направленных на подрыв...

— И битой птицы, — заканчивает Марк, знающий декларацию наизусть. — Желаю удачи.

Одиннадцать крестиков проставлено, приходится теперь подбегать то к одному, то к другому — поразительную тупость порой выказывают заокеанские путешественники на таможне. А вот и двенадцатый, Алэн Грин, бодрый старичок, при дорогом фотоаппарате на груди, только костюмчик полотняный измят до невозможности. На вертикальном конвейере загорается номер нью-йоркского рейса, и в зал начинают вливаться чемоданы и баулы.

— Простите, запомятовал ваше имя...

— Марк. А вы, если не ошибаюсь, Альберт?

— Зовите Бертом, как все. — Улыбнувшись, профессор Уайтфилд вдруг кидает на Марка взгляд, слишком, пожалуй, пристальный для первого знакомства. — Простите, тут написано, что надо предъявлять к осмотру все рукописи, книги, печатные материалы... У меня в чемодане научная литература — надо заранее распаковать?

Марк не без снисходительности качает головой.

— Откроете, если попросят, но это бывает совсем редко. Вы же не везете ничего такого?

— Нет, — отвечает Берт, отходя в сторону.

Таможенник пропускает подопечных Марка с завидной легкостью. «Нажется, пронесло», — думает он, и напрасно — под мышкой у толстой миссис Файф обнаруживается тоже не тоненькая книга «Россия — загадка без тайны», известный отчет одного промаявшегося в Москве три с лишним года западного корреспондента.

— Форбидн, — говорит таможенник. — Ай маст тейк ит фром ю. Анти совет литрача форбидн конфискейшн.

— Марк! — зовет американка. — Вы не могли бы поговорить с этим молодым человеком? Я ее только что купила — девять девяносто пять! В твердом переплете! И половины не прочла! Она совсем не антисоветская!

— Совсем не антисоветская, — поддакивает мистер Файф, — и совсем новая.

Марк разводит руками.

— Жаль, миссис Файф. С другой стороны, вы же не прятали свою

книжку? Ну и отлично! Получите квитанцию, а будете улетать — и книгу вернут.

— Мне она сейчас нужна! — гневается миссис Файф. — Проводите меня к начальнику таможи.

— Ноу, чиф нау абсент, хир, тейк ёр ресит, миссис! — втолковывает ей таможенник. — Слушай, объясни этой засранке, что я мог бы книгу и без квитанции забрать, пусть спасибо скажет!

По ту сторону барьера прислушиваются к сваре Клэр Фогель и еще одна дамочка средних лет. Миссис Файф, сдавшись, прячет в сумочку квитанцию и с оскорбленным видом присоединяется к группе. Хитрый Марк, между прочим, беззастенчиво ей соврал — уезжать группе предстояло из Ленинграда, и никто, разумеется, не станет возиться с пересылкой туда этой несчастной книги. Жаль. Такого рода чтиво частенько доставалось в подарок Марку, а отобранный репортаж был, кажется, не из самых глупых.

Загружен багаж, автобус урчит у подъезда, а через десять минут уже мягко катит по вечеряющему шоссе с самой высокой концентрацией рекламных щитов в Советском Союзе — меха, часы, хлопок, станки, лекарства, черная икра, водка. Над пустынным полем буйствует, обещая хорошую погоду, безоблачный кровавый закат, и утомленные пассажиры затаихают, заглядываясь. А Марк устраивается поудобнее на своем вертящемся кресле и, распутав длинный шнур микрофона, просит внимания.

— Дамы и господа, — говорит он, щеголяя и манерным обращением, и отличным выговором, — повторю для тех, кто забыл или не расслышал, что моя фамилия Соломин, что зовут меня Марком, я сотрудник Конторы по обслуживанию иностранных туристов, и мне поручена ваша группа на все три предстоящие недели. — Он переждал возгласы вежливого энтузиазма. — Рад приветствовать вас в Москве, столице Советского Союза, который, кстати, называть Россией неправильно, это лишь одна из пятнадцати союзных республик. Уверен, что вы порядком устали и проголодались.

— Еще бы! — отвечают ему почти хором.

— Вот и хорошо, сейчас отдохнете. Направляемся мы в гостиницу «Украина»...

— Э-э, — пыхтит мистер Файф, — а нам говорили в агентстве, что мы будем в «России» или в «Метрополе»... что они самые лучшие...

— И вы поверили? — укоризненно восклицает Марк. — «Украина» в сто, да что там, в тысячу раз лучше! И тише, и нарядней, и потолки высокие... К тому же она занимает один из знаменитых московских небоскребов, тех самых, — время показать некоторый либерализм, — которые у вас прозвали свадебными пирогами... Сейчас приедем, определитесь по номерам, потом перекусим, а потом можете сладко спать до полдевятого утра... Мы приближаемся к Москве с северо-запада, по Ленинградскому шоссе. Направо, обратите внимание, памятник, стилизованный противотанковый еж, отмечающий место, где в тысяча девятьсот сорок первом году были остановлены немецкие войска... Да-да, именно так близко они и подошли тогда к столице... Программа у нас насыщенная. Завтра утром объезжаем на автобусе весь город, после обеда отправляемся в Третьяковскую галерею. Послезавтра встанем пораньше и пойдем в мавзолей Ленина, затем в Кремль, а повезет — и в Оружейную палату. Вечером — цирк. На третий день — музей имени Пушкина, уникальная коллекция импрессионистов, краткий тур по московскому метро — это, дамы и господа, восьмое чудо света, — вечером ужинаем в одном из лучших ресторанов Москвы, в среду утром вылетаем в Сочи. На лобовом стекле нашего автобуса, обратите внимание, всегда будет картонка с номером 66 — видите? Домá слева — это еще не Москва, нет, это город Химки, но еще минута... секунда... вот мы пересекаем кольцевую автомобильную дорогу длиною в 109 километров, которая обозначает границу города, и оказываемся уже в Москве, вон на том плакате написано: «Превратим Москву в образцовый коммунистический город!»

— Что бы это могло значить, Марк? — осведомляется молодой американец в футболке с веселеньким «Люблю Нью-Йорк».

— Приезжайте лет через двадцать, увидите, — туманно отвечает

Марк. — Мой английский? Ну что вы, он мог бы быть и получше. В Москве я его и выучил, да, в Институте иностранных языков.

— А в Америке вы бывали? — это уже кто-то другой.

— К сожалению, пока нет, — оборожительно улыбается Марк. — Кстати, давайте-ка соберем все ваши паспорта и путевки. Всеми гостиничными хлопотами я буду заниматься сам, для этого перед приездом в каждый следующий город вы должны сдавать мне паспорта, а наутро получать их обратно. Нет, мистер Грин, декларация ваша мне не нужна. Не потеряйте — она вам потребуется при выезде.

В одной стопке у Марка двенадцать американских паспортов, схваченных американской же резинкой, в другой — восемь путевок в глянце-вых обложках с лжеправославными куполами. Ух. Первое знакомство прошло, пусть теперь по сторонам поглазекуют. А переводчик покуда пролистывает документы, попытается всех запомнить в лицо, чтобы завтра уже называть всех по именам. Давешняя дамочка, прислушивавшаяся к русской речи, — Люси Яновска, то бишь Яновская, конечно, пятидесяти лет, место рождения город Лемберг, да-да, знаем мы эти Лемберги. Город Львов это теперь, матушка, исконная советская земля, скажи спасибо, что вовремя успела драпануть в свою Америку. Парень в футболке — Гордон Митчелл, жена его Диана, бизнесмен с медестрой, мужик вроде свой, хоть и не без ехидства... переглядываются, хохочут, сидят в обнимку... Алэн Грин, семидесяти двух преклонных лет. Уже третью пленку в аппарат зарядил бойкий старичок.

— Приближаемся к центру, — говорит Марк, — здесь Ленинградское шоссе переходит в проспект того же названия. — За черной вечерней листвой угадываются огни Светкиного дома. — Направо — городской аэровокзал. Налево — бывший дворец Петра Первого.

Где он мог раньше видеть эту восторженную дуру, которая пробирается к нему, шатаясь, через весь автобус?

— Вы не можете себе представить, Марк, — докладывает ему Хэлен Уоррен свистящим шепотом, — как я счастлива, я просто вне себя от радости, что мне удалось, наконец, вырваться в вашу замечательную страну! Я простая американская женщина, и я хочу сказать...

— Очень, очень рад за вас, — обрывает ее Марк, улыбаясь до ушей и пытаясь сообразить, чем же еще, кроме талька и зубной пасты, пахнет от этой увядающей блондинки. Ах да, духами на розовом масле. — Надеюсь, что при ближайшем знакомстве она понравится вам еще больше.

Чета Коганов, так. Миниатюрны, черноволосы, в летах. Два толстяка — Джордж Файф с супругой Агатой, дантист и домохозяйка, так. Берт Уайтфилд, как и следовало ожидать, профессор физики, жена его Руфь — неизвестно кто. Очень, между прочим, недурна собой худощавая и нервная профессорская жена. Клэр, наконец, Фогель. В визе написано Вогел. Ну, откуда посольским разбираться в тонкостях немецкого произношения? Рот, пожалуй, великоват, да и лоб тоже, и волосы слишком уж коротки. А вообще-то миловидна. И Бог с ней, сколько таких разъезжает по свету!

Гостиница. Самые хлопотливые полчаса позади. Развалившись в кресле, с наслаждением закуривает Марк и разворачивает недочитанную газету. Остается дожидаться туристов и накормить их ужином, а там и сматывать удочки. Загадочного происхождения Клэр Фогель первой спускается в холл, садится напротив, тоже закуривает.

— Видите, какая занятная начинка у свадебного пирога, — Марк лениво обводит рукою полутемный холл с огромными коваными люстрами и потемневшими от времени потолками. — В какой-нибудь «России» уже нет такого шика.

— Давит, — ежится Клэр, — будто декорации к страшной сказке. Устали?

— Не больше вас. Я же не летел через океан. Кстати, Клэр, вы смело можете называть меня на «ты» — мы примерно одного возраста. О'кэй? Где ты русский учила?

— Дома, где же еще. Пишу, правда, с ошибками — самой смешно.

— А фамилия?

— Муж немец. Пятое поколение или шестое.

Разговор не очень вяжется, но и не разговоришься особо — собрался народ, на ресторанных хрустких скатертях сверкают стальные ножи и сервирован неизбежный салат из огурцов со сметаной — блюдо, которое испортить крайне трудно, но, как показывает опыт московских ресторанов, все-таки возможно. А в запотевших бутылках — божественно холодное яблочное сидро, за глоток которого Марк, пожалуй, отдал бы сейчас свою бессмертную душу. Но никто от него этой жертвы не требует — пьет он свое сидро от пуза, ужинает с аппетитом, балагурит с американцами. Только курит слишком много — первый день с группой все-таки самый тяжелый.

Глава вторая

— Вы меня? Я опять что-то не то сделал?

— Я же предупреждал двадцать раз! Все фотоаппараты оставить в автобусе! Знаете, какая тут возня с камерой хранения? Ну что мне с вами делать?

— Я... я не знаю, мистер Марк.

— Ну-ка, — Марк взял у него аппарат и засунул в свою фирменную сумку. Вроде незаметно, да и не шарят у переводчиков никогда. — Так и быть, мистер Грин, верну в целостности и сохранности. С вас пятнадцать копеек.

— Э-э... у меня нет... вы же сами говорили, что денег менять не нужно...

— Шучу, мистер Грин. Все мои услуги входят в стоимость тура. А у вас, Хэлен, все в порядке?

Мисс Уоррен, польщенная вниманием Марка, рассиялась, как начищенный пятак.

— Фантастично, просто фантастично, — залопотала она, — я должна еще раз вас поблагодарить за вчерашнюю экскурсию по городу, во все это буквально... буквально невозможно поверить, если б я не видела своими глазами! Подумать только, миллионы новых квартир, и все бесплатно! Такие зеленые парки, такие замечательные дети, такой чудный, довольный жизнью, счастливый народ! Я нарочно заглядывала в лица прохожим, в их глаза, я поражалась, Марк, я просто поражалась этой открытости, этой уверенности в завтрашнем дне. Ну еще бы, если у вас нет безработицы! А когда же метро? Я прямо умираю от нетерпения!

— Не умирайте, — успокоил ее Марк. — После обеда непременно. А у тебя как, Клэр? — спросил он по-русски.

— Притомилась, дорогой Марк. Можно я не пойду смотреть это знаменитое метро?

— Пожалеешь, — заметил Марк меланхолично. — Второе такое, говорят, имеется только в Пхеньяне.

— Так можно? Я бы одна побродила по городу.

— Ради Бога. Я и сам этих стадных экскурсий терпеть не могу.

Первый день с американцами прошел удачно: кому-то оказана микроэкономическая услуга, кое-кто вовремя осажен, кому-то адресована ироническая усмешка, а то и подмигивание. Все шло по заведенному распорядку, и вряд ли вел бы себя Марк по-другому, даже знай он, что группа эта волею судеб окажется в его жизни последней — как, впрочем, и многие иные события того мрачного лета. Особой строптивостью нынешние клиенты не отличались. Миссис Яновская, бывало, вздрагивала при виде милиционеров — знакомая, и очень глупая, кстати, реакция: если таких визитеров и сажали иной раз, то, во-первых, не так уж часто, а во-вторых, за дело. Митчелл изводил Марка каверзными вопросами, чета Файфов дружно пыхла. Только профессор Уайтфилд краснел, бледнел, за ужином пытался отозвать Марка в сторону, но тот, как на беду, торопился к Грядущему...

У Никольской башни догнала процессию иностранцев очередь в мавзолей из советских, до поры до времени томившихся в Александровском саду. В голове, как водится, стояли энтузиасты с лицами довольными, пускай и помятыми после бессонной ночи. Два чистеньких милиционера дробили очередь на школьные пары Иван, отстав от Гордона с Дианой, зашагал рядом с другом.

— Оба, между прочим, — сказал он, — восхищены твоей изворотливостью.

— Кто тебя за язык тянет, Иван? За провокатора примут. Я же с ними всего третий день. И кстати — на кой черт ты вообще приперся?

— А что прикажешь? Не стоять же мне с трех часов ночи в этой плебейской очереди!

— Тебе легко, — ворчал Марк, — а я каждый день по канату выплясываю. Гордона твоего насквозь вижу, да и он меня тоже. Но раз уж разорился на поездку, так подай ему и двоимыслие в натуральном виде. Что, говорит, у вас за удивительный такой парламент, который за пятьдесят лет не провалил ни единого законопроекта и всегда принимал их единогласно? Что за сверхъестественные выборы из одного кандидата?

— То-то твоему Грядущему удовольствие с этим Гордоном.

— Спятил? Я на своих людей не стучу.

— А что же ты отвечал?

— Будто не знаешь. Дело ведь не в разнице мировоззрений. Его вопросы находятся в пределах обычной логики. А мои ответы — в областях иных, Эвклиду недоступных. Особенно если отвести его в сторонку и простыми словами растолковать, что я на работе, что в гостиничном холле лежит уйма бесплатных брошюрок, сверх которых я ничего ему сообщить не могу... Нерушимый блок коммунистов и беспартийных? А как же иначе, уважаемый мистер Митчелл? Ведь коммунисты, как известно, обладают единственно возможной научной истиной, так? И наиболее передовые представители беспартийных, то есть именно те самые единственные кандидаты на выборах, естественным образом присоединяются к ним!

— Паскуда! — смеялся Иван.

— Тише, тише. Слушай, — он понизил голос, — как тебе нравится эта девица, только не оборачивайся сразу, через три пары от нас? Рядом со стариком в плаще.

— В желтой футболке? Очень ничего. А что твоя Наталья? Их еще не загребли вместе с ее Аликом?

— Никто их не загребет. Только она давно уже не моя, и вообще я через месяц женюсь.

— Смотри, наступчу Светке о твоих междугородных звонках и американских красавицах.

— Руки из карманов вынь.

Метров за двадцать до входа в мавзолей очередь сделала поворот, и ее ощупали взгляды еще четырех в штатском. Миновав двоих молодых солдат, вытянувшихся у окованных медью дверей, Марк с Иваном принялись медленно спускаться в подземелье, после июльского воздуха и солнца ошеломлявшее сухим холодом и полутьмой. Неторопливо, хотя все-таки чуть быстрее, чем хотелось бы самым любопытным, двигалась очередь мимо черных стен гранитного склепа, блестящих искорками слюды, вокруг стеклянного гроба с маленьким, высохшим телом — жалобно закрыты глаза, сморщенные ладошки выпростаны из-под черной ткани, укутывающей ноги.

— Двадцать восемь человек охраны, — сказал Иван, когда они вышли из склепа и направились вдоль кремлевской стены. — Контролируют практически каждое движение. Помнишь, как эти штатские очередь под локоточки направляют, все приговаривают: «Ш! ш! ш!»

Расталкивая очередь, словно два миниатюрных танка, к ним подбирались дантист с женою.

— Марк, — взволнованно заговорил мистер Файф жидковатым своим баском. — Мы тут заспорили с Агатой. Скажи, пожалуйста, это действительно Ленин?

— А кто же еще? — привычно отвечал Марк. — На Рузвельта или Линкольна он явно не похож.

— Я не о том! Это не восковая фигура? У мадам Тюссо он, конечно, гораздо живее, но фактура очень похожая. Я сам врач, и я думаю: разве возможно целых пятьдесят лет так сохранять человеческую плоть?

— Прямо не верится, — вставил подвернувшийся Коган.

— Ну, во-первых, сохранением тела Ленина, скажу вам по секрету, господа, занимается крупный научно-исследовательский институт. А во-вторых, разве дело в плоти? Главное — это идеи Ленина. А они, как види-

те, живут и побеждают. Кстати, возле Кремлевской стены тоже лежит куча знаменитостей. Под этим вот камнем Сталин. В самой стене тоже могилы, но там уже только пепел. Ты что хотел сказать, Иван?

— Да все размышляю об этой мумии...

Марк искоса посмотрел на товарища.

— Пижонишь, Истомин. Неужели у тебя ни капли благоговения? Оглянись, сколько тысяч народу за нами идет. Всю ночь в очереди стоят ради этих полутора минут. Что-то в этом есть, а?

— Разве это народ? Народ — это мы с тобой, а точнее — Яшка с Владиком. Остальные — толпа, быдло, плебс.

Как некогда в мастерской у Глузмана, Марк вдруг поймал на себе недвижный каменный взгляд сталинского бюста. Так же мгновенно миновало это наваждение, только холодок внутри остался — не страха, нет, просто легкого неудобства.

— Чтобы на «Жигули» несчастные записаться, — шипел Истомин, — твой народ по трое суток в очереди стоит, костры ночами жжет у магазинов. Подумаешь, полночи! И кто стоит-то? Берет какой-нибудь замордованный ярославский отец семейства фальшивый бюллетень за десятку и отправляется в столицу за продуктами. В гостиницу и соваться не стоит. Что ж — до рассвета промается на вокзале, а там, благо магазины еще закрыты, и попрется к Кремлю очередь занимать... Отстоит. Поглазеет на свою мумию. Вернется в свой нищий Ярославль, напьется и выдаст другу-слесарю сокровенное: «Если б только Ленин был жив!» Вот тебе и весь твой народ, прав Розенкранц. Ох, хорошо бы взорвать этот склеп к чертовой матери! — вдруг сказал он.

— Тише, — побледнел Марк.

Могилы остались позади, американцы уже обогнули мавзолей и старательно вытягивали шеи, дабы ничего не упустить в предстоящей смене караула. И дождались — без трех минут одиннадцать показались из Спаских ворот двое часовых во главе с разводящим. Отлично был у этих ребятишек поставлен строевой шаг, только примкнутые штывы торчащих вверх винтовок слегка покачивались на ходу, а может, так оно и было задумано. С первым ударом курантов они уже замерли лицом к лицу со старым караулом, а там по еле слышной команде разводящего мгновенно поменялись с ним местами. Точно так же печатая шаг и глядя перед собою, их предшественники направились вдоль Кремлевской стены к Спаским воротам.

— Какая сила! — раздалось за спиной у Марка. — Как все здесь впечатляет! Марк, скажи мне, пожалуйста, вот которые сейчас заходят в этот великий исторический памятник, они ведь правда рядовые, обычные советские люди, которые много-много часов простояли в очереди, чтобы только повидаться со своим вождем?

— Разумеется.

— Как я их понимаю! Он спас Россию! Спас! От войны с Германией, от гражданской войны, от эксплуатации царей, он сделал ее первой державой мира!

— Наверное, все-таки второй, Хэлен?

— Какая разница, Гордон! — всплеснула Хэлен худыми руками в позолоченных кольцах. — Формально — второй, а на самом деле никакой Вьетнам тут невозможен и никакой Уотергейт, потому что вера в идеалы — они сотни лет подряд, обливаясь потом, да, именно потом... и кровью тоже... пахали землю для кучки помещиков... а теперь...

— А я, знаете, люблю вечерком выпить банку-другую пива, — вдруг сказал Коган. — Пошел вчера искать его по гостинице. И не поздно было, часов девять. Одни буфеты закрыты, в других пивом и не пахнет. На шестом этаже дали мне из-под прилавка одну бутылку, два доллара содрали — рублей братя не захотели. А пиво жиденькое и теплое к тому же. До сих пор в номере стоит недопитое.

— Мы, американцы, слишком избалованы, — оборвала его Хэлен. — Не говорю уж о том, что своим процветанием наш правящий класс обязан страданиям негров, индейцев, женщин, рабочих и фермеров. Дело не в каком-то пиве, которого я, например, не пью вовсе. А в осмысленности общественной жизни, в единстве, которое дороже любого пива. Вот взгляните: Иван, друг нашего Марка, отпрашивается со службы, отрывает время

от научных исследований, чтобы посмотреть на своего великого вождя. Разве это не типично? Не убедительно?

Тут смешливая Диана не удержалась и прыснула, а Иван... впрочем, Иван, кивнув Марку и помахав рукой остальным, уже хромал к набережной. Профессор посмотрел ему вслед и вдруг ринулся вдогонку. Руфь поспешила за ним.

Если не считать дурацкого этого инцидента, то все шло как по нотам. У Боровицких ворот маленькая Маркова группа выгрузилась из автобуса и, завороженно пялясь на стены и башни Кремля, поползла в гору. Текст экскурсии в редакции Марка Соломина, между прочим, был безбожно приукрашен в духе «Нэшнл Энквайер», половина цифр увеличена в два раза, другая и вовсе выдумана. Зато и слушали, раскрыв рты, только Клэр все стояла поодаль, размахивая сумочкой да потряхивая растрепавшейся на ветру мальчишеской шевелюрой.

— Марк, извини, пожалуйста...

— Да, миссис Файф?

— Каков в точности вес этого колокола?

— Две тысячи... виноват, двести тонн, миссис Файф.

— Как же его собирались поднять на колокольню? Ведь она бы рухнула под такой тяжестью?

— Не было случая проверить, миссис Файф, — хмыкнул Марк. — Его и из ямы-то, где отливали, не смогли вытащить, ну а потом он треснул, как я рассказывал. И поднимать не пришлось. Хотите сняться на фоне колокола? Давайте аппарат... улыбнитесь... снимаю! Клэр, Диана, Гордон! А миссис Коган? Прекрасно. И вы, мистер Грин. Поближе к Хэлен, пожалуйста. Отлично. Современное здание перед нами — Дворец съездов, шедевр современной советской архитектуры, Гордон. А за ним — Троицкие ворота, где нас ожидает автобус. Устали, проголодались? Сегодня на обед котлета по-киевски и специально для мистера Когана — свежее чешское пиво. Вперед!

Профессор Уайтфилд уже томился в мрачном гостиничном холле рядом с загадочно улыбающейся Руфью.

— Марк, — спросил он без предисловия, — у тебя есть такой знакомый — Розенкранц? Костя?

Господи! От сердца сразу отлегло. И обрадовался Марк, надо сказать, до неприличия.

— Он для нас перевод делал, — объяснял профессор, — разговорились, я его в гости пригласил, тем более мы уже купили путевки в Москву... Он меня просил разыскать вашего брата. Я вчера ездил по адресу, а там замок на дверях.

— В Литву уехал Андрей, очередной роман сочинять. Но как же так...

— Костя объяснял, что вы постоянно в разъездах, — Руфь глянула на Марка с каким-то особенным интересом, — а Ивану и вовсе запрещено с иностранцами встречаться. Я поразились сегодня.

— Я тоже, — сказал Марк, смеясь. — Истомина — парень непредсказуемый. Понравился он вам?

— Очень умный и проницательный молодой человек, — отвечал профессор, — только он рассказал о ваших друзьях... это же...

— Все под Богом ходим. Отчего вы сразу ко мне не подошли?

— Ну, — смутился Берт, — Костя вас описывал по-другому. Не внешне, но...

— Не таким ортодоксом? — скривился Марк. — Я же на работе, дорогие вы мои иностранцы. Поговорим как следует, когда из Москвы уедем. А к Ивану поезжайте без меня — дела! У вас, наверное, и письмо есть?

— И письма, и подарки, — заторопился профессор. — В чемодане.

— Отдайте Ивану, ладно? Кроме письма мне, конечно.

— И книгу? Она для вашего брата.

— Тоже придержите, — решил Марк. — Почитаем в дороге. Дамы и господа! — заорал он во всю глотку, вдруг заметив, что вся группа уже собралась в холле. — Сами ступайте в ресторан, садитесь за те же столики под американским флажком. Официантов не бойтесь, они только с виду гру-

бые. Люси! Вот вам ключ от другого номера, там водопровод в порядке, сам проверял. Мистер Файф и остальные — всякие там «Ньюсуники», «Таймы» и «Нью-Йорк Таймсы» будете читать дома. «Интернэшнл Геральд Трибюн» вот у меня есть, могу подарить. Нет, нет. Она только в Шереметьеве продается, и то не каждый день. Впрочем, в киоске при гостинице бывает «Файненшиал Таймс»...

— Смотрел я уже, — пробурчал обиженный мистер Файф. — Хотел про Уотергейт свежие новости узнать, а там только коммунистические газеты.

Беспомощно улыбнувшись, Марк ретировался. Дел и так невпроворот, а еще надо Владимиру Михайловичу в больницу апельсинов достать. И творческое воображение раскручивать пора — в сегодняшнем, третьем отчете самое время появиться неизменным персонажам, столь милым сердцу Грядущего, то есть Матерому Антисоветчику, Доброжелательному Коммунисту. Со вторым ясно, на роль первого, пожалуй, подойдет растяпа Грин — все равно в конце путешествия ему предстоит раскаться и прийти в щенячий восторг. Сионистом пусть будет... ну хотя бы миссис Файф. Коганов трогать нельзя — у них родственники в Ташкенте. Руфь, кажется, женская активистка — так пускай завидует советским женщинам. Не забыть попросить Гордона окорачивать язык перед гидами в других городах — нарвется парень, честное слово... А Клэр что? Ну, эту женщину Грядущему отдавать нельзя. Можно было бы определить ее в Положительные Западные Интеллигентки Русского Происхождения... но и это ни к чему... На этом и прервал Марк свои размышления — автобус группы, где он был единственным пассажиром, уже подруливал к ресторану «Узбекистан».

Глава третья

Только в одиннадцатом часу добрался прозаик Ч. до своей московской квартиры. На ходу стягивая плащ, понося архитекторов за крошечные размеры прихожей, пустился он в разгоряченные объяснения. Покуда Сергей Георгиевич «лаялся» на Комиссии по работе с молодыми и «учинял разнос» замдиректора издательства «Советский писатель», Света с Марком были обречены обществу Глаши да телевизора, по которому шел концерт ансамбля пограничных войск.

— Валят друг на друга, — продолжал прозаик Ч., дочку чмокнув в щеку, а Марка удостоив энергичного рукопожатия. — Пять лет не могут издать паршивого сборника в триста страниц! И взгреет нас ЦК, как пить дать, а вашего покорного слугу в первую очередь. — В комиссии Сергей Георгиевич состоял председателем. — Ты знаешь, Марк Батькович, какой средний возраст у нас в Союзе? Вот перемрем, — он засмеялся, — останется Россия без писателей.

Он сунул ботинки Глаше, взял у нее тапочки и скрылся за дверью спальни.

— Три дня всего, как вернулся, и ни секунды свободной, — доносился его жизнерадостный голос, — из костюмов и галстукон не вылезаю, хорошо хоть сегодня не так жарко. — Он появился уже в домашнем. — И сборник-то, было б о чем ругаться...

— Хороший? — вежливо спросил Марк.

— Дерьмовый, друзья мои, что притворяться, пороку настоящего нет. Но поддержать ребят надо, — предупредил он вопрос Марка, — надо печатать, глядишь, со временем выйдет толк. Глаша! Все готово?

— Мясо пересохло, — буркнула из кухни Глаша, — картошка остыла.

— Ну что поделаешь? Неси скорее и бутылку захвати, высокую, с серебряной наклейкой. Портфель мой разбери — я сегодня заказ получил. Тоже подай.

За разносолами из литературского буфета Марк утешил хозяина, объяснив, что и сам пришел не так давно — отвозил иностранцев в цирк, потом пулей помчался в Контору.

— Каждый день отчитываться? — хрустел Сергей Георгиевич огурцами, которые даровитая Глаша превратила в куда более вкусный салат, чем подававшийся в ресторане гостиницы «Украина». — Ну бюрократы! За каждой копейкой следят?

— Что вы! — Марк улыбнулся наивности писателя. — Финансовый отчет сдается всего однажды, после отъезда группы. Да и с деньгами я дела совершенно не имею. — Он достал из кармана розовую чековую книжку Конторы. — Отчеты у нас... как бы поточнее выразиться...

— Понятно, — кивал Сергей Георгиевич, — разумно. Мало ли кто может затесаться в такую группу. Глаша! А помидоры где? Я же просил!

— Не было, — невозмутимо отвечала Глаша, — пол-Москвы объездила.

— На рынке бы взяла.

— Четыре рубля кило. — возмутилась Глаша, нимало не стесняясь гостей. — Скажите спасибо, что огурцов достала.

— Шашлык волшебный, — примирительно заметил Марк, — тает во рту. И совсем не пересошенный.

— Барашек, — объяснил Сергей Георгиевич. — Черт с ними, с помидорами! Недели через две уже свои поспеют, как раз к твоему приезду, Марк. Между прочим, — он выбрался из-за стола и прошел к гардеробу, — заказы ваши выполнил в точности, вот тебе, Светик, два батника — тьфу, и кто такое слово уродское придумал, тебе, Марк, джинсы вельветовые. Помирить не хотите?

— Дай нам хоть поужинать нормально, пап! Вечно ты нехстати.

— Молчу. — Сергей Георгиевич давно привык к мелкой тирании любимой дочери. — Выпьем?

Закусывали лимоном, чокаться не стали. Оно конечно, прозаик Ч. вернулся из капстраны, но и Марку было чем похвастать — в феврале будущего года отправлялся в якобы несуществующую за границу и он. Правда, речь шла всего лишь о паршивой Сирии.

— Сколько, говоришь, собеседований?

— Шесть, — не без кокетства вздохнул Марк. — Партбюро отдела, партком Конторы, профком Конторы, выездная комиссия, райком, Старая площадь.

Сергей Георгиевич сочно расхохотался.

— Рассказал бы я тебе, гусь лапчатый, как я в первый раз в Англию оформлялся в пятьдесят восьмом году, да боюсь, вечера не хватит. Шесть! А шестнадцать не хочешь? Да, изменились времена, — он призадумался, — но волокиты все равно немало. Правда, Вероника уже насобачилась, печатает все, что нужно, прямо у себя в издательстве, дня за два обычно управляется. А там отнесешь секретарше эту потетень, плитку шоколада приложишь — и вся недолга. Иной раз и в два месяца удаётся оформиться... Да бери ты еще барашка, Марк, чего жмешься? Светка тебя, верно, совсем голодом заморила. И сама с лица спала. Дура ты дура, последние деньки догуливаешь, в октябре уже на работу. Страшно?

— Ни капельки. Я за тобою как за каменной стеной.

С каждой новой встречей проникался Марк не то что симпатией, но уж, во всяком случае, уважением к гостеприимному служителю муз. Кто же спорит, особой тонкости в Сергее Георгиевиче не водилось. Но и фанатиком его назвать язык не поворачивался. Просто предан человек своему делу. Какое дело — это уже другой вопрос. Разве не у всякого есть право отстаивать свои убеждения? К тому же по уголку джинсов, торчащему из пакета, видел Марк, что они любимого песочного цвета, да и сидели, должно быть, как влитые — долго обмеряла Света своего суженого стареньким сантиметром, долго морщила лоб, переводя советские размеры в европейские, а на всякий случай — и в американские.

— И не похудела я вовсе, — добавила она, — а надо бы.

— Куда? — искренне недоумевал Сергей Георгиевич. — Что за идиотизм? Вся Москва с ума посходила. Очковая диета, крупа сырая, морковка тертая... Вероника на даче торчит, тоже жрет только с огорода. Как считаешь, Глаша, глупость это?

— Глупость, — зарделась Глаша, давно подсевшая за общий стол.

— Вот как. Фигуру берегут! Да на хрена ее беречь?

Он бросил взгляд на свое солидное брюхо, мощно расправившее надеваемые по вечерам тренировочные штаны.

— Quod licet Jovi, — сказал Марк, — non licet bovi*.

* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).

— По-каковски шпаришь? — невинно спросил Сергей Георгиевич. А когда дочка его высмеяла — огорчился.

— Ну когда мне было языки учить? В войну, что ли? Вдолбили в меня малость немецкого в ИФЛИ, да и тот растерял. В магазинах еще туда-сюда, а так все через переводчика.

— С вами приехал?

— Нет, тамошний. Молодой парень, ваших лет. И говорит почти без акцента. Чистенький такой, бородатый. За Чехословакию мы с ним сцепились — ого-го! Он, понимаешь ли, за демократию, за коммунизм с человеческим лицом, а сам вечерами отчеты строчит в ихний первый отдел — как он у них? — ведомство по охране конституции.

— Мне американские переводчики другое рассказывали... — начал Марк.

— Ну-ну, — добродушно оборвал его Сергей Георгиевич. Он уже привык к тяге Марка лезть на рожон и не упускал случая поучить будущего зятя уму-разуму. — Они тебе и не такое расскажут. Согласись, ты же не отводишь их в уголок пооткровенничать о твоих служебных делах?

— Подписку давал, — сдался Марк.

— И они давали, не сомневайся. Между прочим, друг сердечный, я тебе вообще советую быть на работе поосторожней. И не думай, что я параноик, в каждом иностранце подозреваю шпиона. Дело тоньше.

— Кому нужна такая мелкая сошка, Сергей Георгиевич?

— Сегодня ты сошка мелкая, завтра крупная. Зять-то ты будешь чей? То-то же. Держи, держи ухо востро. И мне в номер, и Щипухиной, поэтессе, по два раза звонили в Мюнхене какие-то типы. На отменном русском языке предлагали получить от них — понимай, от ЦРУ — книги. Заходите, мол, Сергей Георгиевич, на наш склад, ознакомьтесь. Полторы тысячи названий, можете все, что угодно, взять бесплатно — мы, дескать, знаем, какие у вас трудности с валютой...

— Книги там дорогие, — заметила Света.

— Смешной ты человек, дочка. У меня этой макулатуры в Переделкине три с лишним полки. И тоже, между прочим, бесплатно. Смех-то с этими звонками вышел, когда ко мне Щипухина в номер прискакала. Красная, озирается. «Меня провоцируют, Сережа! Нас с тобой похитят или вообще убьют! Тут же ЦРУ как у себя дома!»

— Экая дура, — не удержался Марк.

— Дура не дура, а нет дыма без огня. Сегодня они тебе книжки дадут, а завтра на первых полосах фотографии: «Советские писатели сотрудничают с ЦРУ». Что смеешься, Глаша?

— Чудно, — сказала Глаша. — Столько лет с войны, а у них все на нас такая злоба.

Порядки в доме у прозаика были демократические: домработница обедала с хозяевами, а нередко и с гостями. Обожал просвещенный писатель в разгар беседы апеллировать к Глаше в качестве носительницы «простого народного здравого смысла». Правда, простоту плутоватой Глаши, за пять лет в Москве порядком пообтесавшейся, он сильно преувеличивал, но это к слову.

— Верно, — восхитился Сергей Георгиевич, — молодец! Именно чудно. Хотя богаты, сволочи, прямо страшно, глядел я на них и думал: черт подери, кто войну-то выиграл? Вот история: приезжаем мы со Щипухиной, с переводчиком и с парой тамошних писателей из левых в один городок. Приятный такой, зеленый, прибранный — вроде наших прибалтийских. Слайды будут готовы — покажу. И вдруг вижу, под стеной собора на главной площади пристроился самый натуральный нищий.

— Да ну? — поразилась Света.

— Руки-ноги целы, молодой — сорока еще нет, но нечесан, небрит, разодет в какие-то разноцветные лохмотья. Кинул я ему в шляпу монетку советскую, он поблагодарил. На приеме в городской управе спрашиваю бургомистра: что же у вас, с демократией вашей хваленой, нищие в центре города сидят? А он мне: никакой это не нищий, а муниципальный служащий, работник отдела туризма и рекламы. Выручку сдает до пфеннига, сам получает приличную зарплату, определен же на это место для живописности...

— Врал он тебе, папка.

— Никакого сомнения, — подтвердил прозаик Ч. — Врал, как сам

выразился, для живописности. Но случай, согласитесь, характерный... А вообще отлично съездили, и выпили кое с кем, и поспорили. Ярмарка-то огромная, понаехало нашего брата писателя чуть не две сотни. Но книги там наши продавать трудно... — вдруг сказал он.

— Почему?

— Они читают меньше нас, Марк. Общество потребления — телевизор посмотреть, машину сменить вовремя, домик отделать. Известное дело. Ну и возможностей издательских у них, как ни парадоксально, мало. Рынок, говорят, свобода творчества, не стесненного идеологическими догмами. И снова брешут, как тот бургомистр. Читатель все-таки есть, читателю нужна настоящая литература, а не солженицынская пачкотня, и интерес к нам огромный, грех его не использовать...

Сергей Георгиевич увлекся, рубил воздух широкой ладонью, говорил уверенно и подробно. В Правлении ССП да и в самом ЦК поездкой их маленькой делегации остались довольны. Ни прозаик Ч., ни глупая Щипухина не ударили в грязь лицом. «Знаменитый русский писатель Ч., — писали газеты после их телевизионного интервью, — тоже стоит за всемерное расширение культурных контактов между Востоком и Западом, за то, чтобы книги западногерманских писателей достигали советского читателя». (Слово «прогрессивных» из последней фразы почему-то выпало.) У коммерческой же делегации дела обстояли не так блестяще. Заваленные антисоветской стряпней, западные издательства упорно воротили нос от привезенных на выставку шедевров социалистического реализма. Состоялись, правда, дружеские посиделки с Гюнтером Пфердом, директором «Роте Фане», много было выпито хорошего пива и сказано прочувствованных слов, прозаику Ч. отважный антифашист подарил двадцать авторских экземпляров «Стального неба», только что вышедшего в немецком переводе, но тираж был ничтожный, гонорар символический.

— Со свадьбой-то все в порядке?

Марк показал будущему тестю список гостей — тридцать восемь человек. Зал в «Узбекистане» он уже заказал. На листке из блокнота невеста изобразила карандашиком фасон подвенечного платья.

— Все-таки белое? — подмигнул прозаик Ч. — Но почему ты его подвенечным называешь? Просто свадебное.

— Мне так хотелось в церкви...

— Исключено, дочка, — посуловел прозаик Ч. — Тоже мне мода! Как ты думаешь, Марк, блажь это?

Марк кивнул.

— А ты, Глаша?

Глаша отставила свою пол-литровую кружку с чаем, и в синих ее глазах появилось то самое мечтательное выражение, которое заставляло Веронику бояться, что «вертихвостка» выскочит замуж и уйдет из семьи.

— Выгнать могут, — загадочно сказала она.

— Откуда?

— Из комсомола.

— Это само собой! По существу-то, что ты думаешь? Вот ты в июне у себя в деревне была. Как у вас там — венчаются?

— В Лихие Бугры ездят. На полуторках. Там и венчаются, и крестят.

— Почему ж не во Дворце, не в райцентре? — ужаснулся хозяин.

— Там мырма. Стоит с лентой через плечо, мямлит что-то. Десять минут на каждую пару. А в церкви свечи, в церкви хор поет, батюшка красивый, читает долго...

И она бросила испытующий взгляд на Сергея Георгиевича, который тут же принялся сокрушаться, относя народную отсталость отчасти за счет неумения Советской власти «разработать по-настоящему привлекательные гражданские обряды». Час был поздний. Ушла в свою комнатку лукавая Глаша, стол опустел. Осталось на нем только три высоких хрустальных бокала, играющих при свете старинной люстры, забытая краюха хлеба да бутылка «Киндзмараули»*, которую радушный хозяин держал до поры в холодильнике в виде сюрприза.

— Единственная беда, — посетовал прозаик Ч., — здорово меня эта

* В любом российском застолье, между прочим, непременно сыщется доброт, который сообщит вам, что «Киндзмараули» было любимое вино Сталина, буд-то это прибавляет ему вкуса или крепости. (Прим. авт.)

поездочка выбила из колен. Еще дня два возиться с отчетом, потом сразу в Опалиху — вести семинар для молодежи... Словом, со свадьбой никак помочь не смогу.

— И не надо, — благодушно сказал Марк, — утрясется.

— Надеюсь, дорогой Марк, надеюсь. И еще, — вспомнил он, — в конце месяца надо сдать статью, для которой и материалов пока нет, да и работа предстоит тонкая...

— Какая, коли не секрет?

— Вообще-то секрет, — поморщился Сергей Георгиевич, — но будущему зятю, пожалуй, могу и довериться. Ты ведь знаешь, что среди эмигрантов есть до ядерной фени всякого говна...

— Папа!

— Виноват, всякой дряни с сочинительскими наклонностями. Полторы тысячи названий, не шутка! Ну, пускай плещутся в своей вонючей луже. Они иностранные подданные, с них спрос невелик. Однако же рынок для антисоветчины немаленький. Вот и по нашу сторону границы попадают охотники половить рыбку в мутной воде.

— Диссиденты?

— Это особая статья, — отмахнулся хозяин. — Мне до них дела нет — я же писатель, а не чекист. Нет. Существуют у нас, понимаешь ли, людишки, наделенные известным литературным талантишкой. Иной раз и в Союз попадают. Талант-то их — будто зуб кривой. Вроде он и есть, а пользы от него шиш, и порядочный стоматолог его без долгих разговоров выдирает. — Сергей Георгиевич невольно сделал движение рукой — что-то сжал, что-то дернул. — Сунется такой типчик со своими опусами в одну редакцию, сунется в другую, бывает, и пригреют его разок, поощрят, напечатают. Но чаще дают от ворот поворот. И начинает в таком графомане играть обиженное самолюбие. Бродит, распирает. Одни страдают тихо, а другие... сначала в критиканство, потом в клевету, а в конце концов продаются тем, кто готов их купить. Со всеми потрохами. Винца еще хочешь?

Марк подставил свой бокал. Пальцы его сами собой подрагивали, ломали хлеб, засыпая скатерть крошками.

— Так о чем я, бишь? С Пастернаком историю помнишь? Неплохой, между нами, был писатель. Как у него там: «Гул затих. Я вышел на подмостки...» Да. И получил он по шапке, из уважения к возрасту и переводческим заслугам далеко не так сильно, как мог бы. Солженицын же, Максимов какой-нибудь, Синявский тот же — другой разговор. Не мы их — так они нас, закон жизни, диалектика классово-борьбы. Уничтожать эту заразу надо на корню. Препротивное занятие, согласен. Но, увы, необходимое. В общем, заказали мне для «Литературки» статью об одном таком гаврике. Книгу его я видел на ярмарке, да вчера мне Горбунов подбросил экземплярчик. Материалы обещал дать дня через три.

— А что за книга? — похолодел Марк.

— Якобы о кошках. Да на, посмотри.

Из ящика письменного стола появилась на свет Божий нетолстая книжка в голубой бумажной обложке. Она самая, «Лизунцы», Михаил Кабанов.

— Препрохажнейшее сочинение, — продолжал Сергей Георгиевич, покуда Марк в смертельной тоске притворялся, что просматривает книгу. — Эдакая антиутопия с провокационной ухмылочкой, сначала почти невинно, а приглядишься — такой матерый враг вылезает с каждой страницы. В литературном-то смысле полная бездарь — клочки у Оруэлла слямзил, кое-что у Замятина, разбавил все это Гоголем — и думает, что это литература...

— А мы про эту книжку случайно по радио слышали, — подала голос Света. — Кто такой этот Кабанов?

— Псевдоним, — брезгливо сказал Сергей Георгиевич.

— Как же вы будете писать статью? — Марку вдруг показалось, что все еще обойдется.

— Раз плюнуть! — отрезал ему в ответ прозаик Ч. — Ты полагаешь, — он склонился к Марку, обдав его горячим алкогольным дыханием, — что у нас нет своих людей в этом «Рассвете»? Что кураторы из КГБ зря штаны просяживают? Будь спокоен, Марк, через три дня, когда ты будешь... где?

— В Сочи, — сказал Марк мертвым голосом.

— Когда ты будешь загорать на озере Рица со своими буржуями, наи-

подробнейшая био, так сказать, графия этого Мишеньки Кабанова — мне сдается, он парень молодой — будет лежать на этом самом столе.

— И его посадят?

— Это, дочка, дело не мое! — фыркнул прозаик Ч. — Мне велено написать статью, и я ее напишу с большим душевным удовольствием, потому что я по натуре драчун, борец, если угодно. Я напишу, и газета опубликует. Триста тысяч трудящихся узнают о существовании и моральном облике этого тунеядца. Пойдут письма читателей, требования наказать. А дальше я не хозяин, дальше вступают в дело компетентные органы, наделенные, официально выражаясь, законодательной и исполнительной властью. Впрочем, — он поморщился, — может, и не будет никакой статьи.

Марк поднял на него недоуменный взгляд.

— Зачем травмировать душевнобольного человека? — пояснил прозаик Ч. — Зачем шельмовать его на весь мир, коли не в наказании он нуждается, а в лечении? Пожалуйста, дорогой товарищ, подчеркиваю, товарищ, член нашего общества, Кабанов, в спецпсихбольницу, побудьте под надзором врачей годика три-четыре, вылечат вашу графоманию...

Отказались от чаю, быстро распрощались, вышли на теплую вечернюю улицу, в запахе бензина и железнодорожного дыма. Марк раскачивал голову, словно от зубной боли.

— Да что с тобой, наконец?!

— Сейчас объясню, — он перевел дыхание. — Сейчас все объясню, погоди, милая...*

* О чем весь сыр-бор с этими «Лизунцами»? — спросит читатель. Были ли они вообще, и если были, то что из себя представляли? Черт его знает. Заграница, как уже было доказано Андреем, не существует, так что пресловутого западного издания я в глаза не видел. Была у меня как-то в руках затрепанная машинописная копия, да и ту я, будучи большим поклонником Андрея-стихотворца, читал невнимательно, а наутро ее и вовсе у меня отобрали. Остались в памяти какие-то отрывки, да и то несвязные.

«...прозрачным ли сентябрьским деньком, когда летучее золото и тусклая бронза березовых рощ сообщают особую легкость тюлевой голубизне невесомого неба... приятно оживляется при пересечении границы с Дергачевской... Демократической Республикой... шиферные крыши Лизунцов, богатейшего села небольшой республики... засветло поспеть в столицу, город Дергачево... направляют они стопы в кошачий ряд... оглаживают мяукающий свой товар. Только... родятся матерые коты... ударом могучей лапы...»

Полобуется полноводной Мжой... стоят Лизунцы... увидеть на Площади Гуманизма слушающих Государственный Гимн.

...трудится над составлением монументальной истории... сам президент республики Петр Евсеич Лапочка... раскачивает по своему скромному кабинету дергачевский мечтатель... на старенькой подводе в Набоковский лес... Гикнет удалой Колька Звонарев, свистнет... ан знаком Николай и с председателем... Федей Моргуновым... Но суха теория, вечно зелено лишь древо жизни... то-то радости будет путешественнику!»

А вот единственное включенное туда стихотворение, которое с текстом вовсе не вязалось, я запомнил и даже записал.

«Ну что, старик, пойдешь со мной? Я тоже человек ночной. Нырнем вдвоем из подворотни в густую городскую мглу — вздохнем спокойней и вольготней у магазина на углу.

Одним горит в окошке свет, других голубят, третьих — нет. А нам с тобой искать корысти в протяжном ветре, вьюжном свисте, искать в карманах по рублю — я тоже музыку люблю.

И тут опять вступает скрипка, как в старых Сашкиных стихах. Ты уверяешь: жизнь — ошибка, но промахнулся второпях. Метель непарными крылами шумит в разлуке снеговой.

Я тоже начинал стихами, а кончу дракой ножевой».

Одних читателей книга смешила, других — оставляла в недоумении.

— Ты так хочешь всех перехитрить, — критиковал брата Марк, — что выстрел получается холостой. Ну что такое твои «Лизунцы» — пародия на советскую власть? Для пародии слишком беззубо.

— Я просто повеселиться хотел, — шурился Андрей.

— Для шутки — слишком злобно, — парировал Марк.

Книгу все-таки заметили, даже почтили парой недоуменных рецензий в эмигрантской прессе. В конце концов разошелся и английский перевод, выпущенный, правда, не Фарраром, Страусом и Жиру, а небогатым университетским издательством. Как бы то ни было, но даже выход ее в «Рассвете» вскружил голову бедному автору. Всю весну он ходил, задрав нос, ронял в компаниях самые прозрач-

— Но...

— Я знаю, что ты хочешь сказать. Сначала поэта убили, потом продают его стихи иностранцам. Водки хочешь? Зря. Хочу тебя предупредить, что в наших разговорах я не буду изображать из себя служащего Конторы. Можно? У меня этот обезьяний цирк уже вот где сидит. — Он поднес руку к горлу. — Скажу по секрету: я нормальный человек, точно такой же, как вы, случайно ставший профессиональным болтуном. А насчет Мандельштама... — Он вспомнил слова Струйского. — На черном рынке, пожалуйста. Семьдесят рублей. Или шестьдесят.

— Ты не откажешься взять у меня одну?

— Почему нет? Беру же я виски, сигареты, чуингам и прочее.

— Хоть бы спасибо сказал, — обиделась Клэр.

— Спасибо. Не сердись, я правда ужасно рад. Андрею подарю — он прыгать будет от восторга.

— Кто такой этот Андрей?

И снова помрачнел гид-переводчик Соломин. «Господи правый, — плакала вчера Света, — откуда ты взялся такой на мою голову? Ты ненормальный, Марк, ты просто урод, ты сравни моих друзей со своими! Почему, почему, почему, черт бы тебя подрал, мои знакомые не уезжают в Израиль, не попадают в лагерь за хулиганство, не сочиняют антисоветчины, не...» «Брось разоряться, — хмурился Марк, — подумала б лучше, как помочь моему брату». «Этому идиоту? — Голос Светы, обыкновенно довольно мелодичный, то и дело срывался на совершенно непристойный визг. — Напомогалась! Он что, маленький? Он о чем думал, когда переправлял за границу свою писанину? Что ему Ленинскую премию дадут?» «Он поэт, — втолковывал ей Марк, — понимаешь, ПО-ЭТ!»

При последних словах, произнесенных куда громче, чем следовало бы в этот поздний час, в стену уютной Светиной квартирки постучал не то кулаком, не то ботинком сосед справа, одинокий детский писатель, и дальнейшая перебранка продолжалась шепотом. К третьему часу ночи, вздыхая и изредка переругиваясь, они наконец кое о чем договорились. Все прожекты Марка особенно после поправок осторожной невесты были, разумеется, хилыми, ненадежными, несерьезными. Оставалось надеяться лишь на то, что псевдонима не раскроют. Той же ночью в глухую литовскую деревушку полетела телеграмма, казавшаяся Марку чудом конспирации: «ТЕТЯ СОФА СЕРДИТСЯ ОБЕЩАЕТ УСТРОИТЬ БОЛЬШОЙ СКАНДАЛ НЕ ТОРОПИСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ БРАТ». Вернувшись с почты, Марк разделся и лег в теплую постель рядом с невестой. «А я ему еще переводов достала, — пробормотала она сквозь сон, — скотина твой Андрей и больше никто...» «Это папаша твой скотина», — чуть было не ляпнул Марк, но вовремя прикусил язык...

И настало время покидать Москву. Хорошо позавтракавшие американцы веселились в автобусе, как подростки. Кто-то махал рукою прохожим, другие кричали в окошко: «До свидания, друзья!», третьи подтягивали Диане, запевшей детскую песенку. «Напрасно, напрасно проболтался я в первом отчете, что Клэр говорит по-русски, — размышлял Марк, — еще поставят хвост в каком-нибудь Ташкенте...»

Начало дороги — быть может, самые волшебные минуты жизни. Иным надоедают разезды, иные коллеги Марка, хлебнув командировок Конторы, через год-другой уже упрашивают Ариадну пореже отсылать их из Москвы. Что ж, можно понять — семья, дети. Глупые, глупые барышни из Конторы, выходящие замуж за недалеких инженеров в мешковатых брюках, за геморроидальных чиновников, лысеющих к тридцати годам... Глупые барышни, рожающие таких же глупых детей... иди в монастырь, Офелия, иди в монастырь... а я останусь в прогнившем датском королевстве, и будет время — упаду от удара клинка...

— Марк! Ты не заснул?

— Что вы, мисс Уоррен! — Просыпаться Марк умел мгновенно. Обворожительная улыбка, поворот в кресле. — Я к вашим услугам, как всегда.

— Марк! — сияли опасным блеском глаза его собеседницы. — Мне так безумно, безумно нравятся советские дети! Скажи, мы не сможем во время путешествия посетить школу? Советскую школу, где воспитываются эти замечательные малыши?

Глава четвертая

Мудрено ли потеряться в огромном московском метро, среди мраморных колонн, патристических мозаик и пустотелых бронзовых статуй? Вот и отбился от группы седенький мистер Грин, до вечера проблуждал по образцовому коммунистическому городу и разве что не бросился на шею своему гиду, когда тот вышел из глубин ресторана и велел швейцару пропустить оголодавшего иностранца. «Где я только не побывал сегодня, мистер Марк, — на застиранную белую скатерть веером легла дюжина фотографий, — а до гостиницы так и не добрался... Вы не сердитесь? Смотрите, какие красивые кондоминиумы возле польского посольства. А милиционер почему-то очень сердился, когда я фотографировал. Там кто живет?» «Члены правительства», — просветил его Марк. «Нет, вы ошибаетесь, — ввязалась Хэлен, вытирая салфеткой губы, — в Советском Союзе нет привилегий для правящего класса». Рекою лилось липкое узбекское вино, принесли и зеленый чай в позолоченных пиалах, и пьяненькая миссис Яновская, достав из сумочки купленный в «Березке» расписной платок с каймой, уже порывалась пуститься в пляс под разухабистую музыку из соседнего общего зала. Все веселились, один Марк томился, развлекательные свои и иные обязанности выполнял спустя рукава. Даже когда Руфь пошла красными пятнами, доказывая кому-то, что магазин вроде «Березки» просуществовал бы в Нью-Йорке часа два, не больше, — студенты бы все витрины камнями расколотили, — переводчик группы № 169 пренебрегал идеологической своей обязанностью разъяснить и вправить мозги: знай попивал свою водку да помалкивал.

— А я в этом магазине отличную книжку купила. — Клэр протянула Марку синенький томик Мандельштама. — Даже два экземпляра.

— Ого! — очнулся Марк. — Как же я сам не заметил?

— Он на самой нижней полке стоял, да другими книгами заставлен. И продавать сначала не хотели — у нас, мол, всего несколько штук, отпускаем только по предварительному заказу из посольства...

— Ловко. А читала ты его?

— У меня есть трехтомник дома, — она смутилась, — но с языком проблемы. Копаюсь, копаюсь, а понимаю едва половину.

— Русский у тебя безупречный.

— Ладно, обойдусь без твоих комплиментов. Слушай, а в обычных магазинах, не в этой гнусной лавочке, он есть?

В лучшей в городе «Березке», напротив Новодевичьего монастыря (славно поработали ребята из стройбата — никаких следов не осталось от злополучных надписей), американцы битый час облюбовывали свои янтарные бусы и палехские шкатулки, приценивались к каракулю, грампластинкам и французским духам, запасались цивилизованным спиртным и сигаретами по небывало низким ценам. Марк покуривал в сторонке, разъясняя Коганам, что курс доллара снова упал, вчера еще все тут было на три процента дешевле. Нагружались товаром ко всеобщему удовольствию, а по выходе на улицу случилась неприятность, нежелательное, так сказать, столкновение двух миров.

— Мы только посмотреть, дедушка, — в голос твердили обе глупые провинциалки, нимало не смущаясь своими резиновыми сапогами и одинаковыми жакетками черного плюша. — У нас этой валюты сроду не водилось.

— И нечего смотреть! — отбрехивался швейцар. — Тут только для иностранцев. Валите, а то милицию позову.

Вытолкал могучий унтер-офицер отсталых баб на улицу, достал пластмассовый судейский свисток — и дали деру нарушительницы спокойствия. Марку-то что, а жители города Желтого Дьявола как-то разом покучнели, перестали хвастаться друг другу фанерными балалайками и деревянными медведями. Только чета Файфов, которая весьма выгодно приобрела барашковую шапку пирожком, все передавала ее из рук в руки, щупая шелковистый мех и любуясь его блеском на июльском солнце.

— Нет, дорогая Клэр, нет.

ные намеки и в Литву уехал в лучезарном настроении, оставив в районном отделении милиции заявление по поводу превращения своей личностной подписки в постоянную. (Прим. авт.)

— Увы, дорогая Хэлен, все советские дети на каникулах. Однако, — еще одна медовая улыбка, — попробую устроить детский сад или пионерский лагерь. Раньше надо было сказать, я бы телекс послал. А может быть, нам уже запланировал такой визит кто-нибудь из местных переводчиков.

— А в какой аэропорт мы едем?

— Во Внуково! — Раздраженный Марк взял микрофон. — Дамы и господа, сообщая интересующимся, что мы отнюдь не возвращаемся в Шереметьево. В Москве целых четыре аэропорта. Заодно могу сказать, что авиатранспорт в СССР — один из самых дешевых в мире, даже в пересчете на зарплату. Например, перелет в Сочи стоит всего двадцать семь рублей, это за полторы тысячи миль, дамы и господа, разве плохо? Полетим мы на реактивном самолете, в воздухе пробудем чуть больше двух часов...

Вдоль шоссе потянулись овраги, рощицы, жиденькие подмосковные поля и луга, темно-зеленые после короткого утреннего дождя. Соврав что-то в микрофон по поводу промелькнувшей разрушенной церкви, Марк закурил и затих, переводя квелый взгляд с одного туриста на другого.

Сочинский рейс задерживался. Марк сдал багаж, зарегистрировал билеты и развалился в кресле, всем видом демонстрируя, что предпочел бы предоставить американцев самим себе. Он знал по опыту, что тосковать клиент начинает, когда самолет опаздывает часа на два-три, а тут был всего час и развлечений выше головы. Был в зале ожидания для иностранцев киоск все той же «Березки», имелся цветной телевизор с удалыми комбайнерами и столик, заваленный бесплатными брошюрками на глянцево́й бумаге, а главное — буфет, где бутерброды с черной икрой, подумать только, продавались за какие-то сорок три копейки. Снова заикнулся профессор о письме, и снова Марк не захотел его взять, только еле приметно кивнул в сторону Хэлен, уже углубившейся в брошюрки, да на слонающихся по залу ожидания двух молодых людей в штатском — может, они, конечно, и не те, за кого принимал их Марк, да береженого Бог бережет. Он уже знал от самого Ивана, что тот получил в подарок пачку восковок и даже ухитрился напоить непьющую Руфь. Услышав же о статье, порученной прозаику, Иван, побледнев, понес околесицу, вроде «предупреждал я, какой негодяй этот твой будущий теть».

— Андрей читал отрывки на твоих семинарах?

— Мои ребята — скала! Да и о самих семинарах чекисты ничего не знают. Яков с Владиком все взяли на себя.

— А кого еще таскали из ваших?

— Всех, кто был на последнем заседании.

— И тебя?

— Меня-то как раз больше других, — неохотно сказал Иван.

— И ты молчал? — поразился Марк.

— Подписку взяли, — промямлил Иван, — но даже не в этом дело... — Иван облизал свои порядком пересохшие губы. — Тяжелая вещь — схватка свободного человека с тайной полицией. Они думают, что вертят мною, как хотят.

— Но зачем ты вообще с ними связался?

— Я путаю им карты, — пояснил Истомин, — дезинформирую, зарабатываю доверие. Направляю по ложным следам. Зарабатываю самому себе свободу действий.

— Сожрут они тебя, Иван, — сказал Марк с неожиданной грустью. — Они все равно сильнее.

— Не так все просто. Серьезнейшая идет игра. Ты, надеюсь, не подозреваешь меня в стукачестве?

— Заткнись!

— Ну и отлично. Вернешься с юга — расскажу побольше.

Он дожевал свою булочку, допил тепловатый кофе с молоком и вышел из переполненной столовой. Торопился на службу и Марк...

А в зале продолжала играть допотопная музыка, и гид-переводчик Соломин, пожалуй, слишком часто встречался взглядом с «туристкой Фогель» — так и не смог заставить себя произносить ее фамилию на англосаксонский манер. Он выведал, что живет она в Нью-Джерси, что отец ее и мать — из перемещенных лиц, ухитрившихся после войны избежать

высылки на родину, в лапы к любителю «Киндзмараули», — во Франции обзавелись дочкой, в двухлетнем возрасте увезли ее в Америку. Узнал Марк, что у заокеанской гостьи имеются муж Билл и четырехлетний сын Максим, по которому она «страшно» соскучилась. О профессии не спрашивал — уходя позавчера из гостиницы «гулять по городу», Клэр держала под мышкой складной мольберт.

— Показала бы что-нибудь.

Она покачала головой.

— Я неважная художница, Марк. У меня славно выходят всякие керамические штуки: пепельницы, тарелки, фигурки. У нас и мастерская в подвале, Билл оборудовал. И расходуется довольно много через один салончик в Нью-Йорке.

— Ты, значит, счастлива, — ни с того ни с сего сказал Марк.

— Будто ты несчастен.

— Я абсолютно счастлив, — заявил он, помолчав. — У меня отличная работа. Я собираюсь жениться на любимой женщине. На свадьбу тесть подарит мне автомобиль. У меня знаменитый брат и куча интересных знакомых. И, может быть, скоро я начну ездить за границу, переводчиком при советских группах. В нашем государстве это знаешь какое веzenie... — Он замолчал, подыскивая в своем скудном запасе знаний об Америке подходящее сравнение. — Ну, скажем, как у вас выиграть «Кадиллак» в телевикторине... или сто тысяч в лотерею...

«Разумеется, дело в языковом барьере, — думал он в зале ожидания аэропорта. — Моя маска дурачка-энтузиаста рассчитана на английский язык... а тут... и вино это проклятое... и нервы...»

— Бездельничаешь?

— И не думаю.

— Чем же ты занят?

— В данный момент — развлекаю назойливую туристку Фогель. Вообще же, как добрый пастырь, сторожу свое стадо. Хочешь, подарю?

Он протянул Клэр невесть зачем захваченную из дома старинную фотототкрытку, раскрашенную выцветшей акварелью, источавшую еле уловимый запах тления. Лет шесть тому назад, кажется, купил он ее в букинистическом на Арбате — и дом тот снесли, и открытка еще больше пожелтела от времени.

— Храм Христа-Спасителя, — сказал он. — Красивое было здание.

— Спасибо. — Она повертела открытку в руках, вежливо всмотрелась. — Почему ты не показал его нам на экскурсии?

— Снесли его, — зевнул Марк, — точнее, взорвали, лет сорок тому назад. Теперь-то на его месте открытый бассейн, а были планы воздвигнуть Дворец Советов — эдакий небоскреб со стометровой скульптурой Ленина на крыше.

— Сколько-сколько метровой?

— Триста тридцать футов, дорогая. Указательный перст, простертый в направлении Кремля, должен был иметь в длину четыре метра. Слава-те, Господи, хоть эта чаша миновала нашу столицу. Ты в Бога-то веришь, миссис Фогель?

— Не знаю. — Клэр взглянула с понятным недоумением. — Я крещеная... и в церковь хожу, только редко...

— Вот и я не знаю, — резюмировал Марк. — Ну, двинули, забирай свою фотку — пора.

Через несколько суматошных минут он уже привычно вводил американцев в огромный пустой Ту-134, рассаживал в первых трех рядах, спеша до прихода оставшихся внизу соотечественников облюбовать местечко и для себя — на отшибе, но и не слишком далеко от клиентов. В салоне стояла душноватая прохлада, поручни кресла со знакомой уверенностью подпирали локти, и подтянутый экипаж с такой внушительностью проследовал в кабину, что Марк невольно — в который раз! — встрепенулся от радостного ожидания. И все же его сморило: когда он открыл глаза, самолет уже стремительно шел на посадку, пробивая слой негустых облаков, — и с тем же трепетом увидал Марк через голову пожилого казаха, которого еще в Москве пустил к иллюминатору, как чешуйчатый блеском сияет расплавленное море, никуда не делись буро-зеленые размытые вер-

шины дальних гор, и по-прежнему праздничен залитый солнцем берег с едва различимыми телами купальщиков.

— Какой море! — с неподдельным восторгом сказал казах. — Первый раз вижу. Шест лет путевка ждал, три раз предлагал, поизжай зимой, личис. Зимой не хотел, лето хотел, море увидеть хотел. Санаторий «Шахтер», двести пяддисят рублей путевка, я семдесят пят платил, остальной местком. Ты тоже туда едиш?

— Я на работе, — улыбался Марк, — переводчик при американцах.

— Интересный работ, — уважительно отмечал казах, — но и трудный работ, хорошо американский язык знат надо...

На аэродроме, в тени самолетного крыла, Марка дожидался Петя — агент Конторы в аэропорту — и молоденькая местная переводчица из практиканток. Он поправил пижонские темные очки, представился, отдал Пете багажные квитанции.

— Сейчас и туристы наши появятся, — покровительственно говорил он, — а покуда давайте программу, Леночка, посмотрим, что вы нам тут приготовили... так-так... обед, свободное время, цирк... ох, в цирк они уже ходили в Москве, не много ли...

Даже на летном поле сквозь асфальтовые испарения пробивались расслабляющие запахи юга — резеда, акация, море. Давешний казах протянул Марку широкую свою лапу в синих порошинках въевшегося угля и затерялся в толпе осаждавших аэрофлотовский автобус, а из самолета уже показывались диковато озирающиеся американцы. Мистер Файф успел когда-то переодеться в украинскую с вышитым воротом рубаху и телерь выглядел, если б не массивные очки в безошибочно западной оправе, вылитым провинциальным секретарем райкома. Миссис Файф была облачена в шорты. Дура Хэлен мгновенно атаковала простодушную Леночку, народ оживился, и только мистер Грин недвижно стоял в отдалении, вдумчиво рассматривая кабину доставившего их в Сочи самолета. Кабина да и сам авиалайнер очень нравились старичку, он достал было фотоаппарат, но, вовремя вспомнив запрет своего сурового гида, со вздохом упрятал его обратно в сумку. Взамен, однако, в руках его появился блокнот в кожаной обложке с тиснеными буквами «Дневник моего увлекательного путешествия» и огрызок карандаша. А вскоре дребезжащий автобус уже уносил группу в Сочи по петляющей дороге между отрогами гор и серой полосой галечного пляжа.

(Продолжение следует.)



Дождемся сентября

* * *

Чем в неоплатный долг друг к другу залезать
да строить корабли из трех дремучих сосен,
дождемся сентября, и да поможет осень
не то чтобы забыть — зажить и зализать.
От солнца пыль столбом, столбы, стволы, колодцы.
Не лес, а колизей, — жаль, что в упадке Рим.
Ну как не надоест остротами колоться?
А лучше помолчим да зренье заострим.
Свобода и покой — и, кто на ком ни висни,
никто тут никому не друг и не родня.
Когда, как не теперь, в наличие вечной жизни
поверить — и начать с сегодняшнего дня!

* * *

Бьется, бьется душа в оболочке.
Кто внушил нам, что жизнь такова?
Кто родил нас, счастливых, в сорочке,
на спине завязав рукава?
Сумасшедшие, нежные, птахи, —
нас недаром хотят разлучить.
Крест, имеющий форму рубахи,
во сто крат тяжелей волочить.

* * *

В том и творчество, и созиданье,
лучших зодчих в него вовлечем:
в аварийном теснясь мирозданье,
потолок подпираем плечом!
Ничего, что поехала крыша,
что лягушки свисают со стен,
что пупочная выпала грыжа
у одной из глобальных систем.
У двужилной, двурогой, двуликой,
чей Иванушка мал да удал...
Ох, не хвастай — беды не накликай, —
той, что сам подпирал и латал!

* * *

Всю мироздания громаду
нет, не спихнули в Котлован!
Я заварю в стакане мяту
да чай по имени Иван.

Мы свежей булкой попируем,
с изюмом — хлебушек глазаст! —
но в сухари запанируем
той,

Божьей, глины
тайный пласт.

Видали мальчиков — калигул —
в цейтнот каникул роковой,
когда наш дружный выпас, выгул
вдруг сам просился под конвой,
когда трещал миропорядок,
ронял кресты и купола
и аккуратных клумб и грядок
у кладбищ видимость была.

* * *

Преддверье осени...

В. С.

Преддверье смерти, а не осени.
Дверь отворяется без скрипа.
Устали целоваться досиня,
в лесу аукаться до хрипа!
Лес состоял из трех — не более —
просторных сосен, тихой двери
и чьей-то вечной монополии
на заблужденья и потери.

* * *

Бабушке — Л. К. Столыпиной.

Чувство дома в крови растворилось.
Мы-то думали — клюквенный сок.
Да посудина сильно кренилась,
столько раз выливала в песок.
Были дюны, и были барханы.
Столько рек моих выпила мель!
Станут рядом — Ахуны, Тарханы, —
но за тридевять канут земель.
Кровь устанет скрипеть и возвращаться,
от немых отодвинется уст.
Никуда не хочу возвращаться!
Отчий дом заколочен и пуст.
Эта ржавая ставня повисла.
Куст малины отполз от крыльца.
Есть ли в завязи капелька смысла?
Жадным пчелам досталась пыльца.
Липким мухам, жукам, скорпионам, —
всяк ползет — и надеется всяк.
Что мне делать во времени оном,
где мой род незаметно иссяк?..
Мой скудельный на части расколот.
Горы, камни, щебенка, песок,
Чувство дома похоже на голод,
но легко затянуть поясок.

Книга о последнем царствовании

Георгий Иванов как прозаик еще не оценен по достоинству. Все лавры, поскольку таковые и выпадали на его долю (вперемежку с терниями), доставались Г. Иванову — поэту. Из его прозаических произведений более известными оказались беллетризованные мемуары «Петербургские зимы» да подвергшийся остракизму (не по этой ли причине — известность) «Распад атома». Отчасти поправила дело книга «Третий Рим», вышедшая в 1987 г. и включившая одноименный забытый роман, несколько рассказов, эссе и около сорока статей и рецензий. Характерно, что по поводу этой книги один маститый литературовед авторитетно, но опрометчиво заверил читателей «Нового русского слова», а затем и «Нового журнала», что эта 380-страничная книга вобрала в себя прозу Г. Иванова, посетовав лишь, что не включен был «Распад атома», между прочим, выдержавший уже три издания. Таков уровень сведений у маститых. Обыкновенный же читатель знает немногим больше. Упомянутый литературовед представил дело так, как будто «Третий Рим» со всем подбором разнообразных материалов свалился на стол издателя в готовом виде, чуть ли не подготовленный самим Г. Ивановым. На самом же деле Г. Иванов так и не собрал воедино всю прозу — отчасти по условиям эмигрантского издательского дела и книжного рынка. А собирать было что: десятки рассказов, десятки статей, десятки мемуарных очерков. Все это в свое время печаталось в периодических изданиях и по этой причине вскоре забывалось. Книга живет и помнится дольше, чем журнал или газета. Но так вышло, что он не сумел издать отдельными книгами ни своих рассказов, ни статей, ни блестящих «Китайских теней», ни «Книги о последнем царствовании».

«Книга о последнем царствовании» была задумана как роман-биография последней российской царицы. Отметим, что глава «Аня Вырубова» в газетной публикации имела подзаголовок: «Из романа-биографии «Царица Александра».

В ходе работы над книгой первоначальный замысел претерпел изменения. Сам жанр романа был взят под сомнение. Речь шла о теме, которая «не влезала» в рамки привычного жанра. Г. Иванов, изучая жизнь царицы, убедился в том, что тут не нужны ни вымышленные персонажи, ни сконструированные сюжетные ходы, ни придуманные драматические коллизии. Сама история в изобилии снабжала и персонажами, и сюжетами, и драматизмом. Требовалась только ясный взгляд и трезвый ум. Вопрос состоял в том, что именно выбирать из груды фактов, а не в нехватке их. Взгляд на состояние империи в годы правления последнего царя оформился уже во время работы над «Третьим Римом». Теперь оставалось взглянуть на страну и эпоху глазами исторического писателя, проследить череду событий, ведущих к катастрофе, и показать психологическую и социальную почву, на которой плодилось и множились могильщики империи... Присутствовал в этом замысле и автобиографический интерес: вся жизнь Г. Иванова до революции хронологически совпала с правлением Николая II. В октябре 1894 г. — воставстве царя на престол; в октябре 1894 г. родился Г. Иванов.

Человеку, знакомому с жизнью и творчеством Г. Иванова, трудно было бы назвать поэта антимонархистом. Некоторое приятие принципа монархии просвечивает и в «Книге о последнем царствовании» (в главе «Коронация Николая II»). Очень человеческое отношение к трагической судьбе царской семьи мы видим в глубоко лирическом стихотворении (1950), вошедшем в последнюю книгу Г. Иванова «1943—1958. Стихи»:

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица,
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Этого пронзительного сочувствия, этой ноги жалости, которая была воспринята от Иннокентия Анненского, в «Книге о последнем царствовании» нет и в помине. В 1933 г.,

когда писалась эта книга, Г. Иванов был моложе, жестче, четче в своих суждениях. Во всяком случае, никакой симпатии к императрице в его книге читатель не найдет. Но мироощущение Г. Иванова вообще трудно связать с какой-нибудь идеологией. Он был прежде всего художник, идеологиями не занимался, хотя, скажем, политические его взгляды были весьма устойчивыми. Например, советский строй он всегда считал губительным для нации.

Тема Николая и Александры всегда волновала Г. Иванова как тема трагедии России. К истории страны он подходит как поэт: в истории он ищет какой-то музыкальный ритм. В данной книге его интересует, как он и сам пишет об этом, «ритм нового царствования». В его представлении скорее психология государственных личностей делает историю, чем история обуславливает человеческую психологию. Его интересует незначительная случайность, которая в процессе истории порой чревата роковыми событиями. Так, кем-то невзначай брошенная фраза «жених и невеста» о юных Николае и Александре может иметь или даже имеет непропорциональные, потрясающие последствия. «Как знать,— пишет Г. Иванов,— не делает ли в эту минуту судьба императорской России под действием неосторожно брошенных слов резкий роковой скачок». Как художника его интересуют малые детали, заряженные электричеством большой силы. Например, в том, как никому не ведомый статистик Клопов в разговоре с Николаем берет царя за пуговицу, раскрывается такая грандиозная панорама нравов, быта и в особенности правового положения в России, что эта деталь заменяет собою целые страницы описаний и рассуждений. Г. Иванов — мастер отыскивать подобные красноречивые и емкие подробности. Иногда это жест, иногда кем-то брошенная фраза, иногда исторический анекдот. И все они так увязаны с огромной темой последнего царствования, что в соответствующем контексте вырастают до размеров подлинных символов.

К несомненным достоинствам книги относятся мастерские психологические характеристики. В царю он видит странную пассивность природы, склонность к химерическим идеям и фантастическим мечтаньям. Склонность к проволочке и абсолютная неговорчивость уживаются в этой трагической личности с «крошечной волей», безволие — с упрямством. С одной стороны, царь в изображении Г. Иванова — воспитаннейший и деликатнейший человек, с другой — в нем видится что-то «жуткое» и в то же время обреченное. В целом же изобразить этот туманный, ускользающий облик, этот несильный и изменчивый характер может только кисть ярко огаренного и опытного художника.

Все же образ Александры более отчетлив. Она застенчива и самолюбива, в ее манерах есть жесткость и надренность, которые с самого начала возмущают против себя великосветскую камарилью. Ее холодная, властная, ко многому равнодушная натура почти инстинктивно хочет подчинить себе неустойчивую волю мужа. Ее болезненно искривленная религиозность ведет к тому, что она постоянно живет в окружении всевозможных прохождений. Это страстный, гордый, не умеющий гнуться характер. Россию она не любит и не понимает. Недостаток любви и понимания, фатальные сами по себе, будучи возведенными на трон, становятся роковыми в масштабе целой страны. Такова в понимании Г. Иванова историческая значимость и значительность этого характера. От окончательных суждений по поводу взглядов автора мы все же воздержимся, ибо повествование в этой книге доведено лишь до начала Русско-японской войны и охватывает, таким образом, только первое десятилетие царствования Николая.

Книга не свободна от нескольких малых неточностей, но в целом она хорошо документирована. Г. Иванов в работе над этим произведением пользовался такими источниками, как письма Александры Федоровны, «Воспоминания» Витге, записки Милицы Николаевны, дневник великого князя Николая Михайловича, мемуары великого князя Александра Михайловича, монография В. И. Гурко «Царь и царица», «Дневник» А. Суворина; использованы были также свидетельства Льва Толстого, Керенского, П. Струве, Дурново, Панкратова и др. и, кроме того, ряд периодических изданий, включая «Правительственный вестник». Но сколь ни важна документированность в произведениях подобного рода, важнейшее достоинство этой книги — художественность.

Как художника Г. Иванова интересует не столько текущая внешняя и внутренняя политика Николая II, сколько поворотные точки истории. В книге даже есть что-то от киносценария для немого фильма. Четко чередуются сцены, большое внимание уделено изобразительному, «зрительному» элементу. Второстепенные характеры показаны очень экономными средствами. Так, например, немногочисленными лаконичными штрихами рисуется выразительный, запоминающийся портрет Александра III.

Г. Иванова привлекает частная подробность, но не любая, а та деталь, через которую легче осмыслить работу целого механизма. Есть подробности, насыщенные особым смыслом. Они как самоцветы среди россыпи камней, не представляющих никакой ценности. Некоторые из этих подробностей (крылатые слова, противоречивые поступки, исторические анекдоты, вещи-символы) лежат на исторической поверхности; их не надо искать, они являются обязательным реквизитом учебников и таким образом общеизвестны. Г. Иванов не вполне пренебрегает ими. Так он, к примеру, приводит общеизвестный ответ Николая во время всероссийской переписи на вопрос о звании и роде занятий: «Хозяин земли русской». Но много чаще такие заряженные недюжинным смыслом слова-символы или образы-символы Г. Иванов разыскивает в россыпи исторических фактов, умея самостоятельно разглядеть символическую ценность тривиального случая. «Он хочет умереть в своей генеральской тужурке», — говорит Г. Иванов об

Александр III, раскрывая только одним этим предложением очень многое в личности императора.

Поэт Г. Иванов не был символистом. Он прошел школу акмеизма, литературного течения, которое возникло в противовес символизму. Но и в «Петербургских зимах», и в романе «Третий Рим», и в своем эссе «Распад атома», и, пожалуй, более всего в «Книге о последнем царствовании» он сознательно ищет образы-символы. По природе своей они отличаются от тех символов, которыми увлекались писатели-символисты. Последние искали символы, связанные с метафизической реальностью. Для Г. Иванова символ — это синтез. Символ предполагает более экономную манеру письма, как алгебра экономнее арифметики. Такой вещью-символом Г. Иванову видится, например, пианино генерала Куропаткина, которое везли через всю Россию на Дальний Восток только для того, чтобы оно было выставлено в токийском музее в качестве военного трофея. Громоозкое пианино, с трудностями доставленное на окраину империи, лучше многих аналитических рассуждений демонстрирует ту глупую и задиристую самоуверенность («шапками закидаем!»), с которой правительство начинало войну с Японией. Столь же символичны, т. е. до краев полны историческим и ироническим смыслом, слова Николая — «укус блохи» — по поводу японской атаки у Порт-Артура. Или еще один образ, выбранный Г. Ивановым из тысяч исторических фактов и возведенный им до уровня символа: икона с колокольчиком, подаренная шарлатаном Филиппом Александре Федоровне. Серебряный колокольчик, по уверению Филиппа, зазвонит, когда к императрице приблизится любой «нехороший человек».

«Книга о последнем царствовании» написана незаурядно опытным и талантливым писателем. Многообразие художественных приемов, которые помогают высветить исторические факты и освободить в них неисчерпанную энергию смысла, просто поражает. Это и оксюморон («с ужасом восторга смотрит Александра на раскрывающуюся перед ней перспективу власти»), и экономный, точно найденный эпитет («миловидный голубоглазый мальчик» — о юном Николае), и игра контрастами (царь и царица, танцующие на балу у французского посла, когда везут покрытые рогожей трупы с Ходынского поля), и прямые авторские характеристики, указывающие на острое художественное видение («версальско-византийский блеск русского двора»), и афоризм («царица падает в пропасть, но ей кажется, что она летит в голубое, с детства снившееся православное небо»), и исторический анекдот (например, слова гессен-дармштадтского придворного о будущей императрице: «Какое счастье, что вы ее от нас берете»), и лаконичная цитата (например, из дневника Александры: «Я въехала в Россию за гробом государя»), и часто встречающаяся ирония («розы, доставленные из Ниццы, не пропали», — говорит Г. Иванов о бале во французском посольстве, так как на бал ожидались высокие гости непосредственно после ходынской трагедии). Многообразие литературных приемов придает какую-то особенную живость этому историческому эссе Георгия Иванова. Историческое эссе — не часто встречающийся жанр в русской литературе, и Г. Иванов шел в этом своем произведении по непроторенному пути.

Вадим КРЕЙД

За гробом Александра III

Октябрь 1894 года в Крыму восхитителен. Горячее солнце, спокойное море, розы. На этом сияющем фоне грузный и одутловатый, покорный судьбе умирает Александр III.

Он мало изменился за время болезни. Только и без того толстые ноги безобразно опухли да лицо стало серо-желтым, как та чудодейственная кашка, которую он и прикладывает к своему ноющему боку по совету отца Иоанна Кронштадтского.

Предписания докторов Александр III не желает исполнять. Его презрение к медицине непреодолимо: за него он и расплачивается преждевременной смертью (1). Летом консилиум, подвергнуться которому его удалось уговорить, определил нефрит и потребовал, чтоб царь немедленно ехал на юг: отдых, режим, ни глотка водки. Выслушав с хитрой усмешкой чуть не плачущего преданного Захарьина и деловито чопорного, боящегося потерять свое демократическое достоинство берлинского профессора Лейдена, Александр III вместо юга отправляется на лагерный сбор, а оттуда — охотиться в Беловеж и Спалу. Заодно из Абастумана — тоже, должно быть, наперекор глупым докторским выдумкам — выписывается в Беловеж второй сын его — Георгий, безнадежно больной туберкулезом.

Сначала все идет хорошо. Александр действительно поправляется в родной ему стихии, среди егерей, собак, уложенной метками царскими выстрелами дичи, обильных закусок на открытом воздухе с подогретым бургундским и холодной водкой из вместительной серебряной чарки. Щеки царя начинают розоветь, желчная складка у рта разглаживается. Но

в тот момент, когда он считает себя окончательно выздоровевшим, с ним делается страшная рвота и такие боли, что, обессиленный, подавленный и смущенный, он только стонет, когда его закутывают в пледы, укладывают на носилки и сажают в поезд, увозящий его в Крым.

Черноморская эскадра, выстроившись на севастопольском рейде, салютует императору, которому осталось жить ровно один месяц. Догадывается ли он, что умрет так скоро? Вряд ли... Но умный — хотя и плоским умом человек — Александр не строит себе иллюзий, умирая, как не строил их в жизни. Дело плохо — и он сознает это. Смерть неизбежна — значит нужно покориться.

«Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать». Автор этой знаменитой фразы, в которой ограниченность и подлинное величие перемешаны в равных частях, желает в бозе почить в том же традиционном стиле. Поменьше докторов, но пусть вызовут отца Иоанна Кронштадтского и через синод дадут приказ служить молебны о здравии по всей России. Еще надо поторопиться со свадьбой наследника: в Англию телеграфируют принцессе Алисе Гессенской. Царь спокойно обсуждает с цесаревичем Николаем подробности его будущего восшествия на престол и не соглашается, хотя тело у него болит и слабость все увеличивается, вместо тяжелой форменной одежды надеть удобный халат. Он хочет умереть в своей серой генеральской тужурке.

Воздух Крыма и морфий делают свое успокоительное дело: умирающий царь не очень страдает. Во всяком случае, страдает не настолько, чтобы боль заставила его утратить хоть частицу того непрерываемого достоинства, с которым он делал все: правил государством, молился Богу, говорил свое царское грузное спасибо, даже надевал сапоги, даже парился в бане. В этом достоинстве скрыта большая сила не столько нравственного, сколько физического порядка. Этот человек честен, тверд, нелицеприятен, но прежде всего он груб и прост. Груб и прост, как та земля, в которую он теперь собирается отойти.

Часами в Ливадии играет полковая музыка, и часами в шезлонге, с закутанными отеками ногами, закрыв глаза, слушает Александр преобращенские марши и польки-мазурки. Это его последнее развлечение.

Эти солнечные ясные дни, предшествующие смерти его отца, для цесаревича Николая — дни торжества, личного счастья. Со дня на день его невеста должна приехать в Ливадию.

В Алису Гессенскую цесаревич влюблен уже несколько лет. Три года тому назад он записывает в дневнике: «Моя мечта — когда-либо жениться на Алисе Г. Я давно ее люблю».

Но тогда это была только безнадежная мечта. Ни Александру III, ни особенно Марии Федоровне Алиса решительно не нравится. Мысль об этом браке сначала встречает у родителей некоторое сочувствие, но после знакомства с кандидаткой решительно и бесспорно оставляется. В 1889 году принцессу приглашают в Петергоф. Она гостит в царской семье. За нею наблюдают, к ней присматриваются. Результат этих наблюдений такой: когда на следующий год принцесса Алиса снова приедет на лето в подмосковное имение своей старшей сестры, наследнику запретят с ней даже увидеться. «Боже, как мне хочется поехать в Ильинское, — записывает он, — разрешат ли мне съездить туда после маневров?» Нет, ни до маневров, ни после съездить в Ильинское ему не разрешат.

Чувство наследника к принцессе Алисе серьезно, но бороться за него он не умеет. Во-первых, он боится отца и не может ему противоречить; во-вторых, странная пассивность натуры, которая так ярко проявится во всем его царствовании, вплоть до отречения и страшного конца, видна и здесь. Он очень хочет жениться на девушке, в которую влюблен; по его собственным словам, мысль о ней «задевает самую живую струну души», но когда мать заговаривает с ним о женитьбе на другой, он выслушивает ее, не возражая. Даже наедине с самим собой он не находит по этому поводу более выразительных слов, чем следующие: «Самому хочется идти в другую сторону, а, по-видимому, мама желает, чтобы я следовал по этой. Что будет?»

Будет то, чего ни он, ни Алиса Гессенская не могут предвидеть. Перед лицом неизбежной, могущей наступить каждую минуту смерти государя люди, близкие к престолу, приходят в тревогу при мысли, что наследник не только не женат, но еще, не получая согласия на брак, сошелся с балериной Кшесинской, и эта даровитая, властная и ловкая женщина без труда забирает его в руки (2).

Об опасной связи сына узнает Мария Федоровна и, преодолевая неприязнь, внушаемую ей будущей невесткой, склоняет Александра III согласиться на этот брак. При посредстве великого князя Михаила Николаевича осторожно ведутся семейные дипломатические переговоры, и вскоре цесаревич с пышной свитой, в сопровождении двух великих князей едет на яхте «Полярная звезда» в Англию делать предложение, которое заранее принято.

Три месяца спустя гессенская принцесса официальной невестой прибывает в Россию. Депутациями, цветами, колокольным звоном встречают ту, которая еще недавно в этой стране считалась нежеланной гостьей, чуть ли не интриганкой. Едва переехав русскую границу, принцесса Алиса делает жест, в котором ясно видна будущая Александра Федоровна, императрица всероссийская. Она хочет, чтобы над ней был сейчас же совершен обряд миропомазания.

Принцесса Алиса четырнадцатилетней девочкой впервые попадает в Зимний дворец на великолепный придворный бал. Ее недавно привезли в Петербург, и она со всей страстностью своей уже не вполне детской души очарована и подавлена возникшим перед ней лубочно-ослепительным видением самодержавной России. Весь этот версальско-византийский блеск внушительен сам по себе, но в глазах принцессы Алисы он утысячается при мысли, что все это великолепие и мощь находятся безраздельно в руках одного повелителя. С ужасом восторга она смотрит на проплывающую по залам грузную фигуру русского царя, в которой безраздельно заключена вся власть над шестой частью света.

И вот на этом придворном балу, куда ее привозит старшая сестра, великая княгиня Елизавета Федоровна, принцессу Алису знакомят с ее шестнадцатилетним троюродным братом. Миловидный голубоглазый мальчик начинает ухаживать за нею. Этот ребяческий флирт замечают взрослые. Над юной парой посмеиваются, кто-то произносит даже: жених и невеста. Говорящий эти слова, конечно, не придает им никакого значения. Но как знать, не делает ли в эту минуту судьба императорской России под действием неосторожно брошенных слов резкий роковой скачок, круто заворачивая к гибели?

Жених и невеста! Четырнадцатилетняя гессенская принцесса возвращается, как в чад, домой. Этот синеглазый мальчик, который с нею танцевал и приносил ей оршад, — цесаревич Николай, наследник русского престола. Жених и невеста! Он ухаживал за ней, он сказал: «Я вас никогда не забуду». Вдруг они станут на самом деле невестой и женихом, женой и мужем, земными богами в этом царстве снега, церковей, певучего православного пения, льстивой раззолоченной свиты и ста пятидесяти миллионов добрых, бородатых, верноподанных мужиков?

Но надо уезжать в Англию, и принцесса Алиса уезжает.

Принцесса Алиса — сирота и воспитывается у бабушки, королевы Виктории. Положение приемьща почти всегда нелегко. Но для нее житье на чужих, хотя бы и королевских хлебах, гораздо тяжелее, чем это могло бы быть для обыкновенной уравновешенной девочки в ее положении. У Алисы гордый, страстный, повелительный, не умеющий гнуться характер. Мужских черт в нем гораздо больше, чем женских. Но есть в нем и одна черта специфически женская, действие которой болезненно видоизменяет все остальные. Эта черта — истерия (3).

В жизни принцессы Алисы Гессенской при английском дворе нет решительно ничего такого, что могло бы мучить человека, тем более подростка, относящегося к окружающему с большей простотой. К ней так же внимательны, как и к ее английским кузинам, ее воспитывают совершенно на равной с ними ноге, так же одевают, учат, кормят, возят в те же театры

и выказывают то же уважение. Но во всем этом для Алисы заключен только лишний источник уколов самолюбия и обид. Она хмуро кивает, когда часовой в медвежьей шапке берет перед нею на караул: эти почести принадлежат не ей, ее могут их лишить по случайному капризу каждую минуту. Выезжая с королевской семьей и слушая приветствия толпы, она твердо помнит, что к ней эти приветствия не относятся. Во всем ей чудится нестерпимый оттенок неравенства, покровительствующих и покровительствуемой, знатных родственников к бедной сироте, гордых членов английского королевского дома и ничтожной гессен-дармштадтской принцессе, отец которой пресмыкается перед Бисмарком.

Между тем в тайных своих мыслях она, расценивая окружающее, относится к нему скорее свысока, чем снизу вверх. Оно кажется ей мало импозантным, ущемленным, совсем не таким, какова должна быть настоящая королевская власть. Все это в глазах Алисы только пышное бесилие, только форма, утратившая содержание. Король который раз в три или четыре года отправляется в средневековой карете в парламент и читает там не им сочиненную и не подлежащую его критике речь. Остальное время он может играть в бозик или коллекционировать марки: единственное его обязательство по отношению к стране — не вмешиваться в ее дела. Как далеко все это от мистического идеала благой и безграничной власти, о которой Алиса с трепетом слышала от матери и которой не существует больше на земле!

И вдруг оказывается, что идеал существует. В образе синеглазого недовского мальчика, затянутого в узкий мундир; он поцеловал ей руку и сказал: «Я вас никогда не забуду». Сотни свечей сияли в малахитной зале, оркестр гремел, пары кружились в вальсе, и старый великий князь, полусмеясь, полусерьезно сказал: жених и невеста. А за черными окнами в бесконечных снегах на коленях ждет Россия.

Когда королева Виктория узнает о симпатии, вызванной Алисой у наследника русского престола, она сейчас же загорается мыслью устроить этот брак. Лучшей партии невозможно желать. Но время королевы Виктории движется медленно, ее решения принимаются неторопливо, с прохладцей, каждый шаг тщательно взвешивается. И при этом Алиса еще так молода. Словом, пять лет проходят в переписке с семьей, передаче через нее приветов будущему жениху и обратно, в мечтах, чтении книжек о России, разговорах с бабушкой и распространением этой последней в свете и при иностранных дворах осторожных слухов о возможной помолвке. Последнее, ни к чему не обязывая, может принести пользу: люди, привыкнув о чем-нибудь слышать, свыкаются со слухами, как с фактом.

Пять лет проходят в такой подготовке почвы, но вот они прошли, и положение все-таки неопределенно. Между тем Алисе уже девятнадцать лет (4). Цесаревичу Николаю могут найти не сегодня-завтра другую невесту. И королева Виктория решает действовать.

Она отправляет в Петербург письмо, которое, вероятно, ей кажется очень хитрым и ловким. Королева Виктория спрашивает прямо: не понравилась ли ее внучка во время пребывания своего в России кому-нибудь из членов императорской фамилии? Она, Виктория, хотела бы об этом знать, чтобы в качестве опекуни подготовить ее к принятию православия, к чему, подчеркивает она, стремится принцесса, любившая все русское.

На это наивное письмо получается ядовитый ответ. Нет, об увлечении принцессой Алисой в Петербурге ничего не слышно. Если и были какие-нибудь детские чувства, то они бесследно забыты. Что же касается до принятия православия, то это превосходное дело очень радует государыню и государя, но зависит от сердца самой принцессы и воли ее царственной опекуни.

Проходят еще три года. Сколько обжигающих душу слез оскорбленной гордости пролито принцессой Алисой — знают только пестрые кретоновые стены ее девичьей спальни. Впрочем, как она ни скрытна, как ни тверда ее воля, у нее тогда вырываются и доходят до нас слова, рисующие ее душевное состояние: «Я ненавижу его, — говорит она о цесаревиче Николае. И добавляет: — Русские все одинаковы. В их засыпанной снегом стране нет ни естественности, ни чести».

Через год она станет русской императрицей.

С утра 20 октября Александр III задыхался. Вскоре его тяжелое тело начинают сводить предсмертные судороги. У красного плюшевого кресла, в котором он лежит, бледные и ошеломленные толпятся его близкие. Каждый свытас с мыслью о неизбежности конца, и все-таки каждый поражен, что этот конец наступает. Шторы опущены, но бьющее в окна солнце то там, то здесь прорезает воздух, которым трудно дышать: таким он вдруг сделался душным. Иоанн Кронштадтский одной рукой поддерживает голову царя, другой, дрожащей, водит у его рта, и над ней то вспыхивает, то пропадает яркий солнечный зайчик: это лжица со Св. Дарами.

Пока Александр III доживает последние минуты, рядом, в походной канцелярии, бойкий писарь выводит на веленом листе: «Божией попешествующей милостию мы, Николай Второй...» — заранее заготовленный манифест о восшествии на престол. В 2 ч. 15 м. дня черно-желтый императорский штандарт тихо опускается над Ливадийским дворцом в знак того, что сердце царя остановилось, а в четыре на площади перед Малой церковью протопресвитер Янышев уже приводит к присяге царскую фамилию, двор и войска.

Двадцатидвухлетнее царствование императора Николая II началось.

По мрачной традиции, преследующей русских царей, бальзамирование не удается. Тело начинает разлагаться с удручающей быстротой. Так как покойник — царь, не только нельзя его спешно похоронить, но даже нельзя запасть гроб. Москва и Петербург, императорская фамилия и двор, министры и иностранные послы, все, кто знал этого человека здоровым и всемогущим, непременно должны увидеть его в униженном бессилии смерти. Казалось бы, естественнее всего по крайней мере поторопиться с отъездом и с церемонией похорон. Но Александр III, обложенный камфорой и льдом, лежит в гробу, а в Ливадии идут странные споры, где делать свадьбу, здесь или в Петербурге. Николай II желал бы венчаться немедленно, «пока еще дорогой папа под крышей дома», и Мария Федоровна готова с ним согласиться, но другие, особенно великий князь Владимир (5), решительно против. Каждый предлагает свое решение, и никто не умеет его отстоять. Это состязание предрассудков, упрямства и нерешительности длится целую неделю. Только два человека из находящихся в Ливадийском дворце могли бы сразу принять независимое решение и последовать ему, не обращая внимания на других. Но один из них — труп, а другая — принцесса Алиса, — не вмешиваясь ни во что, молчит.

Наконец, споры кончены: свадьба будет в Петербурге. Мертвого царя поднимают на броненосец и кладут под тентом из андреевского флага. В Севастополе гроб переносят в траурный поезд. Его пускают впереди того, в котором едет Николай II. Ложным царским поездом, который из предосторожности обыкновенно отправляют впереди настоящего, служит на этот раз настоящий царский... только с мертвым царем.

Петербург встречает гнилой оттепелью. На Невском, когда выносят гроб, молодой щеголеватый ротмистр командует своему эскадрону: «Смирно, смотреть веселей!» Один сановник спрашивает у другого: «Кто этот дурак?» Тот не знает, но время ответит за него. Это будущий диктатор. Трепов (6). Впоследствии так же, кстати, лихо и непринужденно он скомандует на всю Россию: «Патронов не жалеть».

Войска стоят смирно и смотрят весело. За их ровными шпалерами, навалившись друг на друга, стоит серая бесчисленная толпа. Как она стоит, навтыжку или вольно, как смотрит, весело, грустно или враждебно, в мутном воздухе петербургского утра трудно разобрать. Сквозь серый туман, делающий одинаковыми все лица, кажется, что она смотрит равнодушно.

Ровно две недели спустя в той же малахитной зале Зимнего дворца, где когда-то шестнадцатилетний цесаревич признался в любви своей кузине, принцессе Алису торжественно одевают к венцу. Царь ждет рядом в арабской комнате. Он надел свой любимый лейб-гусарский мундир. Он счастлив и радостно озабочен. Но вот что испытывает она:

«Я въехала в Россию за гробом государя. Длинное путешествие через всю страну и панихида за панихидой. Я холодела от робости, одиноче-

ства и непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид, только на меня надели белое платье».

После свадебной церемонии новобрачные в карете с форейторами и русской упряжью едут в Казанский собор (7). Царь, сияя, отвечает на приветствия. Красивое лицо новой государыни, которую с любопытством рассматривают все, кажется надменным и злым. И в народе то там, то здесь хмуро шепчут о ней то, что думает она сама:

— Пришла влед за гробом...

Предшественник Распутина

Появление Низьера-Вашоля Филиппа при русском дворе производит действие химического реактива, брошенного в бесцветную жидкость. Бледная ткань нового царствования от прикосновения не совсем чистых рук этого заезжего шарлатана сразу ярко окрашивается таким характерным болезненным отблеском, который отныне будет все возрастать.

Роль этого предшественника Распутина одновременно ничтожная и роковая. Он видит не дальше генеральских эполет, которые рассчитывает получить за свои «услуги» самодержавию. Он их и получит. Какой ценой и кто за его эполеты заплатит, это Филиппа не касается, да он и не догадывается об этом.

Граф Муравьев-Амурский (1) — русский военный агент во Франции — попадает однажды на сеанс некоего «отца Филиппа», спирита и гипнотизера, популярного в парижских роялистских кругах. «Отец» Филипп, сын лионского мясника и в молодости сам мясник, коротконогий человек с брюшком и косым разрезом черных глаз, лечит, вызывает духов и дает разорившимся аристократам советы, как поправить дела биржевой игрой. Советы его порой удачны, и ловкие магические опыты производят впечатление: кроме проворства рук, отец Филипп обладает и большой гипнотической силой (2).

Сеанс, на котором присутствует граф Муравьев-Амурский, происходит в день смерти Людовика XVI. Филипп обещает показать своим приглашенным последние минуты казни.

Старые герцогини и экзальтированные барышни из квартала Сен-Жермен рассаживаются в задрапированной черным комнате, где так накурено амброй, что трудно дышать. Бравый граф Муравьев про себя вздыхает: зачем он сюда пришел? Ему жарко, неудобно, стеганое будуарное кресло, на которое его усадили, слишком для него низко. Но сейчас он забудет и о скуке и о неудобном кресле.

...Отрубленная голова Людовика XVI появляется в воздухе. Сперва как туманное светящееся пятно, потом во всех отталкивающих подробностях реальной картины. На потном лбу пульсирует черная жилка, лиловые закрытые веки подергиваются, и кровь несчастного короля тяжелыми каплями летит с обрубка шеи в предвечную ночь, откуда она появилась.

Когда сеанс кончен и свет зажжен, отец Филипп должен сейчас же вспомнить о своем искусстве врача: половина присутствующих близка к обмороку. Нервы графа Муравьева крепки, и в горьковатых успокоительных каплях он не нуждается, но воображение его, очень склонное ко всему таинственному, потрясено. Вскоре, встретившись с гостящей во Франции великой княгиней Милицей Николаевной, одной из «черногорок», страстной спириткой, граф Муравьев в таких ярких красках опишет ей все виденное, что та в свою очередь пожелает познакомиться с Филиппом. Разговор, который они поведут, коснется, между прочим, большого для русской императорской четы вопроса о рождении наследника. «Я могу этому помочь», — авторитетно заявил Филипп. С этого дня начинается его карьера в России.

И с Филиппом, и после — всегда происходит одно и то же. Императрица Александра Федоровна сама не ищет встреч с проходимцами и юридическими, которыми, начиная с 1899 года, она постоянно окружена. Ей услужливо подсовывают их другие, хорошо знающие природу государыни: холодная, властная, равнодушная к людям «трехмерным» независимо от

их сердца, обаяния и ума — она неизменно попадает под влияние каждого, в ком ей чудится «мистика», «четвертое измерение».

Великая княгиня Милица, вернувшись в Петербург, вскоре выписывает туда и Филиппа. Филипп соглашается тем более охотно, что его за незаконную медицинскую практику преследует французская полиция и ему грозит тюрьма. Перед тем, как ехать в Россию, он наскоро запасается сведениями о великой северной стране, где ему придется действовать. (Как именно — он еще сам не знает, но такой пустяк не может его смутить.) Без особого труда Филипп составляет себе грубую схему «святой Руси», страны снегов, православия и неограниченной царской власти. За справками он обращается, между прочим, к филеру русской службы, с которым свел когда-то знакомство в полицейском ресторанчике около Шатле. Филипп узнает от сыщика многое, что ему на первых порах очень пригодится, но его приятель, дружески распрощавшись с Филиппом и пожелав ему успеха, не забудет доложить об этом разговоре своему шефу. И раньше, чем Филипп переедет русскую границу, дело о нем, пополненное разными фактами его сомнительной биографии, заимствованными из справок Сюрте Женераль, будет лежать на столе Рачковского.

Рачковский (3) занимает пост начальника секретной заграничной полиции еще со времен Александра III и считается незаменимым благодаря своим связям и опыту. Его, однако, уволят — и крайне грубо, — когда в ответ на запрос из Петербурга он ответит о Филиппе как о шарлатане, мошеннике и искателе приключений.

Министр внутренних дел Сипягин, лучше знающий двор, прочтя его доклад, говорит: «Бросьте это в камин», но Рачковский не слушается разумного совета (4). Он еще не понимает, как можно, имея о деятельности Филиппа точные агентурные справки, иначе о нем отзываться и как такая, основанная на непреложных фактах аттестация может повредить карьере заслуженного полицейского чиновника. За свою нечуткость он и платится отставкой. Надо лучше вслушиваться в ритм нового царствования, чтобы преуспевать при нем, а ритм этот совсем особенный.

Но Рачковский не должен обижаться на судьбу: он еще сообразит, в чем дело, и выплывет на поверхность. Другие почище его и понужней для России будут ломать себе шею на том же препятствии поочередно, пока очередь наконец не доберется до своего логического конца — до двух гордо изогнутых орлиных шей герба русской державы.

Когда придворная карета с кучером в пурпуровой пелерине привозит Филиппа в Петергоф и сын мясника, которого на родине хотят посадить в тюрьму, входит в комнату, где его ждет русская императрица, — спина его готова раболопно изогнуться и язык подобострастно залепетать. Но верный инстинкт подсказывает Филиппу, что здесь от него ждут другого.

Страстное религиозное чувство царицы с детства болезненно искривлено. Кровь прабабки, святой Елизаветы Венгерской, жжет ее вены лунным огнем мистицизма. Одиночество, гордость, истерия, страх захлестывают ее со всех сторон. Она хочет иметь наследника, хочет подчинить себе колеблющуюся между влиянием матери и жены неустойчивую волю мужа, хочет найти в потустороннем отсутствующую в жизни опору. От Филиппа требуется немного: только не разрушать иллюзий, которыми живет она.

Филипп входит, мягко ступая, кланяется императрице почтительно, но свободно, как человек, стоящий выше земной суеты, смотрит в ее прекрасное взволнованное лицо косо-разрезанными умными черными глазами, и глаза его говорят: «Я знаю твою печаль. Я ее утолю».

Ловкий импровизатор, он на ходу сочиняет пьесу и тут же начинает ее разыгрывать. При его умении обращаться с впечатлительными людьми это совсем не трудно.

Слустя пятнадцать лет Распутин открыто ездит в Царское Село, хотя Александре Федоровне известно, какое негодование даже у самых преданных престолу людей вызывают эти визиты и какую тень бросают они на Царскосельский дворец. Но тогда царица уже сделала выбор между тем, что ей дорого и что ненавистно, важно или презренно, и уже не считается ни с чем другим. Совсем иначе она смотрит на вещи в начале той низводящей лестницы, где Филипп — одна из первых ступеней, а Распутин — пред-

последняя. Она выказывает величайшую осторожность, прямо конспирацию, окружает сношения с Филиппом тайной и, несмотря на это, а может быть, и благодаря этому достигает обратного результата. О Филиппе вскоре начинают шептаться при дворе, в Петербурге, потом и по всей России.

Все, что происходит при дворе, немедленно становится известно в императорском Яхт-клубе. Это вполне понятно. Большинство придворных состоят членами знаменитого аристократического собрания, основанного еще при Николае I. Удивительно другое: дворцовые новости, касающиеся императрицы, побывав в комфортабельных клубных покоях, неизменно выходят оттуда приправленные острым соусом клеветы (5).

Процедура этого несложна. Днем Филипп побывал у императрицы. Вечером любой кавалергардский ротмистр в бильярдной, за ужином или за картами слышит и обсуждает подробности этого свиданья, а на рассвете, когда господа уехали и лакеи распахивают окна, по Петербургу с дымом выкуренных сигар и дыханьем недопитого шампанского уже распространяется сплетня.

Великосветская оппозиция Александре Федоровне возникает сама собой, едва она становится женой императора Николая. Молодая государыня не предпринимает ничего, чтобы понравиться своему новому окружению. Она так же застенчива (6), как самолюбива, и голова ее сильно кружится от сознания неслыханной высоты, на которую она вознеслась. Это головокружение — оно останется навсегда — заставляет ее преувеличивать даже такие вещи, которые, казалось бы, в преувеличении не нуждаются, — например, понятие о престиже русского царя, о пределах его самодержавной власти.

«Дорогая моя девочка, — пишет ей королева Виктория, до которой дошли слухи, что отношения между ее внучкой и петербургским светом натянуты и холодны. — Воображаю, сколько ты испытываешь затруднений с тех пор, как стала царицей. Я царствую сорок лет в стране, которую знаю с детства, и все-таки каждый день задумываюсь над вопросом, как мне сохранить привязанность моих подданных. А тебе приходится завоевывать любовь и уважение совсем чужих людей. Но как это ни трудно — помни, это твой долг».

«Вы ошибаетесь, бабушка, — отвечает Александра Федоровна. — Россия не Англия. Царь не должен завоевывать любви народа — народ и так боготворит царей. Что же до петербургского света, это такая величина, которой вполне можно пренебречь. Мнение этих людей не имеет никакого значения. Их природная черта — зубоскальство, с которым так же тщетно бороться, как бессмысленно с ним считаться (7)».

Голова кружится, однако, не у одной Александры Федоровны. Головокружением — врожденным или благоприобретенным — страдают и те, о которых она отзывается с таким холодным пренебрежением. «Эти люди» — все, кто по праву или по игре случая попал за золотую черту, отделяющую двор от остальной России, мужицкой или княжеской, верноподданной или революционной, очень капризны, очень избалованы и совсем не склонны рассматривать себя как зубоскалов, мнением которых кто-либо, хотя бы и императрица, может безнаказанно пренебречь.

Нельзя сказать, чтобы они особенно преувеличивали свой вес. В обстановке абсолютной монархии право запросто завтракать с самодержцем много важнее права всеподданнейшего доклада. Витте очень трудно отстоять перед царем свое мнение, но нет ничего легче, как на охоте или за рюмкой ликера внушить благодушно настроенному монарху мысль, что Витте пора прогнать. Преувеличенное представление Александры Федоровны о том, что «царь все может», на которое она, как на скалу, опирается и которое изо всех сил старается внушить мужу, — курьезным образом обращается и против нее самой. «Царь все может», — с этим согласны и ее враги. Царь может все, даже если ему заблагорассудится... губить монархию (8).

В Яхт-клубе и казармах конной гвардии, в великокняжеских дворцах и Аничковом идут недоброжелательные толки о молодой царице.

Вспоминают недавнюю обидную роль приехавшей на смотрины и забракованной невесты. Разбирают каждое слово «немки», каждый ее жест. Смеются над ее красным бархатным платьем с не изящной берлинской вы-

шивкой. Рассказывают анекдот о горничной, которую княгине Белосельской пришлось прогнать: так дурно от нее пахло трехрублевой «Вербеной» — любимыми духами императрицы. Передают со слов барона Остен-Сакена, резидента при гессен-дармштадтском дворе, фразу старого гессенского гофмаршала: «Какое счастье, что вы ее берете от нас» (9). Сравнивают, наконец, жесткую и надменную манеру новой государыни с простотой и ласковостью Марии Федоровны, которая с тех пор, как ей пришлось отодвинуться на второй план, стала еще приветливее и проще. Однако все это, давая пищу для «зубоскальства», еще слишком мелко, чтобы обосновать ту ненависть, о которой впоследствии в лицо царице заявит великая княгиня Мария Павловна, сказав ей: «la société vous déteste». Раздражение уязвленной в своем достоинстве камарильи надо еще подкормить чем-нибудь основательным. И вот появляется Филипп.

Тайна, оружающая сношения с Филиппом, приносит мало пользы и очень много вреда. Чем плотней шторы, опущенные на окнах комнаты, где Филипп встречается с императрицей, — тем фантастичнее силуэты, рисующиеся на них снаружи. Чем тише ведутся разговоры, тем сильнее разыгрывается воображение тех, кто подслушивает у дверей.

Надо, однако, быть справедливым к сплетникам. Они только расцвечивают красками узор, который дан действительностью, и если они придерживаются игривых пошлых оттенков там, где на самом деле грозные тона нарастающего душевного иступления, — это потому, что они иначе не могут себе объяснить странные события, происходящие перед их глазами. События же в самом деле странные.

В имени великого князя Петра Николаевича (10), мужа Милицы, расположенном рядом с царским именем Александрия, происходят спиритические сеансы. Материализованная тень Александра III дает наставления, как управлять государством, и обещает царице, что у нее родится наследник, если она будет во всем слушаться «боговдохновенного пророка» Филиппа.

Протоколы этих сеансов тщательно прячутся и впоследствии будут уничтожены, но истории все-таки удастся бросить мимолетный взгляд в полумертвую комнату дома, в котором они происходят. Мы увидим Филиппа, погруженного в транс, и вокруг него спиритическую цепь соединенных рук. Цепь держат государыня, Николай II, великие Милица и Анастасия, дочь Филиппа, некая мадам Лаланд, и уланский полковник Александр Орлов (11).

Сохранилось несколько записей по-французски, сделанных рукой Милицы Николаевны. Вперемежку с туманными политическими «предсказаниями»: «Англию ожидает война», «Витте сеет беспокойство» «духи» настойчиво, на все лады повторяют, что «после неудавшейся попытки Христа спасти мир» на землю послан новый мессия. Указаний, какое отношение к этому «новому мессии» имеет сам Филипп, в дошедших до нас отрывках нет, зато есть такая красноречивая запись: «Рачковский. Небо определенно требует отставки».

Филипп очень быстро входит в исключительное доверие царицы. Сына лионского мясника величают в царской семье не иначе, как «учителем» или «нашим святым другом». Он дает советы в области внешней и внутренней политики, хлопочет о привлечении Италии к русско-французскому союзу и предлагает переженить студентов и курсисток, чтобы «семейные заботы отвлекли их от революции». По мере того, как влияние проходимца крепнет, аппетиты его растут. Он дарит царице икону с колокольчиком, — колокольчик, по уверению Филиппа, начнет звонить, если к трону приблизится дурной человек, — и просит взамен пустяка... диплом французского врача (12).

По приказу из Петербурга посол князь Урусов (13) возбуждает в Париже это странное ходатайство. Он поддерживает его так настойчиво, что французский кабинет собирается на экстренное заседание для решения этого вопроса. Президент Лубе и министры искренно хотя и удовлетворить каприз могущественного союзника Франции, но при всем желании сделать этого не могут: те же справки Сюртэ, которыми пользовался Рачковский, лежат перед ними, красноречиво свидетельствуя, что такое Филипп. В Петербург отправляется пересыпанный любезностями и ссылками на законы и палату депутатов отказ.

Тогда, чтобы утешить Филиппа, уже видевшего себя помахивающим заветным дипломом перед носом уничтоженного и ошеломленного, причинив-

шего ему столько неприятностей префекта французской полиции, — Филиппу устраивают сюрприз. Тайком по мерке коротконового и с брюшком «Боговдохновенного пророка» заказывается форма русского военного врача. В боковой карман мундира кладут бумажник с документами на чин действительного статского советника и звание доктора медицины Петербургской военно-медицинской академии. Проснувшись однажды утром, Филипп не найдет своего мешковатого черного костюма, который он, ложась спать, с французской аккуратностью развесил на спинке стула. Вместо него сияют новенькие галуны, блестящие пуговицы, малиновые генеральские лампасы, жирное золото эполет. То, чего не могли в течение долгих месяцев сделать bestолковые республиканские министры, устроено в несколько дней в порядке высочайшего повеления. На собственном примере Филипп может убедиться, что императрица не преувеличивает, говоря: «L'empereur peut faire qu'il veut» — царь все может.

В марте 1902 года великий князь Владимир узнает от Александры Федоровны, что она в начале августа ждет родов. Некоторое время спустя великий князь, встретив лейб-акушера Отта, заговаривает с ним о беременности царицы. На лице Отта изумление.

...Государь по интригам двух черногорок (Милицы и Станы) попал в руки подозрительного авантюриста Филиппа, которому, не говоря о других его проделках, мы обязаны постыдным приключением императрицыных лже-родов. Путем гипнотизирования Филипп уверил ее, что она беременна. Поддаваясь таким уверениям, она отказалась от свидания со своими врачами, а в середине августа призвала лейб-акушера лишь для того, чтобы спросить, почему она внезапно стала худеть. Тот сейчас же заявил ей, что она ничуть не беременна. Объявление об этом было сделано в «Правительственном вестнике» весьма bestолково, так, что во всех классах населения распространились самые нелепые слухи, как например, что императрица родила «урода с рогами, которого пришлось придушить».

Это записывает в дневник родовитый барин, член государственного совета, председатель Императорского исторического общества, человек пожилой, сдержанный и настолько консервативно настроенный, что сомневается, «можно ли подать руку» князю Вяземскому, вся вина которого состоит в том, что во время избития студентов на Казанской площади он обратился к полиции с протестом. Что ж тогда говорят в Яхт-клубе и казармах конной гвардии, в посольствах и при иностранных дворах, в Петербурге и Москве, и в каком виде доходят эти слухи до глубины России, «вековая тишина» которой уже потревожена первыми громами приближающейся революции?

Думают ли оба вообще? Вряд ли. Она отнеслась к случившемуся с кажим-то сомнамбулическим равнодушием. Она не гневается на Филиппа и как будто не меняет своего отношения к нему. Но когда тот, сознавая дикость своего положения, хочет уехать во Францию, царица его не удерживает. Она щедро вознаграждает «святого друга», но он ей больше не нужен. Филипп сделал свое дело — указал царице дорогу, по которой она отныне пойдет, не останавливаясь и не рассуждая.

Это скользкий покатый путь, уводящий в сторону от широкой дороги веры. Мучительный инстинкт давно влечет царицу в его затуманенную ладаном даль. Там затейливые апокрифы и странные раскольничьи тропари, трогательные березки благочестия над глубокими омутами соблазна, там Митя Козельский и Вася-босоножка, старец Олег и отец Мартемиан, и надо всем, покрывая все, огромная черная тень Распутина.

Царица падает в пропасть, но ей кажется, что она летит в голубое, с детства снившееся православное небо.

Коронация Николая II

Больше года тянутся приготовления к коронации. Наконец все готово.

Выработан церемониал. После долгих придворных и междуведомственных интриг установлен список участников торжества. Окончательно утверждено, какой генерал будет держаться за который по счету шнур императорского балдахина и получит за это соответствующего Александра Невского, Владимира или Белого Орла при высочайшей грамоте. Отремонтирова-

ны бесчисленные помещения для свиты, посольств, иностранных принцев, делегаций со всей России и т. д. Приведены в порядок Петровский дворец и Успенский собор. Красное сукно, которое в таком огромном количестве понадобится для церемонии, обогатив своего поставщика, доставлено в Кремль, и в Грановитой палате вынуты из хранилищ и перетерты замшей чеканные блюда и кубки, служившие еще на пирах Грозного.

Все готово. Троны, на которые воссядут царь, царица и вдовствующая государыня, выбраны. Все высокие гости, от красавца герцога Коннаутского до уродливого сиамского принца, собрались и ждут. Кучера господ, прибывших на коронацию, получили от охраны особые ярлыки на шапку, которые они обязаны беречь не только пуще шапки, но и пуще самой головы. Не дай Бог потерять: злоумышленник с таким ярлыком может пробраться куда угодно. Даже меню обедов и ужинов составлено вперед гофмаршальской частью и знаменитый клоун Владимир Дуров уже привез в Москву своих дрессированных ужей и ученых кошек, чтобы на Ходынском поле поселить народ.

Все готово. 9 мая коронационные торжества открываются высочайшим въездом в Москву (1). Царь, прибывший уже несколько дней назад, живет в пригородном Петровском дворце. Оттуда он, согласно традиции, должен проследовать через свою первопрестольную столицу в сердце старой Руси — Кремль.

Бесконечные толпы радостно возбужденного народа теснятся за несколькими цепями войск, протянутых во всю длину шествия. В окнах, на балконах и на деревянных трибунах разместились немногие счастливы, тщательно просеянные сквозь ситечко чрезвычайной охраны. Их благонамеренность установлена, и они могут беспрепятственно любоваться зрелищем. Всего миллионного населения Москвы нельзя, разумеется, так тщательно профильтровать. Но нельзя и вовсе устранить его от участия в царском въезде. Напротив, эта миллионная взволнованная толпа прямо необходима, как величественная рама для картины. Народ должен толпиться и бросать шапки вверх: без его громового отзвука официальное «ура», такое могучее в залах и манежах, на вольном открытом воздухе, пожалуй, покажется жидковатым.

В то же время никак нельзя поручиться, что среди сотен тысяч людей, переполненных в эти минуты скоропроходящим, но искренним порывом верноподданнического восторга, не окажется один, охваченный более стойким восторгом цареубийства, и рука его вместо того, чтобы подбросить сний картуз в воздух, не метнет под ноги царской лошади бомбу.

Из-за этого фатального одного сотни тысяч оттиснуты трибунами, штыками и гладкими крупами конницы как можно дальше. Они если и видят шествие, то мельком: вот в щели между двумя драгунами показался силуэт царя или белое платье царицы, и сейчас же все стерто, как мел с доски, взмахом конского хвоста или движением всадника.

Некоторые в народе, чтобы лучше видеть, влезают друг другу на плечи. Другие взбираются на фонари и деревья, откуда их гонит полиция.

Месяцами чиновники коронационной комиссии составляют, меняют и оттачивают сложный порядок церемониала. Неделю занимает вопрос, пустят ли азиатских депутатов впереди казачьих или наоборот, и на определение позиции каждого гоф-курьера, скорохода или придворного арапа тратится не меньше дня. И вот, наконец, эти труды закончены и машина пущена в ход. Торжественное шествие медленно движется из Петровского дворца в Кремль.

В нем участвуют царь, обе царицы, императорская фамилия, множество придворных чинов, военных, иностранцев, солдат, музыкантов, челяди, фазтонов с церемониймейстерами, карет с придворными дамами... Но кто поставлен впереди всего этого? Кто возглавляет собой царский въезд в Москву?

Обер-полицмейстер и двенадцать жандармов.

Обер-полицмейстер Власовский (2) с двенадцатью жандармами лихо гарцует впереди царского шествия на сытом скакуне. Если у него развита фантазия, он легко может вообразить себя в эту минуту самодержцем все-русским, едущим венчаться на царство. За Власовским скачет царский

конвой в папахах и красных черкесках, с ружьями, взятыми наизготовку. Эти смуглые, подобранные один к одному молодцы выражением лиц очень напоминают кавказских разбойников, и скорострельные винтовки кавалерийского образца в их руках недвусмысленно поблескивают. Менее угрожающе, но тоже достаточно серьезно выглядит следующая за конвоем сотня лейб-казаков. Только когда миновали казаки, шествие приобретает другой характер, и теперь видно, что это царь въезжает в Москву, а не полицейстер с жандармами и казаками отправляется в карательную экспедицию.

Идут в своих экзотических одеяниях туркмены, текинцы, сарты, киргизы, казацьи депутаты, едут церемониймейстеры и гофмаршалы в открытых золотых фаэтонах с жезлами в руках, движется дворянство, музыканты, императорская охота, конные камергеры и камер-юнкеры. Наконец — эскадрон кавалергардов и за ними на белом коне — царь.

Царь, не отрывая, держит руку у надетой слегка набекрень каракулевой бескозырки. Он очень ловко сидит на лошади, и будь он пошире в плечах и повыше ростом, настоящее царское достоинство, с которым он держится, было бы заметно всякому. Но огромные раззолоченные кавалергарды впереди него и рослые великие князья и генералы свиты сзади невыгодно обрамляют его небольшую фигуру, к тому же кажущуюся очень скромно одетой в темном мундире преображенного полковника — среди всех этих перьев, лосин, лент, шлемов, генерал-адъютантских эполет и звезд.

Александра Федоровна отделена от мужа не только его бесконечной свитой, но еще и каретой императрицы-матери. Вдовствующая императрица едет впереди молодой. Ей и формально и, пожалуй, по существу принадлежит в окружающем блеске второе место. Та же, которая всюду желала бы главенствовать, должна покуда довольствоваться третьим.

Александра Федоровна едет в обитой атласом и расписанной розами и купидонами карете Екатерины Великой. Она сама выбрала ее. Маршалу коронации императрица объясняет свой выбор редким изяществом линий шедевра знаменитого лондонского каретника, но возможно, что ей смутно нравится следовать в экипаже «Северной Семирамиды», бывшей когда-то, как и она, захолустной немецкой принцессой, которой на первых порах солоно приходилось при негостеприимном русском дворе.

За каретой государыни тянутся четырнадцать золоченых карет с придворными дамами первых двух классов, то есть старых, то есть преданных Марии Федоровне и относящихся к молодой царице с холодом и скрытой враждой. Шествие замыкает эскадрон улан ее величества, подшефной ей части, где в день принятия шефства в полковом собрании во всеуслышанье говорится: «Все равно вдовствующая государыня останется для нас старшей». Так царица Александра едет венчаться на царство, окруженная людьми, которые ее не любят и которых не любит она.

У Новых Триумфальных ворот великий князь Сергей (3), генерал-губернатор Москвы, подает царю рапорт и присоединяется к свите. Еще одна остановка у Иверской. Царь и обе царицы приближаются к прославленной чудотворной иконе. Народ, которому здесь удалось ближе прихлынуть к царю, особенно шумно приветствует Марию Федоровну, которая в ответ улыбается и плачет, не вытирая слез. Только тридцать лет отделяют эту минуту от другой, когда по приказу московского совета сюда явится наряд рабочих, чтобы разрушить и увезти на свалку «мешающую уличному движению» святыню.

Шествие направляется в Успенский собор. Все колокола кремлевских церквей звонят, и чем ближе подходит царское шествие, тем громче и торжественней их голоса. Но когда царь совсем приблизился к распахнутым дверям храма, комендант Кремля дает знак, и ангельский трезвон по его команде умолкает. Православный царь переступает порог собора, где спустя пять дней его помажут на царство под оглушительную пальбу, как на артиллерийском полигоне. Делать нечего — таков церемониал. Там ясно сказано: «Колокольный звон прекращается. Салют в 85 выстрелов».

Коронация будет 14 мая. Пока происходят приемы иностранных послов и всевозможных делегаций, освящение государственного знамени и перенесение императорских регалий. Под сопровождение всей этой утомительной официальной суеты — царь с царицей говеют.

На 12-е назначен «церковный» парад прибывших на коронацию сводных войсковых частей. С утра льет проливной дождь. Войска, выстроенные под открытым небом, ждут государя. Назначенный час пришел, но царь, обычно такой аккуратный, не едет. Солдаты промокли, мундиры и головные уборы потеряли свой щегольской вид, сапоги набухли, ружейные стволы полны водой. Несколько раз едва слышится стук копыт, дается команда «смирно», и войска радостно настораживаются. Нет, это проехал извозчик или прогрохотал ломовик.

Солдаты мохнут и ждут, дождевые капли катятся по их напряженным, хмурым лицам, точно слезы обиды. Офицеры смущенно переглядываются. Наконец командующий парадом решается на не совсем обычный шаг: он идет произвести разведку. У лагерной церкви его встречает запыхавшийся дежурный флигель-адъютант. Парад отменяется. Царь велит передать войскам царское спасибо заочто.

Дождь льет целый день, не прекращается он и на следующий. С утра 13-го по городу разъезжают герольды, извещая о завтрашней коронации. Они одеты в ботфорты и камзолы, на их широкополых шляпах треплются мокрые страусовые перья. Герольды бьют в барабаны и трубят в длинные средневековые трубы, издающие тонкий, жалобный звук, непривычный для русского уха. Народ смотрит на них, как на ряженных.

Там, где они останавливаются, сейчас же происходит давка, нередко переходящая в драку: скупщики платят по тридцать копеек с листа за отпечатанные золотом и вязью афишки, которые раздают герольды (4).

Опасения, что дождь будет лить и во время коронации, — напрасны. Безоблачное голубое утро обещает чудный день. С шести часов утра все улицы, прилегающие к Кремлю, полны народом. С кремлевских колоколен начинается особый, как во время крестного хода, благовест «перебором». Вдоль расстеленного от Красного крыльца до Успенского собора сукна становятся шпалеры дворцовых гренадер и кавалергардов. На трибуне, сооруженной на площади, рассаживается придворный музыкантский хор в красных мундирах с причудливыми музыкальными инструментами в форме охотничьих рогов. На Софийской набережной фронтом к Москве-реке становится шесть гренадерских батарей.

Задолго до семи часов, когда первый салют дает знать, что торжество началось, царь и царица готовы. На царе преображенский мундир, андреевская цепь, шашка. Царица в сером парчовом платье. Она очень плохо спала и встала с тяжелой головой и с резкой ломотой в суставах ног, которой с детства при малейшем волнении она страдает. Но волнение же делает розовыми ее обычно бледные щеки, глаза царицы блестят, и, если не знать, что она страдает и грустна, можно счесть ее бодрой и оживленной.

Маршал коронации граф Пален (5) докладывает царю, что все готово. Трубы и литавры с двух дворцовых террас извещают о начале высочайшего выхода.

Первой в Успенский собор шествует по церемониалу Мария Федоровна. Уступая место той, которую она так долго третировала как неподходящую невесту, вдовствующая государыня должна проделать теперь как бы обратный путь — от власти к забвению. Какая ирония! Ей приготовлен тот же «алмазный трон», на котором она сидела тридцать лет назад, венчаясь на царство, и та же корона должна еще раз блеснуть на ее голове, отражая чужую славу... Если Мария Федоровна не отдавала себе до сих пор ясного отчета в происшедшей для нее перемене — коронационный церемониал пышно и бесстрастно подчеркивает это.

Когда Мария Федоровна входит в собор и занимает свой вдовий трон, начинается главное. Царь с царицей спускаются с Красного крыльца и становятся под разукрашенный черно-желтыми страусовыми перьями балдахин, который держат тридцать два генерал-адъютанта.

Начинается шествие. Золотых мундиров на площади так много, что, пока царский балдахин, покачиваясь, тихо движется к собору, кажется, будто расплавленное золото непрерывно течет по красному сукну. Оно вливается в собор и, не останавливаясь, льется дальше. В храме всего тысяча мест, и только немногие избранные остаются присутствовать при коронации. Остальные кружными путем возвращаются во дворцы.

В дверях собора ждут три митрополита — московский, петербургский и киевский. В сопровождении их царь и царица поднимаются на тронное ме-

сто и садятся на царские престолы, сзади которых с палахом наголо становится командир кавалергардского полка.

Этот кавалергард с обнаженной саблей, комендант, заставляющий умолкать колокола, военная форма (6), в которой коронуется Николай II, шашка, которую он снимает только у входа в алтарь уже после возложения короны — все это придает церемонии характер смотра или парада, очень далекий от насквозь церковного, грустного и трогательного помазания на царство старых московских царей.

Московские цари шли в Успенский собор со «Славой», с пением молитв, ладаном и зажженными свечами. Государственные регалии несли на золотом блюде протопопы. Пушки не стреляли. Оружие на царе показалось бы тогда кощунством. Бармы и царский венец были украшены изображением ангелов и святых. Царь просил у митрополита благословения на царство и подтверждения церковью его царских прав, и митрополит, возлагая на него венец, почти грозно напоминал ему: «Сам ты имеешь Царя в небесах. Будь же праведен, если хочешь, чтобы милостив был к тебе Царь Небесный».

Это круто переиначивает Петр, одевает бутафорской мальтийской романтикой Павел, и потом старательно обезличивают несколько поколений петербургских чиновников.

К тронному месту по обитым малиновым плюшем ступеням поднимается митрополит. В коронации Николая II наступает патетический момент, не предусмотренный церемониалом.

Царь внятными, звучным голосом читает символ веры. Когда он кончил, приближаются еще два митрополита и надевают на него порфиру и цепь первого ордена империи. Сейчас царь возложит на себя корону, которую уже подает священнослужителю дряхлый граф Милютин, сподвижник Александра II. Царь делает шаг вперед и протягивает руку к короне. Но, когда он хочет ее взять, тяжелая бриллиантовая цепь Андрея Первозванного, символ могущества и непобедимости, только что на него возложенная, отрывается от горностаевой мантии и падает к ногам царя.

Николай II с протянутыми к короне руками замирает на месте. Он не берет короны и не опускает протянутых рук. Он неподвижен. Глаза его стали светлыми и пустыми. Они уставлены куда-то в пространство, поверх всего окружающего.

Это странное выражение знают близкие к Николаю II люди. Под влиянием гнева или страха серо-голубые задумчивые глаза царя — выцветают, тускнеют, расширяются, вдруг становятся двумя неподвижными просветами в какую-то ледяющую пустоту. Тогда кажется, что он ничего не видит, ничего не чувствует и не замечает.

Так на узкой, залитой солнцем улице Оцу он смотрит, откинувшись в рикше, в искаженное лицо фанатика-самурая, так глядит в окно вагона, подписывая акт отречения. Таков, должно быть, взгляд царя в ночь на 16—17 июля 1918 года, когда Юровский наглым срывающимся голосом кричит: «Николай Романов, Уральский совет постановил вас расстрелять!» — и вскидывает наган.

Один из шести камергеров, поддерживающих царскую мантию, наклоняется к сверкающей на полу регалии и подает ее министру двора. Тот прячет Андреевскую цепь... в карман... Николай II выходит из оцепенения. Руки его опускаются к красной подушке и медленно поднимают над головой переливающуюся при свете бесчисленных свечей корону.

Когда корона возложена царем на себя и на коленопрклоненную царицу, свершено миропомазание, царь причастился в алтаре, присутствующие принесли поздравления и отслужена литургия, начинается выход из собора. Первая — через южные двери — удаляется Мария Федоровна. Царь и царица, выждав, когда никого из свиты двоствующей государыни в соборе не остается, встают и покидают храм через северные, противоположные, двери. Таков церемониал. Хочет ли он этим подчеркнуть, что отныне пути сына и матери расходятся?

Возвратясь обратно, царь с царицей поднимаются на Красное крыльцо и троекратно кланяются народу. Это сохранилось от старого московского обычая, это трогательно и красиво. Но народ, теснящийся где-то за кремлевскими стенами, чтобы видеть этот царский поклон, должен был глядеть в хорошие цейсовские бинокли. Невооруженным глазом он видит только

много золота и красного сукна, много штыков и знамен, и единственное, что ему доступно, — это подхватывать «ура», которое начато не им.

Церемония, начавшаяся в семь утра, кончается в 12.55. Царь и царица удаляются отдохнуть. Но долго отдыхать нельзя. Через час с четвертью начнется торжественная трапеза в Грановитой палате.

Туда уже перенесены из Успенского собора царские троны, и митрополит, только что благословивший Николая II на царство, ждет, чтобы благословить с той же торжественной обрядностью приготовленное французскими поварами меню.

Царь в короне и порфире садится между двумя царицами за отдельный стол. Особы первых двух классов, стоя, ждут, пока царь отведает первого блюда и спросит пить. Тогда с глубоким придворным поклоном садятся за стол и они. Остальные, в том числе накормленные заранее члены дипломатического корпуса, «не оборачиваясь лицом к дверям», иначе говоря — пятясь, покидают Грановитую палату.

Трапеза длится очень долго и подчинена сложному этикету. Каждое блюдо, подаваемое на высочайший стол, конвоируется кавалергардским офицером с обнаженной саблей, точно это не жаркое или сладкое, а государственная регалия или денежный ящик. Право подавать блюда принадлежит отставным «штаб-офицерам из дворян Московской губернии» — именно им и никому другому.

Обер-шенки под гром труб и литавров провозглашают тосты, сопровождаемые пушечным салютом. За здоровье государя пьют под стерлядь при салюте в 61 выстрел. Затем за Марию Федоровну (паровой барашек — 51 выстрел), молодую царицу (заливное из фазанов — тоже 51 выстрел), императорскую фамилию (31 выстрел — каплуны с салатом). Наконец, обер-шенк провозглашает последний тост: «За всех верноподданных». Он сопровождается всего 21 выстрелом, и пьют его под спаржу.

После тостов бас, тенор, меццо-сопрано и хор исполняют торжественную кантату. Но времена, когда блестящий стиль и империя были синонимами, безвозвратно прошли. В роли Ломоносова или Державина фигурирует теперь Виктор Крылов, сочинитель бытовых пьес и бесталантный стихотворец. И под древними сводами льются водянистые стихишки «под Кольцова».

Звездочки небесные
Искрятся, играют.
Горы, нивы, пажити
Убрались, украсились,
Чтобы честно праздновать
Праздник всей России...

Та, кого в эти дни каждый считает счастливейшей из женщин, — коченеет от физической и душевной усталости. Губы царицы, которые по церемониалу должны «милостиво улыбаться», все резче складываются в трагическую усмешку. Она одинока и несчастна.

Окружающие? Лыстивая, раззолоченная свита? Но — «я чувствую, все они неискренни, никто не исполняет долга, — все служат из-за карьеры и личной выгоды». Церковь, только что венчавшая ее на царство? У царицы нет доверия к официальной церкви: «Когда я вижу митрополита, шуршащего шелковой рясой, я спрашиваю себя — какая разница между ним и рядными великосветскими дамами?» Любовь мужа? Но как, любя ее, он мог утвердить список участников торжественного спектакля, где «только две петербургских балерины и одна из них... Кшесинская». Народный восторг? «Ура» толпы было в десять раз громче, когда проезжала императрица-мать, — все это заметили. Будущее? — царицу пугает будущее. Эта цель, оборвавшаяся в миг коронации, — какая зловещая примета!..

«Я мучусь и плачу целыми днями», — пишет Александра Федоровна своей немецкой подруге. Она плачет и мучается: ее «прежние иллюзии одна за другой тают», и новых у нее еще нет.

После пятнадцати часов непрерывного напряжения, когда опасность расплакаться так же сильна, как страх упасть в обморок, Александра Федоровна, венчанная на царство императрица всероссийская, выходит на балкон, чтобы открыть иллюминацию.

Балкон обращен к набережной Москвы-реки. Бледная тонкая прямая царица становится у перил и смотрит на черную воду. Потом медленно про-

тягивает руку к букету, который подносит ей церемониймейстер. Едва она берет букет — он весь загорается электрическим светом. Это сигнал. Разом вспыхивают вершины башен, колокольня Ивана Великого, древние кремлевские стены и вся Москва.

Но царица не видит этих синих, красных, зеленых засиявших без числа огней. Их в ту же минуту заслоняет бледное ушастое лицо Победоносцева, первым заметившего, что государыня лишается чувств, и бросившегося ее поддержать.

Ходынка

«У ласкового князя Владимира пированьице почестен-пир для всех званых, браных, приходящих...» Задолго до 18 мая «особое установление по устройству коронационных зрелищ и праздника» распространяет в Москве афиши под таким подзаголовком. Это высокопарное приглашение зовет гостей на то страшное «пированьице», с которого около двух тысяч человек отправятся прямо на Ваганьковское кладбище.

Дальше подробно перечислены развлечения и блага, ожидающие «браных, званых, приходящих» на Народном празднике. Развлечений обещано много. Тут театральные представления на открытых сценах: «Руслан и Людмила», «Конек-Горбунок», «Ермак Тимофеевич, или Завоевание Сибири», «с сражениями, плясками, пением и сновидением Ермака»; тут гармонисты, балалаечники, раешники, петрушки, силомеры и предсказатели судьбы. Особенно соблазнителен знаменитый дрессировщик Владимир Дуров, собирающийся показать «электрический пароход, управляемый крысами», «поездку козла на волке», «ежа, стреляющего из пушки», и, наконец, «новость»: «танец кошки на голове дога». Дразнят также воображение призы за гимнастику: 50 глухих серебряных часов «с портретами Их Величества и цепочками белого металла» и сто гармоник. Призы эти предназначены за лазание на мачту, бег и хождение по бревну. Они, правда, «по независящим обстоятельствам» останутся неприсужденными, но ловким гимнастам, явившимся их добывать, жаловаться не приходится. Хорошие скакулы и гимнастическая сноровка очень пригодятся им, когда вместо того, чтобы любоваться «танцем кошки на голове дога», самому придется танцевать на человеческих головах и вместо хождения по бревну шагать, как по бревнам, по наваленным друг на друга покойникам и умирающим. Призом за эти, не предусмотренные в программе праздника «гимнастические упражнения» будет зато нечто более ценное, чем серебряные часы, хотя бы и с портретами Их Величеств, призом будет спасенная жизнь.

Рассчитывать на получение отпущенных на толпу в пятьсот тысяч человек 50 часов и 100 гармоник могут, однако, немногие самонадеянные ловкачи. Остальные, более скромные, не мечтают о часах, хотя получить «царский подарок», который обещан всем. Содержание этого подарка тоже перечислено в афише. Это сайка, полфунта колбасы, три четверти фунта сладостей и орехов, вяземский пряник и «коронационная» кружка — все завязанное в ситцевый платок с изображением Кремля. Колбаса в подарке, заготовленная чересчур загодя, окажется тухловатой, и жестяная бело-голубая кружка будет спустя неделю продаваться на Сухаревке по пятнадцати копеек. Но то, что будет через неделю, никак не может повлиять на то, что есть сейчас. Толки о подарках и развлечениях растут, вяземский пряник и платок с Кремлем сияют магической приманкой, тем более, что народное воображение дополняет явную скупость, с которой составлен «подарок», пущенным слухом, что в некоторые из кружек положены билеты выигрышного займа. От детей до стариков все собираются на Ходынское поле за заветным узелком. Собираются не только москвичи и жители окраин, но и крестьяне из лежащих по соседству деревень: по одной Курской дороге в ночь с 17-го на 18-е мая приезжает в Москву, на праздник, двадцать пять тысяч человек (1).

Едва Ходынка стряслась, сейчас же вокруг нее начинается борьба сильных противодействующих страстей. Великий князь Сергей, враждующий с министром двора Воронцовым-Дашковым, яростно нападает на ми-

нистерство двора. Граф Воронцов, не оставаясь в долгу, винит во всем полицию, «непосредственно подчиненную Его императорскому высочеству» (2). Обер-полицмейстер Власовский сначала хочет отделаться обычной полицейской наглостью. Его первый рапорт гласит: «Убитых сто человек, порядок восстановлен». Потом он театрально стреляется в приемной генерал-губернатора: адъютант толкает поднесенную к виску руку с револьвером, и пуля летит мимо (3).

Действительный статский советник Бер, начальник «Особого установления» с чувством исполненного долга показывает следователю: «Я велел не засыпать оставшиеся от выставки 1832 года ямы нарочно, чтобы сдерживать народ». «Узелков было четыреста тысяч, а народу привалило миллион, каждая сайка была у нас на счету», — оправдывает его помощник, архитектор Николин, особое устройство буфета в виде мышеловки, где в узких (на два человека) проходах погибло в давке множество людей. Столько скрытых пружинок и невидимых тормозов — честолюбия, упрямства, боязни ответственности — пускается со всех сторон в ход, что в расследовании, составленном министром юстиции Муравьевым, отлично видно, как произошла Ходынка, и совсем неясно, по чьей вине она произошла.

После Муравьева самостоятельное следствие ведет маршал коронации граф Пален. Его доклад более определен. Он, хотя и в очень острой форме, прямо обвиняет в бездействии власти «августейшего генерал-губернатора Москвы». На докладе Палена, представленном царю уже в Петербурге, «Его Величество соизволил положить самую лестную резолюцию», но через несколько дней «приехал из Москвы великий князь Сергей, и дело совершенно было перерешено».

В конце концов ничего толком не выясняется, никто не обелен вполне, никто не несет сколько-нибудь серьезного наказания. И над Ходынккой после всех расследований еще больше сгущается тот зловеющий туман, который описал Толстой: «Народу было так много, что, несмотря на ясное утро, над Ходынским полем стоял густой туман — от дыхания человеческого». О виновниках Ходынки и о ее жертвах забудут, но туман отработанного воздуха, которым нельзя дышать, — останется навсегда, расползется по всей России.

Для раздачи царских подарков на Ходынском поле строятся 150 барраков. Строятся они друг около друга — между каждым проход для двух человек. Эти барраки или буфеты образуют треугольник, острый угол которого обращен ко рву. Ров песчаный, изрыт глубокими ямами. От угла барраков до рва расстояние 25 аршин, ширина рва 80 аршин.

Раздача подарков назначена на 10 часов утра 18 мая. Наряд полиции и казаков для охраны порядка должен явиться «заблаговременно» — в девять. Полиция и казаки будут регулировать течение движущейся со всех сторон столицы толпы, направляя ее к буфетам за подарками, а оттуда в сторону павильонов и эстрад с развлечениями, где их уже будут ждать дрессированные ежи и раешники, «Конек-Горбунок» и дивертисмент. Ямы и рвы, с одной стороны окружающие буфеты, помогут полиции сдерживать народ (одной полиции не справиться: ее не так уж много — 1800 городских), а узкие проходы на два человека, т. е. на триста человек по всей линии буфетов, обеспечат получение каждым своего узелка и помешают недобросовестным схватить лишнюю сайку, которые «все на счету» у «ласкового князя Владимира».

Все заранее отлично взвешено, рассчитано и предусмотрено — упущена из вида только самая малость. Народ начинает собираться на Ходынку с вечера. В час ночи толпа так плотна, что над ней стоит туман «от дыхания человеческого», и то там, то здесь уже слышны первые стоны изнемогающих в давке и теряющих сознание.

Народ собирается с вечера. Так как никакого начальства нет и никто ничего не регулирует — люди идут со всех сторон и располагаются вокруг буфетов как кому заблагорассудится. Ночь жаркая и душная. Многие приходят налегке, босиком, в неподпоясанных рубахах и тут же укладываются спать. Другие зажигают костры, пекут на огне картошку и угощаются водкой. Некоторые принесли гармоники, слышна музыка, песни, кое-где пляшут. Это часов в двенадцать.

После двенадцати толпа угрожающе вырастает. Понаехали мужики из деревень, подошли рабочие с окраин. Греться у костров или плясать уже нельзя — каждый торопится занять место получше, и каждый теснит другого. Праздничное добродушное настроение сменяется сумрачным и нетерпеливым. Эта трех- или четырехсоттысячная толпа вполне предоставлена себе самой. Впрочем, не вполне. Ее стерегут назначенные в подмогу отсутствующей полиции волчьи ямы и восьмидесятиаршинный ров.

В час ночи из толпы выносят девушку в бесчувственном состоянии и несколько подростков. В три утра в народе кричат: «Что же вы нас умирать заставляете в давке!» В четыре часа утра уже то и дело из толпы передают по головам людей без признаков жизни (4). Народ у буфетов волнуется и напирает, дощатые буфеты трещат. «Скоро ли будут раздавать» — слышится со всех сторон. Перепуганные артельщики и заведующие буфетами собираются под предводительством поднятого с постели растерянного Берра на импровизированное совещание. «Если мы не начнем раздавать, толпа нас сотрет», — говорит какой-то Лепешкин, и голос этого безвестного Лепешкина решает все. Еще минуту назад катастрофу можно было, пожалуй, предотвратить. Но вот решено раздавать. Первые узелки с подарками летят в толпу. И толпа, как на приступ, бросается к буфетам.

«...Через полчаса я взглянул из будки (показание одного из раздававших) и увидел в том месте, где ждала публика раздачи, люди на земле один на другом, и по ним идет народ к буфетам. Люди эти лежали как-то странно, точно их целым рядом повалило. Часто тело одного покрывало часть тела другого. Видел я такой ряд мертвых людей на протяжении аршин пятнадцати. Лежали они головами к будкам, ногами к шоссе» (5).

«Я видела (из другого показания), как из толпы, которой удалось обратиться вовнутрь площади, через проходы выбегали люди в растрепанном виде, в разорванном платье, с дикими глазами, мокрые, с непокрытыми всклокоченными волосами и со стонами прямо ложились, падали на землю. Многие были в крови, некоторые кричали, что у них сломаны ребра».

«Я споткнулся на мертвого человека, когда толпа меня понесла. На меня упало несколько человек. Тут я чувствовал, как народ перебегает по тем, которые на мне лежали. Я лишился чувств, может быть, на полчаса, может быть, на час. Когда меня привели в сознание и подняли, то надо мной было трупов пятнадцать и подо мной десять трупов».

«Около меня оказался мальчик, который сильно кричал. Я и еще кто-то приподняли его над толпой, и он пошел себе по головам». «Мой локоть оказался на руке какой-то женщины. Я слышал, как у нее треснула рука, и она упала на землю». «Покойники, которых я (унтер-офицер вызванных наконец войск) вытаскивал из толпы, стояли в толпе. Она старалась от них отодвинуться, но не могла». «Мертвая девушка стояла в толпе, голова ее качалась в разные стороны, и толпа, двигаясь вперед, несла ее с собой». «Большое всего трупов лежало на пресечении буфетов — на большом пространстве более трехсот».

Таких показаний без числа и в «Следственном производстве судебного следователя по делу о беспорядках на Ходынском поле», и в «Записке министра юстиции» по этому делу. Из толпы кричат: «Уберите мертвецов!» Солдаты входят в толпу «аршина на три» и выхватывают кого могут, живых или мертвых, дальше они протиснуться не могут. Вообще спасают людей почти исключительно войска: полиция, явившаяся только в шесть утра, первым делом оцепляет императорский павильон и трибуны для высоких гостей, чтобы «народ чего не повредил». «Я обратился к родовому, — показывает свидетель, — с просьбой дать умирающему воды и вообще оказать какую-нибудь помощь. Он ответил: «Нам ничего не приказали» (6).

Французский посланник граф де Монтебелло одним из первых узнает о Ходынской катастрофе. К чувству ужаса, которое он испытывает, слыша о тысячах задавленных и изувеченных, присоединяется огорчение личного свойства: назначенный на сегодня большой бал во французском посольстве, конечно, придется отменить: sole, прибывшие во льду из Парижа, и вагон средиземных роз пропадут. Быть может, однако, слухи преувеличены и несчастье не так велико? Граф Монтебелло звонит по те-

лефону губернатору Москвы и министру двора, но сведения этих высокопоставленных лиц так же неясны и противоречивы, как рассказы повара и камердинера. Тогда граф отправляется на Ходынку сам.

Огромное поле оцеплено войсками, но французского посла, конечно, пропускают. Он еще застаёт неприбранным жемчугий беспорядок только что совершившегося непоправимого несчастья. Земля истоптана и изрыта, кое-где видна кровь, то там, то здесь валяются шапка, кушак, пола оборванного платья. Он видит множество мертвых, которых молодцеватые городовые уже складывают рядами, как дрова, на телеги, чтоб развезти по участкам. В зависимости от того, где застала их смерть, мертвецы резко отличаются друг от друга. Погибшие в рвах, колодцах и узких проходах обезображены и окровавлены («Я узнала брата только по лбу», — говорит сестра одного.); задушенные в толпе — не имеют внешних повреждений, зато их глаза широко раскрыты, иногда совсем вытаращены, и в них застыло одинаковое дикое выражение ужаса. Многие из этих принаряженных мертвецов еще сжимают в скрюченных пальцах узелки с царскими подарками.

На Ходынку непрерывно прибывает разное начальство, сановники, высокооставленные любопытные. Чрезвычайный китайский посол Ли Хун-Чжан, приехавший получать двухмиллионную взятку, равнодушно оглядывал поле — он привык к вещам и пострашней, — осведомлялся: «Неужели об этом доложат государю?» Узнав, что уже доложили, он пожимает плечами: «Какие неопытные у вас министры — у нас бы никто не беспокоил богдыхана, убрали бы мертвецов — и все» (7). Это трезвое суждение встречает сочувствие у некоторых представителей высшего общества.

«От государя следовало бы все скрыть», — горячится камергер Дурасов. «Какие пустяки. Это всегда бывает при коронации», — заявляет конногвардеец Шипов. Витте, думающий после слов Ли Хун-Чжана: «Ну, все-таки мы ушли дальше Китая», пожалуй, немного преувеличивает (8).

Пробрались на Ходынку, хотя их и велено не пускать, и корреспонденты газет, русские и иностранные. Среди них находится и знаменитый Диллон, приват-доцент Харьковского университета и большой знаток России. Он, хотя и видит все своими глазами и получает все сведения из первых рук, впоследствии, вспоминая Ходынку, изображает ее так: «Катастрофа произошла в тот самый момент, когда императорская чета заняла свои места и полмиллиона голосов криками приветствовали самодержца Святой Руси и его супругу». Далее он говорит: «Император показал себя совершенно безучастным к этому бедствию».

«Совершенное безучастие» Николая II к Ходынке — такой же явный вздор, как то, что она произошла в присутствии царя. Искажение это со стороны Диллона нельзя, однако, объяснить ни недоброжелательством — он, определенно, друг старой России, — ни недобросовестностью, — опытный и осторожный журналист, остальные факты он передает вполне точно. Не выражает ли бессознательно он, на старости лет перебирая события, вместо фактов впечатление от них, оказавшееся более ярким и долговечным? Разумеется, царь не был безучастен к народному горю, но им — по личному почину или по советам приближенных — действительно делается в день Ходынки все, чтобы такое впечатление создалось.

Потрясенный страшным зрелищем французский посол едет с Ходынского поля к обер-церемониймейстеру коронации графу Палену. Тот сообщает ему решение государя, в котором Монтебелло, и не зная его, заранее не сомневается: все празднества отменены, будет объявлен траур, царь с царицей удаляются на несколько дней в монастырь, чтобы засвидетельствовать и подчеркнуть свое глубокое горе. Пален только что видел Николая II: царь был в отчаянии, глаза его были полны слез. Плачет и сам Пален. Молча пожав старому придворному руку — что скажешь в таких обстоятельствах? — Монтебелло, вернувшись домой, отдает распоряжение прекратить все приготовления к балу. Когда, немного успокоившись от пережитого, он садится писать в Париж донесение о происшедшем, от великого князя Сергея приезжает адъютант с удивительными новостями. Государь передумал. Траура не будет. Все празднества, в том числе и сегодняшней бал у французского посла, должны состояться (9).

Говоря о «совершенном безучастии самодержца Святой Руси» к народному бедствию, тот же Диллон в доказательство своих слов указывает,

что «оно не помешало целой серии обедов и балов при дворе и в иностранных посольствах». И на этот раз, к сожалению, его нельзя опровергнуть.

Ходынское поле приведено в порядок с той идеальной быстротой, с которой обычно действует полиция, замечая следы случившегося по ее вине. Поле подметено, сломанные бараки починены, кровь посыпана песочком, мертвецы убраны. Часть их развезена по участкам, но всех увезти не удалось, и распорядительный обер-полицмейстер велел уложить их на дне того самого рва, в котором они погибли. Аккуратно покрытые рогожами, охраняемые часовыми, они, никому не мешая, отлично могут полежать тут, пока на Ходынке происходит концерт в высочайшем присутствии. Потом, когда отбудет царь и высокие гости, уберут и их.

Трубы оркестра сияют на майском солнце, и воздух дрожит от грома патриотического концерта. Новая толпа, праздничная и оживленная, напирает на открытую сцену, где Ермак завоевывает Сибирь и электрический пароход плывет в лоханке, управляемой вымуштрованными Дуровым крысами. Вдруг все представления прекращаются и по огромному полю перекачивается «урра»: на обитой красным сукном площадке императорского павильона в окружении великих князей и свиты появляются царь и царица.

Урра!.. Боже, царя храни!.. Ветер треплет белое страусовое боа Александры Федоровны, ярко блестят царские полковничьи погоны, кругом мундиры, ленты, кивера, золотые фалды придворных, сабли, лядунки, звезды. Боже, царя храни... Урра!.. Кивера, перья, мундиры — больше ничего нельзя разобрать.

Царь по дороге встречает на Тверской запоздавший воз с мертвецами. Он выходит из экипажа, велит отогнуть рогожу, долго всматривается в страшную окоченелую грудку и, махнув рукой, бормоча что-то невнятное, понуро садится в коляску (10). Теперь на эту шумную, приветствующую его толпу он смотрит тем же измученным, потухшим взглядом. Императрица подавлена и бледна, она едва стоит на ногах. Но, чтобы видеть это, надо стоять близко, а народ стоит далеко. Он видит только ленты, перья и мундиры, только сиянье самодержавной власти, которую никакие тысячи погибших не должны омрачать хотя бы на единый миг. Действительный тайный советник Победоносцев, бледное и ушастое лицо которого и потрепанный вицмундир тоже мелькают в свите, может быть доволен. «Ничто не должно умалять священного монархического принципа», — наставительно твердил он сегодня утром, уговаривая царя не объявлять траура и не отменять празднеств. И вот священный принцип — не умален.

«Давно уже ходили слухи о том, что предстоящий бал во французском посольстве будет одним из самых замечательных и самых интересных. В половине десятого начался съезд. Вестибюль, превращенный в уголок тропического сада, залитого электричеством вместо солнца».

И дальше:

«Бал удался вполне и закончился тончайшим ужином».

Так идиллически описывает бал у Монтебелло «Коронационный сборник», двухтомный веленевый увраж, изданный, чтобы увековечить коронационные торжества. Он и увековечивает их со всем усердием чиновничьей исполнительности. Не только отмечено, что бал «удался вполне», сообщено и меню «тончайшего ужина».

Бал проходит, впрочем, не столь «удачно», как, захлебываясь, расписывают казенные перья. «Я отчетливо помню напряженность атмосферы на этом празднестве, — вспоминает камергер Извольский, будущий министр иностранных дел, — усилия, которые делались императором и императрицей при появлении их в публике, ясно были видны на их лицах». Таких свидетельств о подавленном настроении царской четы, его «грустных глазах», «болезненном выражении», ее «бледности», «резкой складке у пытающегося улыбнуться рта» можно выписать много. Но они ничего не меняют. Это все оттенки и полутона в картине, которую будут судить с такого расстояния, где оттенки и полутона не видны. Только главное, основное, только свет и тень.

Окна французского посольства широко распахнуты в теплую майскую ночь. С улицы слышны голоса, веселая, громкая музыка, в ярко освещенных залах мелькают пары в затейливых турах «польского». Среди танцующих царь и царица Святой Руси. Подводы, покрытые рогожами, до поздней ночи дребезжат по Москве. На Ваганьковское кладбище в гробах и без гробов свозят в эту ночь для опознания 1282 трупа. Ночь теплая, и мертвецы начинают чернеть и раздуваться. Многие страшно обезображены — кого опознает сестра «по лбу», кого никто никогда не опознает.

Розы, доставленные из Ниццы, не пропали. Они сладко благоухают «под электрическим солнцем» в нарядных залах посольства. *Sole* тоже недаром мчалась в экстренном поезде — ее съедят за «тончайшим ужином». Но до ужина еще далеко — пока надо танцевать «польский». И оркестр гремит в распахнутые окна старинный, традиционный, торжественно-жеманный мотив:

«Славься сим, Екатерина, славься, нежная нам мать...».

Высочайшие будни

Трупы задавленных на Ходынке догнивают в дощатых гробах; регалии русской короны покоятся в своих футлярах. Кончились коронационные торжества, наступили высочайшие будни.

Первые годы царствования петербургский двор живет очень парадно. Балы, театры, охоты, смотры, высочайшие выходы. Особенно роскошны балы в костюмах эпохи Алексея Михайловича. Николай II и императрица изображают царя Алексея и царицу Наталью; гости, разодетые в парчу и соболя, пляшут «русский» в растреллиевских залах. Стиль «тишайшего царя» вообще в большой моде. Так министр внутренних дел Сипягин отделяет одно из помещений министерства под старые кремлевские хоромы. Николай II охотно навещает его. Царь и его министр, обсуждая государственные дела, соблюдают затейливый московский этикет XVII века. Маскарад, начатый на балах, продолжается и в повседневной жизни.

При дворе танцуют в летниках и сарафанах. Почему бы и не танцевать? Все в порядке. Машина, налаженная в тринадцатилетнее царствование Александра III, действует исправно, крепко давит внутри, с достоинством избегает внешних осложнений. Россия спокойна. На казарменном, но мощном фронтоне этой России начертаны слова: «самодержавие, православиe, народность». И куда кажется, что они незыблемы.

Беспокойство, неуверенность в себе, с которыми Николай II вступил на престол, постепенно исчезают. Царь уже не жалеет, как жалел в 1894 году, что приходится отказываться от приятного поста командира Л.-Г. Гусарского полка для тяжелой должности императора. «Хозяин земли русской», — пишет он в графе о звании на листке всероссийской переписи и понемногу все больше входит в эту хозяйскую роль. «Только теперь я начинаю забирать власть», — отмечает Николай II в дневнике за 1903 год. Менее чем через полгода начнется война с Японией.

«Никак не могу понять, каким образом Саша может играть такую громадную роль. Неужели не видят, что он полупомешанный?» — спрашивает жена Безобразова (1), когда ее мужа, отставного кавалергардского ротмистра, вдруг производят в статс-секретари его величества — звание, равное генерал-адъютанту, и этот «полупомешанный Саша», доставлявший ей столько хлопот, поселяется в Зимнем дворце, свергает Витте, назначает Плеве и делается главным докладчиком в им же основанном «Особом комитете по делам Дальнего Востока», в котором председателемствует царь, и вся деятельность которого направлена так, что точнее всего было бы его назвать «Особым комитетом по подготовке японской войны».

Каким, в самом деле, образом? На этот недоуменный вопрос некоторые близкие сотрудники царя дают ответы, суть которых сводится к следующему: «полупомешанный Саша» входит в такой неожиданный, ни с чем не сравнимый фавор по той причине, что его проект «мирного захвата Кореи» посредством учреждения «лесных концессий на Яду» вполне со-

ответствует тем «совершенно фантастическим мечтам», к которым, по утверждению этих близко знающих Николая II людей, было очень склонно воображение государя, казавшегося со стороны и обычно изображаемого столь скромным, нерешительным и нечестолюбивым.

«Государь мечтает не только о присоединении Маньчжурии и Кореи, но даже о захвате Афганистана, Персии и Тибета», — свидетельствует генерал Куропаткин. «Это (безобразовский план концессий) совершенно фантастическое предприятие, один из тех фантастических проектов, которые всегда поражали воображение Николая II, всегда склонного к химерическим идеям», — говорит министр иностранных дел Извольский (2), освещенный не хуже Куропаткина: именно он тот русский представитель в Токио, который незадолго до разрыва дипломатических отношений подает в отставку, чтобы не участвовать в провоцировании войны, настойчиво предписываемом ему «Особым комитетом», посылающим послу приказания за подписью царя, помимо и без ведома министра иностранных дел. «Николай II предавался мечтам совершенно фантастическим, где мысль его выходила за пределы его огромного царства, получая нереальные очертания», — пишет В. И. Гурко и видит в действиях царя «глубоко заложенную по наследству от пращура, императора Павла, склонность к произволу», «абсолютную несговорчивость» (3).

Этот властелин шестой части света жалуется на свою «крошечную волю» — «my tiny will» (4) и в то же время чаще, чем любой другой русский царь, безапелляционной фразой «Такова моя воля» покрывает и возводит в закон явное беззаконие, очевидный произвол. Перечень таких «превышений царской власти» Николаем II приводит тот же Гурко, и его можно почти до бесконечности продолжать. Поступки царя так двойственны, как будто он не знает сам, кто же он — двойник «тишайшего» Алексея Михайловича, первый шаг которого на царском поприще — созыв Гаагской конференции для провозглашения вечного мира, или хищный присоединитель «не только Кореи, но и Персии», которого на английской карикатуре изобразили спрутом, стремящимся щупальцами охватить весь мир? Кто? — гвардейский полковник, добрый старший товарищ в полковом собрании, восклицаящий: «Ничто так не подбадривает меня, как посещение воинской части», или жуткий «хозяин земли русской», — жуткий потому, что его «несговорчивая» мысль, как у полубезумного Павла, «выходит за пределы его огромного царства» и вслед за собой увлекает в пропасть Россию? Добрый? Злой? Доверчивый? Коварный? Любящий свою родину или «постыдно-равнодушный» к ней? Кто он, царь Николай, в туманный, ускользающий облик которого как ни всматриваться, не видно ничего, кроме серо-голубых задумчивых глаз, русского открытого лица, застенчивой манеры трогать усы, нескольких противоречивых фраз, страшных бед, постигших Россию в его царствование и трагического зарева его судьбы?

Станным образом самые злые и беспощадные отзывы о Николае II принадлежат не врагам престола, а его министрам, придворным, генералам, носящим на погонах его вензеля. Враги, отвлеченно ненавидящие царскую власть, конкретно относятся к Николаю II часто прямо любовно. «Бедный запуганный молодой человек», — называет его Лев Толстой. «Знаю доброе сердце и благородные намерения вашего величества», — пишет в предсмертном письме террорист Шаумян. «Царь горячо любит Россию», — уверен Петр Струве, марксист, почти революционер. Керенский, приехавший допросить «арестованного полковника Романова», очарован им и не скрывает этого. «Я подлюбил государя», — вырывается у комиссара Временного правительства Панкратова, приставленного стеречь царя. Таких примеров множество. Это — революционеры, преданные церковной анафеме писатели, террористы, кончающие с собой в тюрьме, члены свергнувшего царя Временного правительства. Но вот голоса с противоположного берега — голоса министров, царедворцев, представителей лучших русских фамилий, даже членов императорского дома.

«Нечто вроде Павла Петровича, но в настоящей современности», — определяет царя П. Н. Дурново (5). Вите, с удовольствием повторив эту фразу от себя, подчеркивает «все убожество мысли и болезненность души самодержавного императора», его «сознательное стремление

сваливать свою личную ответственность на заведомо невинных людей». Даже свой переход на сторону конституционных взглядов Витте объясняет личными чертами царя: «Когда громкие фразы, честность и благородство существуют только напоказ, так сказать, для царских въходов, а внутри души лежит мелкое коварство, ребяческая хитрость, пугливая лживость», то уж лучше противная Витте конституция, чем самодержавие Николая II, по выражению Витте, «тупая пила в руках ничтожного, а потому бесчувственного императора».

«Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно поддающимся точному определению, — пишет Извольский. — Выросший в атмосфере самоунижения и пассивного повиновения, — он обнаружил слабость и неосмотрительность». И, по Извольскому, эта «слабость и неосмотрительность» царя заходят так далеко, что «если покушение на его жизнь в Оцу и не причинило ему вреда, то, я уверен, это создало чувство антипатии, даже ненависти у Николая II-го к Японии и не осталось без влияния на направление дальневосточной политики, имевшей своим эпилогом японскую войну».

Витте и Извольскому вторит барон Врангель, отец крымского главнокомандующего, выдавший виды восьмидесятилетний старец, помнящий еще Николая I: «Царь ни точно очерченных пороков, ни ясно определенных качеств не имел. Он был безличен. Он ничего и никого не любил, ничем не дорожил. Вежливый и любезный, он очаровывал при первой встрече и разочаровывал, когда к нему присматривались. Он был безволен и упрям, легко давал слово и столь же легко брал его обратно. Довериться и положиться на него было бы легкомысленно. Уверяют, что он желал блага России. Но вред, который он ей причинил, — неисчислим».

«Медовый месяц доверия», — пускает в оборот Куропаткин крылатую фразу, определяя его изменчивость и непрочность царского благоволения. «Никакой реальности не было в его благоволении, оно испарялось, как дым, и даже тем легче, чем при начале казалось горячей», — подтверждает слова Куропаткина гофмейстер князь Волконский. И так — вплоть до записи великого князя Николая Михайловича, которая так неслышанно резка, что превосходит все остальное: «А он, что это за человек? Он мне противен, а я его все-таки люблю, так как он души недурной, сын своего отца и матери, может быть, люблю по рикошету, но что за... душонка».

Как раз великий князь Николай Михайлович, в 1916 году заносивший в дневник такой отзыв о государе, в 1897 г. через своего брата Александра знакомит царя с Клоповым. Именно знакомит. «Царь всяя Руси принимает статистику и мелкого землевладельца Анатолия Клопова совершенно запросто. Николай II предупрежден, что этот земский статистик — человек откровенный, простодушный, пожалуй, даже чересчур откровенный и простодушный. Он может легко пуститься с царем в спор или в пылу разговора прижать царя в угол и взять за пуговицу; если он сделает между царем и простым смертным разницу, то разве в том смысле, что царю он больше и откровенней скажет. И Николай II не только охотно соглашается на встречу с не знающим и не желающим знать никакого этикета статистиком, но, по-видимому, эта сторона встречи, простота и непосредственность ее, больше всего царя и привлекает. Клопов одушевлен одной идеей говорить с царем о народных нуждах, минуя разделяющее царя и народ «средостение». И ничем другим, как таким же точно стремлением царя, нельзя объяснить и его встречу с Клоповым и все дальнейшее.

Клопов — человек очень искренний, очень неглупый, принадлежащий к распространенному в России типу страстных, но неуравновешенных и неспособных к систематическому труду и логическому мышлению искателей и борников правды. По словам знакомых Клопова, он «странная смесь духа произвола со стремлением к установлению абсолютной справедливости» (6). Всякая неправда, всякая нанесенная кому-либо обида его глубоко волнуют и возмущают, и он «готов попороть все порядки и все законы для восстановления прав обиженного». То, что, нарушая закон для восстановления справедливости к отдельному человеку, он нарушает самый государственный строй, — об этом Клопов думать не хочет, это ему неинтересно. При всем том он большой мастер горячо и убежденно говорить о мужике, недороде, безземелье, административных притеснениях и с плебей-

ско-детской простотой сразу же заявляет Николаю II: «Вы, ваше величество, ничего не знаете да и не можете знать».

Царя Клопов не только не отталкивает всем этим, но, наоборот, очаровывает вполне. Николай II и земский статистик встречаются не раз уже без всяких посредников, беседа совершенно запросто. И беседы эти ведутся в такой тональности, что, когда Клопов передает содержание их Льву Толстому, Толстой говорит: «Если бы я верил в обряды, я бы государя и вас перекрестил».

«Тишайший царь» явственно проступает в Николае II и в истории с Клоповым. Побуждения, с которыми царь в ней действует, так же государственно важны, как человечески возвышенны и честны. Клопов рассказывает о чинимых Ивану и Петру, царским верноподанным, несправедливостях, и царь глубоко растроган. Он согласен с Клоповым, что несправедливости надо сейчас же исправить и так же, как Клопов, готов принести в жертву закон и правовой порядок для немедленного утешения страдающих Ивана и Петра. Он поручает экзальтированному земскому статистику разузнать на местах «всю правду» и доложить обо всех вот так с глазу на глаз, минуя «средостение». Еще одна наивная и трогательная подробность. Снабжая Клопова высочайшим именным повелением с почти неограниченными полномочиями, с которыми тот завтра же, например, может получить из государственного банка сундук денег; с экстренным поездом подобострастно провожаемый всеми властями укатить за границу царь дает ему на расходы — триста рублей. «Хватит?» — спрашивает Николай II. «Ничего, — отвечает Клопов, — мне как раз получать жалованье. А если истрачусь, я вашему величеству черкну».

Спустя недолгое время в центральных губерниях (7) появляется таинственный человек, разъезжающий по деревням, ведущий какие-то опросы, обещающий обиженным скорый и справедливый царский суд, «царскую, а не губернаторскую правду». Когда его задерживают и спрашивают, в силу чего он действует, он вынимает из кармана своего измятого люстринового пиджака «лист, перед которым у власти ноги преклонились». История, начавшаяся в духе «Принца и нищего», кончается водевилем. Телеграммы летят в Петербург из взволнованных и недоумевающих губернаторов. Министр юстиции Муравьев делает скандал министру внутренних дел Горемыкину, крича: «Или подайте в отставку, или прекратите это безобразие». Горемыкин мятко объясняет царю невозможность такого положения. Клопова вызывают в Петербург и отбирают у него полномочия. Он расстается с ними без всякого сожаления, бессилие предпринять что-нибудь путное становится ему очевидно уже раньше: на это он жалуется, прося советов в Ясной Поляне. Клопов исчезает с царского горизонта (8). «Средостение» опять смыкается вокруг царя. Но облюбованная царем давно и укрепленная встречей с Клоповым мысль найти человека, который бы «все ему говорил», не оставляет царя. Однако ждать от судьбы, чтобы и второй раз она подослала Николаю II кандидатом на такую роль бескорыстного и безвредного Клопова, — все равно, что, выиграв миллион, желать выиграть его вторично. И вот тот же Александр Михайлович приводит однажды в Петергофский дворец отставного ротмистра Безобразова.

Война, которую подготовили Безобразов, Абаза и «Сандро»

Думает ли Николай II о завоевании Персии и Тибета — неизвестно и гадательно, но то, что он задолго до встречи с Безобразовым очень интересуется Маньчжурией и Кореей — более чем достоверно. Большое путешествие, совершенное им еще наследником, поселяет в Николае II ложное представление о необъятности русской мощи на Дальнем Востоке. Он едет неделями на лошадях по бесконечной Сибири, живописной, богатой, сказочно плодородной. За пределами России его встречают чуть ли не с божескими почестями. После покушения на наследника в Киото, где он лежит раненный, вопреки всем тысячелетним обычаям, приезжает из Токио японский император. Тут на глазах будущего царя сопровождающий его генерал князь Барятинский (1) «во имя престижа России» про-

изводит наглядную демонстрацию русского могущества и японского ничтожества. Императора Японии принимают только на другой день: наследник устал. Предложение гостеприимства в токийском дворце холодно отклоняется: на всех парах к японским берегам идет русская эскадра. На борту одного из ее кораблей сыну русского царя будет и удобнее и приятнее, чем в доме повелителя страны, где не сумели оберечь его от покушения. Японский император уезжает не солоно хлебавши, но взяв с наследника обещание, когда тот поправится, приехать все же в Токио «в знак великодушного прощения». В Токио готовятся к торжественной встрече, но вместо наследника приходит телеграмма: цесаревич уезжает — он торопится на свидание с отцом. Тогда — неслыханная вещь — император телеграфирует о своем желании вторично прибыть в Киото, чтобы на прощанье позавтракать с цесаревичем. Предложение принимается, но, когда император снова в Киото, оказывается, что наследник не может с ним встретиться: врачи запретили ему сходить на берег. И японский император пьет чашу унижения до дна: он поднимается на борт флагманского корабля «Память Азова». Веселый и отлично себя чувствующий цесаревич угощает его шампанским.

В том же направлении, что генерал Барятинский, действует на воображение наследника и другой его спутник — князь Эспер Ухтомский (2). Недурный стихотворец, он переводит на русский язык бесчисленные оды прославляющих Россию туземных поэтов и читает их цесаревичу. «Яркий свет луны обнимает всю вселенную. Белого царя слава распространяется, как лунный свет». И сам, опьяненный этой восточной риторикой, Ухтомский патетически восклицает: «Да, Россия — predetermined главарь и покровитель Азии!»

Все это западает в душу будущего царя, воспитанного если и не «в атмосфере самоунижения и пассивного повиновения», то, во всяком случае, в довольно бесцветной обстановке. «Белого царя обиталище Санкт-Петербург, говорят — в беломраморном дворце цари-государы пребывать изволят», — лживо поют в его честь на все лады туземные лиры, и контраст от этого преклонения и блеска тем сильней, что стоит только цесаревичу перелистать свой петербургский дневник, чтобы вспомнить свое времяпрепровождение в этом «беломраморном» дворце.

Несостоятельная жизнь и тяжелая рука отца, властно и не особенно ласково этой жизнью распоряжающегося. Здесь, на Дальнем Востоке, цесаревич впервые сознает, кто он такой, какая судьба ему предназначена. В его тихую, бесцветную жизнь впервые врываются сильные ощущения и яркие краски. И, может быть, расположенная к этому, но спавшая до сих пор фантазия впервые «выходит за пределы его огромного царства», когда он видит японского императора, чуть ли не ждущего в передней, и слышит звонкие патетические слова: «Россия — predetermined главарь и покровитель Азии», говорящие о завоеваниях, о военной славе, о гордой, блистательной императорской судьбе.

Цесаревич становится Николаем II, его «крошечная воля» — волей величайшей в мире страны. Смутные планы, неоформленные мечты о распространении «славы белого царя» куда-то в азиатскую глубь роятся в его голове. Обстоятельства складываются так, что все этим смутным планам содействует. После боксерского восстания по одному слову России Китай уступает ей целую область. «Это так хорошо, что даже не верится», — кладет Николай II резолюцию на докладе об этой уступке.

Вите, который впоследствии назовет государя «главным, если не единственным виновником позорнейшей и глупейшей войны» и политику его в отношении Японии «кровавым мальчуганством», — больше, чем кто-либо другой, первое время подталкивает Николая II если не к самой войне, то в направлении ее. Ему это удобно, занятый второстепенным, Востоком, Николай II не мешает ему распоряжаться главным — Россией. Когда Вите спохватывается, какую опасную забаву он поощрял, его песенка (до портсмутского мира) спета: «Особый комитет» с Безобразовым и Абазой вырос в страшную силу, и Плеве открыто призывает к «маленькой победоносной войне». За кулисами всего этого действует множество различно заинтересованных сил вплоть до Вильгельма II, который еще в 1897 году посылает царю знаменитую телеграмму, бющую — без промаха — в ту же цель устремленного на восток царского

честолюбия: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого» (3).

Электричество накопилось — нужен только толчок, чтобы его разрядить. И вот появляется болтливый, ловкий, обаятельный Безобразов. Он развязно стучит папиросою о крышку предложенной царем папиросницы, поблескивает белыми великолепными зубами, смотрит на царя весело, ясно, с какой-то почтительной наглостью и картавым самоуверенным голосом твердит: «Одной мимикой без слов мы завоюем Корею, одной мимикой, ваше императорское величество».

Безобразова вводит к царю великий князь Александр Михайлович, «добрый Сандро», «милый Сандро», «очаровательный Сандро», муж сестры Ксении, ближайший друг царя в первые годы царствования, потом ожесточенный враг, опубликовавший в эмиграции довольно бессмысленные воспоминания: главное зло царствования Николая II он видит в том, что покойный император давал слишком мало воли великим князьям. С этим забавным утверждением можно сопоставить фразу верховного маршала коронации графа Палена из доклада его о Ходынке: «Катастрофы, подобные происшедшей, будут до тех пор повторяться, пока ваше величество будет назначать на ответственные посты таких безответственных людей, как их высочества великие князья». Такое обобщение, конечно, несправедливо. Более ясно и точно обмолвился по этому поводу Витте: «Слава Богу, не все великие князья Александры Михайловичи». У Александра Михайловича есть друг и советник — контр-адмирал Абаза, двоюродный брат Безобразова (4).

Когда «полупомешанный Саша» явится из Женевы с готовым планом «лесных концессий» и начнет искать ход к государю, он естественно обратится к своему двоюродному брату, с которым он в отличных отношениях и который занимает пост помощника начальника торгового мореплавания. Ведомство это, по существу же, лишнее, основано недавно по настоянию того же Александра Михайловича, и начальником его на правах министра состоит он сам. Случайное совпадение обстоятельств как нельзя лучше исполняет здесь роль рока. Пока неуравновешенный фантазер сочиняет за границей свой проект, в России точно по заказу создается маргаринное министерство, где он с его зятем будут встречены и оценены самым благоприятным образом.

Если Александр Михайлович под эффектной романовской внешностью скрывает довольно неопределенные нравственные черты, его друг Абаза — просто-напросто темный интриган и делец. В недалеком будущем, после гибели эскадры адмирала Рожественского (5), он предложит купить аргентинский флот для усиления русского — и отправится за этим в Аргентину под чужой фамилией, сбрав для конспирации бороду и усы. Флот приобретен не будет, но растрчены и украдены будут при этом миллионы. Абаза, должно быть, знает, что делает, уговаривая великого князя поддерживать безобразовский проект и горячо приветствуя его сам.

Абаза представляет Александру Михайловичу своего двоюродного брата. Великий князь, благосклонно выслушав устные объяснения Безобразова, берет его щегольски переписанную и переплетенную в сафьян докладную записку и отправляется с ней к царю. Спустя несколько дней Безобразова принимает царь. Как и в истории с Клоповым, очень многое, если не все, зависит в эту минуту от того, какое впечатление произведет на монарха отставной кавалергардский ротмистр. Если отрицательное, кто знает — может быть, Николай II послушает не Безобразова и Абазу, а уговаривающих его оставить Японию в покое Дурново, Ламздорфа и Витте, склонится не на сторону легкомысленного Александра Михайловича, а умного и осторожного великого князя Владимира. Но Безобразов производит на государя самое лучшее впечатление — японская война решена.

В декабре 1903 года переговоры с Японией достигают предельного напряжения. Японский посланник Курино умоляет министра иностранных дел Ламздорфа ускорить ответ на его ноты, которые неделями остаются без ответа. Но Ламздорф бесилен: вся дипломатическая переписка с Японией изъята из его ведения — ее на свой страх и риск ведет «Особый коми-

тет». Курино добивается личной встречи с царем, но Николай II для японского посла неизменно «занят». На новогоднем приеме дипломатического корпуса царь произносит речь, в которой напоминает о мощи России и советует не искушать ее миролюбия. Новый год открывается при петербургском дворе рядом балов, маскарадов и приемов еще более великолепных, чем всегда. «Государь в отличном настроении духа», — отмечает в эти дни министр двора Фредерикс.

Японские миноносцы в ночь на 26 января атакуют у Порт-Артура «Цесаревича», «Победу», «Ретвизан» — «без предупреждения, не выждав даже ответных предложений правительства», как гласит высочайший манифест. «Укус блохи», — передают из уст в уста брошенные государем по поводу этой атаки слова. Куропаткин, бывший начальник штаба Скобелева, становится в позу Белого генерала. Его торжественно провожают с бесчисленными иконами.

Эти иконы вместе с пианино и розовым шелковым одеялом Куропаткина скоро будут выставлены в военном музее в Токио.

Настроение приподнятое: шапками закидаем. Плеве радуется «маленькой и победоносной войне». Он счастлив, что «русский государь и ход истории двинули большое русское дело назло английским пройдохам и жидовскому капиталу». Витте в день объявления войны видит Николая II. У царя «выражение и осанка победоносная». По всей стране происходят патриотические манифестации — добрый русский народ от души радуется, что пришел случай свести счеты с ненавистными ему макаками. Шапками закидаем!

Аня Вырубова

В девятнадцать лет Аня Танеева, высокая, полнокровная, с ярким румянцем, с тяжелыми формами, кажется тридцатилетней женщиной. По-своему она красива, но красота ее «слишком в русском вкусе», как иронизируют при дворе. В самом деле, эта дородность, тяжесть, эти румяные щеки и пышные пепельные волосы кажутся каким-то осколком московского боярства, по ошибке попавшим в чопорный и элегантный петербургский свет. «В ней нет ничего женственного, — говорит сама императрица Александра Федоровна. — Ее ноги колоссальны и крайне не аппетитны».

Аня Танеева, еще будучи подростком, всеми способами старается обратить на себя внимание государыни. Она бродит часами по царскосельскому парку, надеясь встретить царицу и поклониться ей. Через своего отца, «главноуправляющего канцелярией Его Величества» (1), имеющего у государыни личный доклад, она посылает Александре Федоровне свои рукоделья и рисунки. Тяжелая и неповоротливая, не умеющая танцевать и задыхающаяся в корсете, она не пропускает ни одного бала с высочайшим присутствием. Цели, поставленной себе, она в конце концов достигает. Правда, на балах, которые она так усердно посещает, высочайшего внимания ей не удастся привлечь, зато, когда в конце сезона она тяжело заболела, императрица будет осведомляться о ее здоровье и пришлет ей цветы.

Этому вниманию со стороны императрицы она обязана следующему. Лежа с отнявшимся языком в полузабытьи, почти приговоренная врачами к смерти, Аня Танеева кое-как объясняет домашним, что желает видеть о. Иоанна Кронштадтского. Батюшка к ней приезжает. Отслужив у постели больной молебен о здравии, он берет к ужасу докторов и родных кружку воды и окатывает Ане лицо.

Испуг окружающих напрасен: Иоанн Кронштадский, оказывается, поступил совершенно правильно. Больную передергивает резкая истерическая судорога, и она открывает глаза. Увидев розовое властное лицо кронштадтского чудотворца, склоненное над собой, Аня, улыбнувшись счастливой улыбкой, впадает в глубокий сон. На следующий день жар спадает, слух и дар слова возвращаются. Танеева начинает поправляться.

О случае этом как о чуде заговорили в окружении императрицы, и она, равнодушная ко всему загадочному, посылает Ане Танеевой привет и цветы. Этим дело и кончается, но и э о уже крупный шаг вперед. Когда летом, «случайно» оказавшись в Неаполе в одной гостинице с сестрой царицы вел. кн. Елизаветой Федоровной (2), Аня просит последнюю похорониться перед царицей о назначении ее фрейлиной — вел. кн. Елизавете Федоровне будет легко исполнить просьбу.

Царица помнит эту бедную девочку, которую спасла «вера», и охотно даст ей фрейлинский шарф. Танеева получает доступ ко двору. Принимают ее там холодно. Новая фрейлина, неуклюжая и почти не говорящая по-французски, не нравится решительно никому. Сразу все замечают ее повышенное, восторженное отношение к государыне. «Аня Танеева, самая обыкновенная глупая петербургская барышня, влюбилась в императрицу и вечно смотрит на нее медовыми глазами со вздохами ах, ах!» Так рисуется наблюдателю Вырубова тех дней (3). Неумение говорить по-французски и делать реверансы с лихвой уже искупается в ней врожденным даром притворства: внушить С. Ю. Витте, которому принадлежит фраза о «глупой барышне», столь далекое от правды мнение о себе — пример этого дара.

Двор встречает Танееву холодно. Царица говорит ей несколько приветливых слов, дарит ей медальон и перестает ею интересоваться. Ее фрейлинские обязанности сначала ограничиваются дежурствами на выходах и балах, потом ее назначают чем-то вроде сиделки к парализованной княжне Орбелиани (4). Все это очень далеко от того, к чему Танеева стремится, и ничто как будто не обещает ей перемен к лучшему. Так обстоит дело в феврале 1905 года. А в сентябре царица приглашает Танееву в морскую поездку в шхеры — честь, оказываемая только немногим избранным. После этой поездки, длящейся три недели, Александра Федоровна протягивает ей руки со словами: «Благодарю Бога, что он послал мне друга».

Уехав в шхеры незаметной городской фрейлиной, обыкновенной петербургской барышней, Аня Танеева сходит с «Полярной звезды» самым близким к государыне человеком. К этому внезапному сближению имеется ключ. Летом 1905 года Аня Танеева возобновляет знакомство с командиром Уланского ее величества полка генералом Орловым.

Александр Афиногенович Орлов несколько лет тому назад — частый гость в доме статс-секретаря Танеева, отца Ани. Орлов — офицер конной гвардии, делающий блестящую карьеру. В сорок лет он командир Уланского ее величества полка, в сорок четыре — свитский генерал, командующий кавалерийской бригадой. Этот рослый, стройный красавец с обаятельной светской улыбкой и никогда не смеющимися ледяными глазами до 1905 года известен только в военной среде как лихой кавалерист, неизменно отличающийся на маневрах и красносельских скачках. В 1905 году его имя пронеслось по всей России: во главе карательного отряда генерал Орлов «огнем и мечом» проходил по Прибалтийскому краю, наводя панику не только на население, но и на генерал-губернатора Сологуба (5), который по телеграфу умоляет государя не пускать Орлова в Ригу. Еще через три года Орлов умирает в Египте от чахотки, и смерть его вызывает множество слухов, толков, пересудов, связанных с именем императрицы (6).

Орлов — человек скромного происхождения и без средств. Он бывает в доме Танеева и до поры до времени даже дорожит этим знакомством. Танеевы не богаты и не особенно родовиты, но все же это открытый петербургский дом. Мать Ани, рожденная Толстая, имеет придворные связи, и сам Танеев занимает чисто декоративный, но высокий пост «управляющего канцелярией Его Величества». Весь этот второстепенный блеск блекнет и теряет для Орлова цену после его женитьбы на графине Стенбок-Фермор. Женитьба вводит его как равного в тот замкнутый круг высшей петербургской знати, где никто не завидует богатству, ибо все окружающие богаты и не заискивают перед чужим влиянием, ибо влиятельны сами. Здесь нет ничего удивительного быть на «ты» с государем, как Шереметьев, или жениться на дочери великого князя, как Строганов или Юсупов, и статс-секретарь Танеев со всеми его чинами и положением здесь

просто какой-то Танеев — «чиновник средней руки». Честолюбец и карьерист Орлов, поднявшись в высший общественный этаж, забывает о тех, кто остался в среднем, — они ему больше не интересны и не нужны. Меньше всего, конечно, он склонен вспоминать об Ане. Она всегда была для него неуклюжим большеглазым подростком с дурными манерами и без всякого приданого.

Летом 1905 года они случайно сталкиваются в Петергофском дворце. Много воды утекло. Жена Орлова умерла тридцати двух лет от рода скоротечной чахотки. В обществе помнят, что хрупкий организм прелестной Орловой не вынес излишеств, к которым приучил ее муж. Их короткая семейная жизнь была счастливой, но для полноты семейного счастья Орлову понадобились наркотики. После смерти жены Орлов начинает расхвирывать в безумных кутежах ее наследство и дело доходит до того, что старая графиня Стенбок, охраняя внуков и двух сыновей, грозит ему опекой.

Теперь, когда Танеева и Орлов встречаются, Орлов уже успокоился, остепенился, и жизнь его, по крайней мере внешне, вошла в обычную колею блестящего гвардейца и светского человека. Он заметно постарел. Резкая складка легла у краев красивого рта, светлые ледяные глаза смотрят еще жестче, в редких волосах блестит ранняя седина. С внимательным любопытством он смотрит на ставшую взрослой Аню Танееву. Как женщина она ему ничуть не нравится, но что-то в ней интригует Орлова. Она скромна и застенчива, но у командира улан ее величества слишком опытный глаз: глупой петербургской барышней, «самой обыкновенной», он ее не сочтет.

Они вместе выходят из дворца, вместе идут по пустынному торжественному парку. Что-то в Ане Танеевой влечет Орлова. Он знает, что. Может быть, и она знает. Их глаза — его «ледяные», ее «медовые» — понимающе встречаются. Они идут, вспоминая прошлое, болтая о светских пустяках. Но у обоих на губах имя императрицы — и неважно, кто первый его произнесет.

В доме статс-секретаря Танеева радостное смятение. Государыня прислала нарочного с просьбой отпустить Аню с ней в морскую поездку по шхерам. Старик Танеев сам укладывает чемодан дочери, заискивая, ухаживает за ней. Такая честь. Честь действительно исключительная. В эти поездки на императорской яхте приглашаются только немногие избранные, и такое приглашение важнее всякой награды. Это путь к самому сердцу власти.

«Полярная звезда» снимается с якоря. Погода «лейб-гвардии петергофская», как шучивал император Николай Павлович. Море спокойно, солнце сияет, медь и красное дерево великолепной яхты нарядно блестят. «Вы теперь абонированы ездить с нами», — улыбаясь, говорит Ане Танеевой государь, и дымок его душистой папироски тянется в воздух. У Танеевой «от волнения леденеют руки». Ничего — они скоро перестанут леденеть.

Общество, собравшееся на борту «Полярной звезды», немногочисленно. Царь, царица, морской министр Бирилев, несколько флигель-адъютантов (7) и флаг-офицеров и, конечно, генерал Орлов. Этот последний вносит в непринужденную обстановку увеселительной поездки без чинов и придворного этикета легкий холодок байронизма. Это его обычная, давно найгранная, давно испытанная манера. Он величаво спокоен, любезно грустен. Фигура его резко выделяется среди окружающих. Государь кажется перед ним низкорослым, адмирал Бирилев комическим, флигель-адъютант Оболенский карикатурно-хлыщеватым. Единственный, кто здесь красотой и осанкой ему под пару, — это сама царица.

После ужина царь, откинувшись в шезлонге, весело хохочет над еврейскими анекдотами, которые с ужимками рассказывает ему адмирал, молодые офицеры курят и пьют ликеры, Аня Танеева, еще не освоившаяся с обстановкой, робко жметя к гоф-лестнице Шнейдер (8). Царицы на палубе нет. В полутемной каюте, с не женской силой ударяя по клавишам, она играет Бетховена. Орлов сидит поодаль, и царица чувствует на своем лице его пристальный грустный ледяной взгляд. Она чувствует этот взгляд и тогда, когда Орлова нет рядом.

Впервые Александра Федоровна встречает Орлова в 1889 году. Ужасный год, о котором она хотела бы совсем забыть. Петергоф, душное лето с грозами и ливнями. После нескольких дней томительной неопределенности — признают или не признают подходящей невестой — страшный, давно предчувствуемый и все же кажущийся невероятным провал. День отъезда в Ильинское, оттуда в Англию — назначен, все кончено. Каменная улыбка матери-царицы, растерянное лицо наследника. И — как в бреду — гремит военная музыка, вьются трехцветные флаги, бьют фонтаны, сияют золоченые статуи, оттеняя ее унижение.

В светской толпе, еще недавно лебезившей перед будущей царицей и теперь, когда стало известно, что кандидатура ее провалилась, заметно к ней охладевшей, один человек удваивает к принцессе Алисе почтительность и внимание. Это Орлов. Сталкиваются они мало, и промежуток до отъезда короток, но что-то, что красноречивей слов, сквозит в лице этого двадцатисемилетнего офицера, когда он приветствует принцессу Алису в парке, подает ей стул или грустно смотрит в окно ее отъезжающего вагона, вытянувшись и приложив руку к красному околышу конногвардейской фуражки. Как ни мимолетно все это — принцесса Алиса запомнит Орлова навсегда. Спустя шесть лет, в дни коронации, она узнает его в конном строю сводного гвардейского эскадрона и, нарушая этикет, улыбается и кивает ему. В Петербурге по желанию молодой царицы Орлова переводят в ее собственный уланский полк, назначают флигель-адъютантом, и, когда царская чета появляется в полковом собрании, все обращают внимание, что царь и царица обращаются с молодым офицером как с близким знакомым. Начинается стремительное восхождение звезды Орлова при петербургском дворе.

Карьера Орлова блестяща, но он ею недоволен. С царской семьей его связывает исклочительная, вызывающая зависть и сплетни близость, но Орлову этой близости мало. Чего же он добивается? Что-то во взгляде, улыбке, интонациях государыни как будто дает ему надежду — в то же время он твердо знает, что надежда эта никогда не осуществится. А ловко пущенная кем-то клевета уже делает свое дело. Эти толки сводят Орлова с ума. Кокаинист, неврастеник, он сам не знает, оскорбляют или радуют его эти толки. Во всяком случае, они его возбуждают, заставляя терять остатки душевного равновесия.

Давая совет государыне пригласить Аню Танееву в поездку, всячески содействуя сближению их, генерал Орлов преследует вполне ясную цель. Он уже проводил во дворец деревенскую пророчицу Дарью Осипову, рассчитывая через нее повлиять на волю царицы. Теперь он из «обыкновенной русской барышни» создает будущую Вырубову, роковую для династии и России временщицу — «лучшего друга царицы». Всем при дворе известно, что путь к сердцу Александры Федоровны короче и верней всего — через всевозможных кликуш, юродивых, истеричек, одержимых, действующих на нее неотразимо, как желанный дурман. Орлов и избирает этот вернейший и кратчайший путь. Но он ошибается в расчете, думая, что Аня Танеева будет его сообщницей: использовав его влияние при дворе, она холодно от него отвернется. У нее собственный путь. Он гораздо сложнее и туманней, цель, которая маячит перед ней, еще не ясна ей самой. Но положение ее много выигрышней, и шансов на успех у нее неизменно больше: Орловым движет слепая страсть, Аней Танеевой — инстинкт лживой, властной, бездушной истерички.

В Виндзоре, во время сватовства, наследник шутя спрашивает принцессу Алису, какой женой собирается она ему быть. Она отвечает строчкой английских стихов:

«Верной, любящей, преданной, чистой и сильной, как смерть».

Это не пустые слова. Здесь все в точности соответствует душевному складу будущей русской царицы. В устах принцессы Алисы эти слова звучат не только программой будущей жизни, но и торжественной клятвой эту программу исполнить. Царица никогда от нее и не отступит. Но самая верная жена может быть не удовлетворена душевно, самая любящая может скучать, самая сильная, не находя поддержки в муже, инстинктивно искать иной опоры. Царица грустна и одинока — ей нужна рука, на которую мож-

но опереться, сердце, преданное до конца. «Вот это сердце, эта рука!» — твердит красноречивое молчание Орлова. «Вот она!» — шепчет, как эхо, как комар над ухом, вкрадчивый, льстивый голос Ани Танеевой.

Все, о чем мечтала принцесса Алиса, как будто целиком сбылось. Она — императрица всероссийская. Внешне — блеск, преклонение, безграничная царская власть, безграничный простор самодержавной России; внутри, для себя, — тихий семейный очаг, уют, «полное счастье на земле», как отмечает в дневнике государь. Но среди этого внешнего блеска, среди этого семейного тепла: «Я плачу и мучусь целыми днями», — жалуется царица своей немецкой подруге графине Ранцау (9). Она плачет и мучается, отношения ее с мужем неровные. «Когда я бываю усталой, я тебе резко отвечаю, прости мне, любимый, каждое резкое слово», — признается она.

«Когда бываю усталой». Но усталой она бывает почти всегда: целыми днями лежит на кушетке, не выходит к обеду, постоянно жалуется на головную боль (10). Все ей не нравится, раздражает, не так, не вкусно. «У всех чай вкусней, чем у нас, и больше разнообразия», — говорит она о том самом интимном пятнадцаточасовом чае, который для Николая II отдых, развлечение, «самое приятное время дня», о наступлении которого он мечтает во время утомительных государственных дел (11).

Александра Федоровна искренно любит государя, целиком предана ему. Но они разные, слишком разные люди. Она экзальтирована, восторженна, романтична. Она думает о любви патетическими фразами английских романов, исписав ими вдоль и поперек сухой, сдержанный дневник государя. «Я мечтаю о поцелуях, которые остаются навсегда». «Бьют часы на крепостной башне и напоминают нам о смертном часе, но не смущайся, — любовь вечна, ее поцелуи горят на моем разгоряченном челе». Этот приподнятый стиль органически чужд натуре Николая II. Его представления о жизни, о семейном счастье самое естественное, самое простое. У каждого человека есть обязанности, служба, дела — скучная, но неизбежная сторона жизни. Обязанности царя тяжелы, порой несносны, но такова уж царская участь. Как ни утомительны доклады министров, их надо изо дня в день выслушивать, как ни скучно «расчищать письменный стол», до боли в суставах класть резолюции и ставя пометки, — делать это необходимо.

Зато после трудового дня его ждет удобное кресло, вкусный чай, прогулка пешком или в санях и все это «с моей ненаглядной красавицей и душкой Аликс». «Принял Ванновского, Победоносцева, Витте. Много читал и успел все накопившееся окончить. Завтракал позже обыкновенного, т. е. опоздал из-за приема»... Нудный, полный неприятных хлопот день. «Зато провел чудный вечер с дорогой моей Аликс».

По вечерам Николай II любит читать вслух. Иногда царь и царица играют в четыре руки. Очень нравится государю разбирать фотографии и наклеивать их в альбом. Он употребляет для этого особенный белый клей, выписываемый из Англии, и гордится, что никогда не сделал в альбоме ни пятнышка. Чем больше эти досуги отвлекают от государственных забот, заставляют их забыть, тем приятней царю, тем полней ощущение покоя и семейного счастья. Но время от времени, не удержавшись, царица заговаривает на политические темы. Тогда голубые сияющие глаза царя сразу тускнеют. «Чудный вечер» испорчен.

Александра Федоровна это знает. Она знает также, что из ее попыток вмешаться в политику получаются одни неудачи. Не таков характер государя, не такова обстановка. «Надо учиться трудному искусству ждать», — часто повторяет царица. Эта фраза, прочитанная в детстве в английской нравоучительной книжке, помогла ей перенести многое, должна помочь и теперь.

Две страсти мучают Александру Федоровну: жажда власти и страх. С ненасытной жаждой власти она родилась. С тех пор как она стала царицей, к этому прибавился страх. По настоянию царицы караулы вокруг дворца удвоены. По новой инструкции часовым вменено в обязанность ночью стрелять по посторонним без предупреждения. Николай II, еще недавно гулявший по Петербургу без всякой охраны, недоумевает — к чему это? Царица говорит, что боится революционеров. Но гораздо больше, чем революции, она страшится и ждет дворцового переворота.

«Как профиль твоего мужа похож на профиль императора Павла», — говорит ей принц Уэльский за свадебным завтраком. Эти случайные, неосторожно оброненные слова потрясают царицу. Блеснув, как луч прожектора, в ее разгоряченном воображении, они выхватывают из тьмы прошлого страшный призрак задуманного придворными самодержца и переносят его в будущее.

Он был сам виноват, этот бедный Павел, знавший, как она, что «Россия любит почувствовать хлыст», но не сумевший удержать хлыст в руках. Царь обязан подозревать каждого, а он был доверчив. Верил министрам, верил великим князьям, верил всей этой льстивой челяди, которая низко кланяется, подобострастно заглядывает в глаза, а потом бежит в Аничков дворец, к императрице-матери, интриговать, высмеивать, распространять отвратительные сплетни. Теперь сплетничают, потом подожгут убийц. Народ как-нибудь обманут.

Народ боготворит царя. Но между царем и народом — Витте, Аничков, Синод, масоны, жида, придворные, революционеры. Стена. Самое главное — разрушить эту стену. Но сразу сделать ничего нельзя. Надо еще и еще учиться искусству ждать. Надо ждать многого. Ждать охлаждения между матерью и сыном. Николай II изо дня в день приближается к этому, но связь еще очень крепка. Если сейчас идти ва-банк, неизвестно еще, кто перетянет, — властная мама, запретившая когда-то жениться, или жена, теперь обожаемая, но тогда так легко оставленная по первому слову матери. Ждать, чтобы любовь мужа, нежная, даже пылкая, стала чем-то большим, надо подменить своей его неустойчивую, колеблющуюся волю. Нельзя оставаться так, как она живет теперь, — в одиночестве среди семейного счастья, в беззащитности среди поклонения и блеска. Надо искать друзей. Хоть одного, но верного друга. Хоть одну руку, на которую можно опереться, хотя одно сердце, преданное до конца.

Путешествие на «Полярной звезде» длится три недели. Оно приятно и успокоительно. Яхта плывет вдоль берегов Финского залива, останавливаясь, где заблагорассудится пассажирам. На берегу устраиваются привалы и пикники. Царица с детьми собирает чернику, царь ищет грибы и очень доволен, что набрал больше боровиков, чем нерасторопный адмирал. Император и императрица всероссийские на время как бы перестали существовать. Есть добродушный, благовоспитанный, очаровательный гвардейский полковник и его жена, красивая, грустная дама. Они отдыхают в обществе друзей на лоне природы и, словно навсегда, забыли, что где-то есть двор, империя, династия, интриги придворных, бомбы революционеров. Если бы не серые силуэты миноносцев, конвоирующих яхту, и не странное безлюдье на берегах, заранее оцепляемых полицией, — иллюзия была бы полной.

Императрица играет с Танеевой в четыре руки (12). Царь находит, что у нее сонный вид, и предлагает вставить в каждый глаз по спичке, чтобы не смыкались веки. Честолюбивая Аня пьянеет, как от вина, от этой такой неожиданной и такой полной близости к царской семье. Она ни на минуту не забывает, чьи пальцы бегают рядом с ее по клавишам рояля, кто, мягко улыбаясь в рыжеватые усы, протягивает ей спичечницу с бриллиантовой монограммой. Затаив дыхание, она прислушивается и приглядывается. Она знает — перед ней шахматная доска власти, и выигрывает почти обеспечен: царица правдива и простодушна, горда и одинока, — против тонкой паутины лживого обожания, притворной преданности, которую плетет вокруг нее «лучший друг», ей не устоять.

Теперь — царская яхта и Орлов, потом белый домик в Царском Селе и Распутин. Царица, царь, Россия, война... Надо всем маячит магически-влекущая, самой Вырубовой неясная цель. К ней стремится все ее истерическое существо, к ней влечет безошибочный кошачий инстинкт, — но цель скрыта в тумане. Она станет ясней позже... спустя тринадцать лет.

Схваченная во время бегства в Финляндию, измученная, растерзанная Вырубова, лежа в кишащем вшами трюме, всю ночь слышит споры пьяных матросов — кому и как прикончить «царскую наперсницу» и придется ли рубить ее труп пополам, чтобы протиснуть в люк. По дикой насмешке судьбы — это трюм той самой «Полярной звезды», где началась

ее близость с царицей. Понимает ли Вырубова хоть теперь, к какой страшной именно цели она стремилась, увлекая за собой царицу, царя и Россию?

Комментарии

К главе «За гробом Александра III»

¹ Ср. с воспоминаниями С. Ю. Витте: «Но сам государь болезнь свою не признавал. Вообще в царской семье есть какой-то странный — не то обычай, не то чувство — не признавать своей болезни и по возможности не лечиться, и вот это-то чувство, эта привычка у императора Александра III были особенно развиты».

² Об этой связи императора с Кшесинской писал в своем дневнике 8 февраля 1893 г. А. С. Суворин: «Наследник посещает Кшесинскую и... ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Он ездит к ним, даже не нанимая ей квартиры, и ругает родителя, который держит его ребенком, хотя ему 25 лет. Очень неразговорчив, вообще сер, пьет коньяк, сидит у Кшесинской по 5—6 часов, так что очень скучен и жалуется на скуку» («Дневник А. С. Суворина», М.—Пг., издательство Л. Д. Френкель, 1923, стр. 24).

³ Истерические припадки царицы вполне соответствовали стилю этого правления, вовлекшего Россию в две большие войны и уничтожившего страну и ее древние институты. Александра Федоровна использовала истерические припадки как средство достижения своих весьма прагматических целей. В. И. Гурко, знавший в подробностях историю последнего царствования, писал об Александре Федоровне: «Она умела настоять на исполнении другими ее пожеланий, которые она высказывала в императивной форме, но собою она владела далеко не всегда и, случалось, весьма бурно выражала овладевшие ею в данную минуту чувства, впадая даже порою в истерические припадки. К ним она, по-видимому, прибегала в крайних случаях и сознательно для получения согласия Государя на то, с чем он упорно не соглашался. Устоять перед истерикой страстно любимой им женщины Николай II не был в состоянии, в чем будто бы в отдельных случаях и сознавался» (В. Гурко. Царь и царица. Изд. «Возрождение», Париж, 1927, стр. 29).

⁴ Алиса, будущая императрица Александра Федоровна, родилась в 1872 г.

⁵ Владимир Александрович, великий князь, занимал должность командующего гвардией и войсками Петербургского округа.

⁶ Д. Ф. Трепов — обер-полицейстер в Москве в 1896—1904 гг. По словам Витте, Трепов своей политикой революционизировал Москву, превратив ее в центр восстания. В апреле 1905 г. он был назначен товарищем министра внутренних дел. Случай с Треповым заимствован Г. Ивановым из воспоминаний графа Витте: «На Невском проспекте вдруг я слышу голос «смирно», — пишет Витте. — Я невольно поднял глаза и увидел молодого офицера, который при приближении духовенства и гроба скомандовал своему эскадрону: «Смирно». Но вслед за этой командой «смирно» он скомандовал еще следующую: «Голову направо, смотри веселей». Последние слова мне показались такими странными, что я спросил у своего соседа: «Кто этот дурак?» На что мой сосед ответил, что это ротмистр Трепов, который впоследствии сыграл такую удивительную роль... в сущности говоря, продолжал быть закулисным диктатором» (Витте. Воспоминания, т. 2, стр. 4—5).

Николай II приблизил к себе Трепова, назначив его в октябре 1905 г. дворцовым комендантом, и прислушивался к его советам. Последний император не обладал способностями государственного деятеля, и только этим фактом можно объяснить его готовность следовать советам таких людей, как Трепов, П. Гессе и А. Вырубова.

⁷ Императорское бракосочетание состоялось 14 ноября, т. е. через три недели после смерти Александра III. Свадебная церемония явилась фактически первым событием нового царствования. На 22-летнюю императрицу первое время общество возлагало некоторые надежды, предполагая, что «она внесет в русскую жизнь те начала, среди которых была воспитана» (см. С. Ольденбург. Царствование императора Николая II, стр. 48). Никто еще не предполагал, что идея авторитарии для молодой царицы значила даже больше, чем для менее честолюбивого и более деликатного в человеческих отношениях ее супруга.

К главе «Предшественник Распутина»

¹ В. В. Муравьев-Амурский — полковник Генерального штаба, брат министра юстиции Н. В. Муравьева, исполнявшего свою министерскую должность с 1894-го по 1905 г. Муравьев-Амурский, — пишет Витте, — «был человек положи-

тельно ненормальный, он все хотел нас втащить в историю с ненавистным ему республиканским правительством... Граф Муравьев-Амурский и другие поклонники Филиппа провозгласили его святым, во всяком случае, они уверяли, что он не родился, а с небес сошел на землю и также уйдет обратно» («Воспоминания», т. 2, М, 1960, стр. 263).

² Первым в череде мистических увлечений царствующей супружеской пары был известный автор оккультных сочинений француз Папиус. По-видимому, вторым в этом ряду был Филипп — человек, не лишенный мистических способностей и одаренный живым и гибким умом — отличным подспорьем в карьере хрупкого авантюриста. Во Франции он преследовался полицией за шарлатанство и мечтал переселиться в какую-нибудь другую страну. Мечта оказалась в особенности осуществимой, когда Филипп познакомился с российским военным агентом во Франции Муравьевым-Амурским. Через последнего Филипп познакомился с дочерью Николая, князя черногогорского, Сестры Милица Николаевна и Стана Николаевна, так называемые «черногорки», были близки к императрице Александре Федоровне. Филипп не то чтобы переселился в Россию, однако подолгу проживал при дворе в Царском Селе и Петергофе. Военный министр Куропаткин ходатайствовал, чтобы Филиппу был вручен диплом Петербургской военно-медицинской академии. Пожалован он был и чином действительного статского советника (равным генеральскому). О степени влияния Филиппа на императрицу говорят ее письма. В одном из них, адресованном Николаю II, где речь идет о невозможности введения в России конституционного строя, в качестве особенно веского довода сказано: «Ты помнишь, мосье Филипп говорил то же самое». В другом письме Александры к Николаю проглядывает даже более фанатичная вера: «Бог и наш дорогой Друг помогут нам. Я знаю это». Под «дорогим Другом», располагавшим божественными силами, имеется в виду тот же Филипп. Николай II говорил Витте, что единственный человек, которому он верит как самому себе, — это Александра Федоровна, и соответственно болезненная вера императрицы во всемогущество Филиппа не могла не оставить следа и на самом императоре.

В. И. Гурко, на книгу которого («Царь и царица») Георгий Иванов опирался в немалой степени, утверждал, что Филипп «сумел обольстить и Государя» (стр. 77). Гурко в подтверждение цитирует дневник Половцова: «Филипп внушает Государю, что ему не нужно иных советчиков, кроме представителей высших небесных сил, с коими он, Филипп, ставит его в сношение».

³ П. И. Рачковский — главный агент департамента полиции в Париже в 1885—1902 гг. Его характеризует Витте: «Рачковский, несомненно, был чрезвычайно умный человек и умел организовать дело полицейского надзора. Несомненно, как полицейский агент Рачковский был одним из самых умных и талантливых полицейских, с которыми мне приходилось встречаться». Рачковский, по воспоминаниям современников, оказал влияние на процесс сближения России с Францией.

Во время поездки Николая в Дармштадт в сентябре 1899 г. Рачковский негласно заведовал царской охраной. Однажды президент Франции Лубэ во время своей поездки в Лион, где готовилось на него покушение, обратился к Рачковскому с предложением организовать охрану во время этой поездки, предпочитая русского полицейского чина его французским коллегам.

Рачковский был близок к Горемыкину, министру внутренних дел, считавшему Рачковского своим лучшим иностранным агентом. Тем же благорасположением пользовался Рачковский и при министре Сипягине, сменившем в 1899 г. Горемыкина. Покровительство со стороны Сипягина кончилось только с его смертью, и при Плеве Рачковскому припомнили его негативные характеристики Филиппа.

⁴ Ср. с воспоминаниями Витте: «Покуда занимал пост министра внутренних дел благородный и честный человек Сипягин, Рачковского не трогали... Но после того, как Сипягина безвинно злодейски убили... с Рачковским скоро расправились... Что касается Филиппа, то, будучи в России, он находился на особом попечении дворцового коменданта Гессе... Гессе счел нужным запросить Рачковского, что представляет собой Филипп. Рачковский составил относительно этой личности рапорт, где он фактически представил Филиппа шарлатаном. Этот рапорт он привез в Петербург... Ранее, нежели представить его Гессе, он прочел его Сипягину. Сипягин ему сказал, что как министр внутренних дел он об этом рапорте ничего не знает... а как человек советует бросить его в топившийся камин» (т. 2, стр. 273—274). При Плеве на место Рачковского в качестве резидента в Париже был назначен журналист Манасевич-Мануйлов. Впрочем, при диктаторе Трепове карьера Рачковского снова пошла в гору. Вместе со знаменитым Зубатовым (вспомним «зубатовщину», элементы которой просматриваются и в современной «гласности») Рачковский стал приближенным Трепова.

⁵ Ср. с аналогичным абзацем в кн. В. И. Гурко «Царь и царица» (стр. 70): «Досужая болтовня великосветского, посещавшегося всеми великими князьями Яхт-клуба, этого центра столичных политических и светских сплетен, где пере-

мывали косточки всех и каждого и где не щадили императрицы, действительно не заслуживала со стороны императрицы иного отношения. Распространению по городу неблагоприятных для государыни рассказов впоследствии способствовали... кн. В. Н. Орлов и С. И. Тютчев». О том же читаем в воспоминаниях одного из членов царской свиты — В. И. Мамантова: «Русское общество даже в высших слоях всегда было склонно к распространению самых невероятных слухов и сплетен про императорскую фамилию» («На государевой службе». Таллин, 1926, стр. 79).

⁶ Тот же верноподанный Мамантов (см. предыдущее примечание) писал о своем первом впечатлении от императрицы: «Государыня показалась мне выдающейся красавицей с величественною, царственною осанкой и удивила меня сохранившеюся у нее способностью часто смущаться и краснеть» (стр. 50). И в другом месте (стр. 136): «Крайне застенчивая с посторонними, стеснявшаяся еще в то время недостаточного знания русского языка...»

⁷ Очевидно, эти выбранные места из переписки королевы Виктории с внучкой-императрицей Георгией Ивановой заимствованы из книги В. И. Гурко «Царь и царица». У Гурко эти цитаты приведены в следующем переводе: «Английская королева, узнав, что молодая Царица не завоевала симпатий петербургского общества, писала ей приблизительно следующее: «Нет более трудного ремесла, нежели наше царское ремесло. Я царствую более сорока лет, царствую в моей родной стране, которую знаю с детства, и тем не менее каждый день я раздумываю над тем, что мне надо сделать, чтобы сохранить и укрепить любовь ко мне моих соотечественников. Каково же твое положение и сколь оно безмерно труднее: ты находишься в чужой стране, в стране, тебе совершенно незнакомой, где быт, умственное настроение и сами люди тебе совершенно чужды, и все же твоя первейшая обязанность — завоевать любовь и уважение».

На это письмо Александра Федоровна будто бы (разрядка моя. — В. К.) отвечала: «Вы ошибаетесь, дорога бабушка, Россия не Англия. Здесь нам нет надобности прилагать какие-либо старания для завоевания любви народа. Русский народ почитает своих царей за божество, от которого исходят все милости и все блага. Что же касается петербургского общества, то это величина, которой можно вполне пренебречь».

«Мнение лиц, составляющих это общество, и их зубоскальство не имеют никакого значения. Зубоскальство — их природная особенность, и с ней так же тщетно бороться, как напрасно придавать ей какое-либо значение».

«Я, конечно, — добавляет Гурко, — не ручаюсь за достоверность приведенных писем, но, во всяком случае, они ходили в Петербурге по рукам и, разумеется, не способствовали установлению добрых отношений между молодой царицей и тем единственным внешним миром, с которым она входила в непосредственное соприкосновение» (стр. 69—70).

⁸ Однажды обер-прокурор Синода К. Н. Победоносцев получил царское приглашение к завтраку. Победоносцев был удивлен, так как некоторое время чувствовал, что более не пользуется былым расположением Николая II. После завтрака царь сказал Победоносцеву, что хотел бы, чтобы последний издал указ о провозглашении Серафима Саровского святым. Победоносцев возразил, что провозгласить святым имеет право не обер-прокурор, а святейший Синод в целом. На что присутствовавшая во время разговора императрица заметила: «Государь все может». Вите писал, что эти слова он слышал от императрицы по самым разнообразным поводам.

⁹ Этот же анекдот встречается в книге: «V. Poiakoff (Augur), The Tragic Bride, D. Appleton and Company, 1928»: «Имеются записи о том, — пишет Поляков, — что русский дипломат, осторожно выспрашивавший маршала при дворе великого герцога относительно характера принцессы Алисы, был удивлен, когда старый джентльмен поднялся, закрыл дверь и затем прошептал дипломату, что все были бы рады, если бы ее величество покинула Дармштадт» (стр. 21).

¹⁰ Великий князь Петр Николаевич был генерал-инспектором по инженерной части. На даче Петра Николаевича была устроена встреча Филиппа с Иоанном Кронштадтским. Петр Николаевич был одним из главных посредников в знакомстве Филиппа с императорской четой.

¹¹ Александр Орлов — командир уланского ее величества императрицы Александры Федоровны полка. Участвовал в спиритических сеансах, устраиваемых при дворе. Императрица одно время хотела женить его на Анне Танеевой, в будущем знаменитой Вырубовой.

¹² Имеются свидетельства, что и после смерти Филиппа, последовавшей в июле 1905 г. в Лионе, куда он поехал для проверки своих финансовых дел, императрица все еще дорожила подаренной ей Филиппом иконой с серебряным колокольчиком, указывающим приближение неприятеля или недоброжелателя ее лично и Николая II. В Петербурге распространялись также слухи, что император ходит на прогулку с тростью, некогда принадлежавшей Филиппу и подаренной последним «на счастье».

¹³ Князь А. П. Урусов был русским послом во Франции в 1898—1903 гг. По словам Вите, человек «совершенно бесцветный». Именно Урусов менее чем

за год до начала войны с Японией уверял и, кажется, уверил французского министра иностранных дел, что слухи о возможной русско-японской войне — совершенный вздор.

К главе «Коронация Николая II»

¹ Краткое описание очевидца находим в «Дневнике» А. С. Суворина в записи от 9 мая 1896 г. (М.-Пг., 1923, стр. 100—101): «Погода хорошая. Есть облачка. Выезд царя... Народ стал собираться в 5 часов утра. Все заметили, что государь был чрезвычайно бледен, сосредоточен. Он все время держал руку под козырек во время выезда и смотрел внутрь себя. Императрицу-мать народ особенно горячо приветствовал. Она почти разрыдалась перед Иверской, когда государь, сойдя с коня, подошел к ней высадить из кареты».

Далее говорится с чужих слов о том, что некто видел и слышал «смех американцев над этой помпой. Они делали ядовитые замечания и говорили, что это сказочно».

Царь приехал в Москву 5 мая, в день своего рождения, и остановился в подмосковном Петровском дворце. Торжественный въезд 9 мая был первым со дня окончания траура по Александру III «явлением» нового царя во всем блеске и пышности, которые подобали церемонии. 13 мая Николай II и Александра переехали в другую резиденцию — в Кремль. «Новое время» сообщало, что на коронационные торжества прибыли греческая королева, два владетельных князя, три правящих герцога, двенадцать наследных принцев, шестнадцать принцев и принцесс. В. И. Мамантов, служивший в канцелярии его императорского величества, вспоминал, что канцелярия восемь месяцев готовилась к предстоящим торжествам. «Заняты все мы были чрезвычайно, — писал Мамантов, — и я немногим удалюсь от истины, сказав, что часто у нас буквально не было минуты свободной». Далее в его мемуарах следует описание его личных впечатлений от праздника: «Убранство и иллюминация Кремля и города, кишевшего празднично настроенным народом в самых разнообразных одеяниях и костюмах, представляло чудную, сказочную картину. Съезд иностранных высочайших особ и представителей разных государств был необычайный, и разнообразные формы их делали эту картину особенно красочной и оригинальной... Московские торжества окончились 24 мая... Вспоминая это время, я с сокрушением думаю о том, как мало заметным и недостаточно оцененным прошло опубликованное в день коронации обращение государя к иностранным державам, предлагающее все возникающие недоразумения разрешить не силою оружия, а мирным путем при помощи особого международного трибунала... Призыв этот и указанный им путь избавил бы мир от тех ужасов, которые приходится ему теперь переживать» («На государственной службе». Таллин, 1926).

Добавим еще две существенные подробности относительно коронационных торжеств. Во-первых, в их сценарии Николай II пожелал ничего не менять и приказал следовать в каждой детали тому порядку и программе, которые были установлены в дни Александра III, отца Николая. Другая немаловажная подробность, которую следует здесь отметить, — слухи уже тогда поползли по Москве: «Немка» (т. е. Александра Федоровна), — говорили в толпе, — принесет династии несчастья».

² Полковник А. А. Власовский был назначен на должность московского обер-полицейстера (которую он исполнял и в дни Ходынки) великим князем Сергеем Александровичем. Очень резкую характеристику дал ему в своих воспоминаниях С. Ю. Витте: «Власовский же (как я с ним познакомился) действительно принадлежит к числу таких людей, которых достаточно видеть и поговорить с ними минут десять, чтобы усмотреть, что он представляет собой такого рода тип, который на русском языке называется «хамом» (т. 2, стр. 70). Впрочем, именно Власовский оказался тем «стрелочником», которого сочли едва ли не единственным виновником ходынской трагедии.

³ Великий князь Сергей Александрович Романов, сын Александра II, московский генерал-губернатор, убитый в начале 1905 г. террористом Каляевым. Ранее командовал Преображенским полком. Был женат на Елизавете Федоровне, сестре последней царицы; оказывал немалое влияние на политику Александра III. В начале царствования Николая II Сергей Александрович, приходившийся Николаю дядей, оказывал несомненное влияние на правление молодого императора. Витте, например, утверждал со всей определенностью, что Сергей Александрович «до самой своей смерти был одним из самых близких и влиятельных лиц» при дворе Николая II.

⁴ Возможно, этот абзац основан на записи от 14 мая 1894 г. в «Дневнике» А. С. Суворина: «Раздача объявлений о коронации привела к беспорядкам, — кого-то избили, опрокинули карету... Оказалось, что это устроили скупщики, которые наняли по 30 коп. всякий сброд, который толкался гурьбой и выхватывал листы. Скупщики платили еще и с листа. Объявления эти продаются по 5 руб. Нажива, стало быть, знатная».

⁵ Член Государственного совета граф фон дер Пален был обер-церемониймейстером коронации.

⁶ Военный мундир, в котором короновался Николай II, — менее всего случайная деталь коронационного церемониала. Сам Николай II считал себя «военным» и неоднократно подчеркивал свое отличие от «штатских». В. Н. Мамантов, сопровождавший царя в его поездке в Дармштадт, через несколько месяцев после коронации рассказал анекдот о том, как Николай II, не имевший привычки «носить штатское платье», обратился к Мамантову с «каким-то вопросом по поводу своего костюма, а затем вдруг сказал: «Вы, впрочем, с презрением смотрите на то, как мы, военные, носим штатское платье, и посмеиваясь над нашими неумением». Я, конечно, постарался уверить его величество в противном.

«Но, — прибавил я, — цилиндр вашего величества действительно приводит меня в некоторое недоумение и смущение...» Мое замечание, смелости которого я и сам испугался, по-видимому, задело Государя за живое. Он быстро снял свою шляпу и начал ее рассматривать. «Не понимаю, — сказал он, — что вы находите нехорошего в моем цилиндре, прекрасная шляпа... Ваше замечание не больше, как простая придирка штатского к военному» («На государевой службе», стр. 118).

К главе «Ходынка»

¹ План Николая II о проведении коронационного праздника основывался на подражании коронации его отца Александра III. Но во время коронации Александра III на народное гуляние вышло до двухсот тысяч человек, тогда как толпа в ночь на 18 мая (дата ходынской катастрофы) насчитывала, по-видимому, не менее полумиллиона. Сведения о прибытии в Москву иногородних заимствованы Г. Ивановым из «Дневника» А. С. Суворина, в котором в записи от 18 мая 1896 г. сказано: «В Москву в эту ночь по одной Московско-Курской дороге приехало более 25 000. Что это была за толпа и что за ужас!» (стр. 105).

² Об этом разделении среди высших сановников на две партии: одна — за Воронцова-Дашкова, другая — за великого князя Сергея Александровича, — писал в своих «Воспоминаниях» Витте: «Одна партия утверждала, что здесь министерство двора ни при чем, что виновата исключительно в катастрофе московская полиция, а другие почли более для себя выгодным пристать к партии великого князя Сергея Александровича и поэтому утверждали, что великий князь и его полиция тут ни при чем, а вся вина падает исключительно на чинов министерства двора» (т. 2, стр. 71).

³ Ср. с записью от 19 мая 1896 г.: «Вчера говорили, что он стрелялся, но адъютант подтолкнул руку, и он выстрелил в картину — ничего этого не было» («Дневник» А. С. Суворина).

⁴ Эти сведения целиком взяты из «Дневника» Суворина, в котором говорится: «Около 3-х часов дня (!) народ говорил: «Что же вы нас умирать заставляете в давке». Около 4-х часов передавали людей над головами без признаков жизни».

⁵ Цитата из «Дневника» Суворина, стр. 116.

⁶ Также из «Дневника» Суворина, стр. 117.

⁷ Ср. с изложением этого случая в «Воспоминаниях» Витте: «На это Ли Хун-Чжан задал мне такой вопрос: «Скажите, пожалуйста, неужели об этом несчастье все будет подробно доложено Государю?» Я сказал, что не подлежит никакому сомнению, что это будет доложено... Тогда Ли Хун-Чжан помахал головой и сказал мне: «Ну, у вас государственные деятели неопытные; вот когда я был генерал-губернатором Печелийской области, то у меня была чума и поумирали десятки тысяч людей, а я всегда писал богдыхану, что у нас благополучно...» (т. 2, стр. 68—69).

⁸ Там же, стр. 69.

⁹ «В течение дня мы не знали, — пишет Витте, — будет ли отменен по случаю происшедшей катастрофы этот бал или нет; оказалось, что бал не был отменен». «Императрица Мария Федоровна, — сказано в «Дневнике» Суворина, — говорила Государю, что он может ехать на французский бал, но чтобы не оставался там более получаса». Несколько иначе интерпретирует этот случай С. С. Ольденбург в своей книге «Царствование императора Николая II» (Белград, 1939, стр. 51): «В тот день несчастья был назначен прием у французского посла, и государь (по представлению министра иностранных дел кн. Лобанова-Ростовского) не отменил своего посещения, чтобы не вызвать политических привотолков».

¹⁰ Ср. с записью в «Дневнике» Суворина: «Государь встретил один из вожов на Тверской, вылез из экипажа, подошел, что-то сказал и, понурив голову, сел в коляску» (стр. 108).

К главе «Высочайшие будни»

¹ Эта цитата заимствована Г. Ивановым из «Воспоминаний» Витте, где говорится: «Когда перед Японской войной Его Величество сделал Безобразова статс-

секретарем и он начал играть такую выдающуюся роль в судьбах России, то он привез сюда свою жену для того, чтобы представить ее при дворе... Безобразова, эта честная, очень милая и образованная женщина, была чрезвычайно смущена и говорила: «Никак не могу понять, как Саша может играть такую громадную роль, неужели не замечают и не знают, что он полупомешанный?» (т. 2, стр. 182).

² Извольский А. П. — министр иностранных дел с 1906-го по 1910 г., затем до 1917 г. посол в Париже.

³ Цитируется книга В. И. Гурко «Царь и царица». Изд. «Возрождение», 1927.

⁴ См. книгу В. И. Гурко, стр. 22. Гурко также пишет, что «слабоволие это состояло в том, что он не умел властно настоять на исполнении другими лицами выраженных им желаний, иначе говоря, не обладал даром повелевать».

⁵ П. Н. Дурново — в конце 1905-го — в начале 1906 г. министр внутренних дел.

⁶ Цитируется Гурко (ук. соч., стр. 16). Гурко, между прочим, пишет о Клопове: «Всякая несправедливость, всякая нанесенная кому-либо обида его глубоко волновали и возмущали, и он готов был поправить все порядки и законы для восстановления прав обиженного, не соображая, что, нарушая закон для восстановления справедливости по отношению к отдельному лицу, он тем самым разрушает весь государственный строй и гражданский порядок. Словом, он принадлежал к числу тех фантазеров, которые мечтают путем личного усмотрения исправить все те людские настроения, которые закон в его формальных проявлениях ни уловить, ни тем более упразднить не в состоянии» (там же, стр. 16).

⁷ Сначала Клопов приехал в Тулу и показал местному начальству царскую грамоту, о чем губернатор сразу же доложил И. Горемыкину, министру внутренних дел.

⁸ Напротив, Клопов отнюдь не сразу исчез с царского горизонта. Он долго еще оставался негласным императорским советником.

К главе «Война, которую подготовили Безобразов, Абаза и «Саидро»

¹ «Сам наследник и вся эта экспедиция, — пишет Вите, — была вверена генералу свиты его величества князю Барятинскому... Это не дурной, но вполне ничтожный человек, потому что он не мог нравственно руководить молодыми великими князьями» (т. 1, стр. 437). О «молодых великих князьях» говорится потому, что Николай отправлен был в это путешествие Александром III не один, а со своим братом Георгием.

² Э. Э. Ухтомский, редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости», впоследствии написал книгу об этом путешествии с наследником на Дальний Восток.

³ По-видимому, это место заимствовано из «Воспоминаний» Вите, в которых говорится: «Летом 1902 г. государь ездил в Ревель на морские маневры. В июне на маневры приезжал германский император, причем после маневров совершилось следующее интересное событие, показывавшее настроение германского императора: когда его яхта начала отходить, то началось обыкновенное сигнальное прощание, причем германский император дал следующий сигнал: адмирал Атлантического океана шлет привет адмиралу Тихого океана. Государь был очень стеснен, что ему на этот привет ответить» (т. 2, стр. 225).

⁴ Опять сравним с «Воспоминаниями» Вите: «Александр Михайлович начал с того, что взял себе в товарищи адмирала Абазу, двоюродного брата Безобразова, одного из главных виновников японской авантюры» (т. 2, стр. 235).

⁵ З. П. Рожественский, контр-адмирал, командир Второй тихоокеанской эскадры, загубленной в морском сражении при Цусиме.

К главе «Аня Вырубова»

¹ Александр Сергеевич Танеев заменил К. К. Ренненкамппа на должности главноуправляющего собственной его величества канцелярии статс-секретаря в 1896 г. и оставался на этой должности до 1917 г. До Ренненкамппа на этой должности с 1855-го до 1889 г. служил его отец С. А. Танеев. Вите писал: «Говорят, что он был очень умный, дельный человек, чего нельзя сказать про его сына, у которого единственное достоинство, что он — ничто. Этот Танеев был одновременно обер-гофмейстером и членом Государственного совета».

² Великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александры Федоровны, была замужем за великим князем Сергеем Александровичем, который после женитьбы на Елизавете Федоровне был назначен генерал-губернатором Москвы. Известный Трепов стал в революционные годы диктатором именно благодаря стараниям Елизаветы Федоровны.

Ее же благоденствиями Вырубова (в девичестве Танеева) в 1914 г. стала фрейлиной императрицы.

³ Вите говорит в третьем томе своих «Воспоминаний» об Ане Танеевой как о «самой обыкновенной, глупой петербургской барышне, влюбившейся в им-

ператрицу и вечно смотрящей на нее влюбленными медовыми глазами со вздохами «ах! ах!». Сама Аня Танеева некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста... Аню Танееву императрица выдала замуж за лейтенанта Вырубова» (стр. 159).

⁴ Фрейлина С. И. Орбелиани была близка императрице до того, как ее разбил паралич. «Молодая, жизнерадостная девушка, — писал о ней Мамантов, — чудно ездила верхом и великолепно играла в теннис. Это был настоящий живчик, веселый, вечно в движении, всегда готовый на все, где можно было показать свою ловкость и лихость. Придворного в ней было очень мало, может быть, даже слишком мало в некоторых случаях. Эта прелестная девушка, которую императрица очень любила, кончила печально. Не достигши еще тридцати лет, она была разбита нервным параличом... Будучи уже совершенно не в состоянии исполнять свои придворные обязанности, она тем не менее продолжала оставаться при ее величестве, которая матерински о ней заботилась, делая все, что возможно, чтобы облегчить ее тяжелое и грустное положение» («На государевой службе», стр. 147).

⁵ В 1905—1906 г. прибалтийским губернатором был В. У. Сологуб, предпринявший все, что от него зависело, чтобы не допустить Орлова с его карательными войсками в Ригу. В 1905 г. этот генерал, делом протестовавший против репрессивных мер, был отстранен от должности генерал-губернатора, возможно, в связи со своим противостоянием бесчинствующему в Прибалтике Орлову.

⁶ В частности, стало известно, что императрица вместе с Вырубовой ездила на могилу Орлова, возложила цветы и плакала у надгробия.

⁷ Флигель-адъютантами в свите Николая II были барон А. Е. Мейендорф, граф А. Ф. Гейден и князь Н. Д. Оболенский, который был также управляющим императорским кабинетом и фактически заместителем (товарищем) министра двора. Н. Д. Оболенский пользовался особым расположением императора и императрицы. Когда будущая императрица в 1889 г. приехала на смотрины, Николай Дмитриевич Оболенский в отличие от подавляющего большинства придворных проявил к ней особое внимание, и этого Александра Федоровна не забыла и проявляла к Оболенскому особенное благоволение.

⁸ О гоф-лектрисе Е. А. Шнейдер имеется несколько строк в книге В. И. Мамантова «На государевой службе»: «Бывшая учительница императрицы — русского языка — была скромною, тихою и уже немолодою девушкой, обожавшей государыню и ее семью, что она и доказала своим отношением к их величествам после революции и своею геройскою смертью» (стр. 148).

⁹ Своей конфиденстке, немецкой графине Ранцау, императрица, в частности, жаловалась на то, что Николай Александрович — молод и «его окружают тесной толпой родичи — великие князья и великие княгини», от влияния которых Александра Федоровна хотела бы своего мужа уберечь.

¹⁰ Ср. с этим утверждением о постоянной усталости (очевидно, нервного происхождения) свидетельство мемуариста: «Я был принят императрицей, которую не видел вблизи лет семь или восемь. Ее величество поразила меня своим болезненным, нежизнерадостным, усталым видом» (В. И. Мамантов, ук. соч., стр. 193).

¹¹ Это описание совпадает с характеристикой, даваемой таким компетентным автором, как В. И. Гурко: «Освободившись от докладов своих министров, был рад в домашней обстановке забыть о своих государственных заботах и всецело предавался в кругу семьи тем мелким домашним интересам, к которым он вообще питал природную склонность» («Царь и царица», стр. 75).

¹² Александра Федоровна и Вырубова, обе обладали некоторыми музыкальными данными, имели голос и любили петь дуэтом, что привело в начале карьеры Вырубовой к практической ежедневным ее встречам с императрицей. Эти встречи хитрая, но прикидывавшаяся простушкой Вырубова использовала в своих интересах. В скором времени Вырубова стала связующим звеном между императрицей и Распутиным. Свидания царицы с Распутиным имели место не в царской резиденции, а в доме Вырубовой. «Таким образом, — писал В. И. Гурко, — Вырубова становится понемногу тем центром, где сосредотачиваются усилия всех, добивающихся достигнуть той или иной цели непосредственно через царскую семью. Вообще нельзя даже определить границы той огромной роли, которую играла А. А. Вырубова в последний период царствования императора Николая II».

Три стихотворения

Тень

...Поскольку здесь мы все страшимся тьмы, —
страдаю, ненавижу и люблю,
свет и тепло накапливая, мы
обречены отбрасывать тебя.

Когда же я тебя освобожу
и стану незлопамятен и бел,
я на прощанье то тебе скажу,
чего сказать при жизни не посмел:

«Блуждавшая за мною столько лет,
ты мне чужою стала, ты — ничья.
А я теперь отбрасываю свет,
как с двух концов зажженная свеча.

Не жалуйся на горький свой урон
и верь, что там, у ночи на краю,
тебя возьмет какой-нибудь Харон
в свою гостеприимную ладью.

А я остался с темным и земным.
И те, кому со мной невоготу,
и те, кем был я понят и любим, —
на этом свете и в моем свете...»

Ариадна

И сердцу в лад по стеклам дождь стучит
бессмысленно и скучно — вероятно,
его, как нить напрасную, сучит
возлюбленная мною Ариадна.

— Я из твоих опутанных калек, —
шепчу я ей, — в дожде твоим измокших,
о нить твою споткнувшихся навек
и засветлю себя не превозмогших.

— Приди! Приди, — шепчу я ей во мглу, —
над прялкою бессонною усердствуй!
Слепую нить проталкивай в иглу,
настойчиво нацеленную в сердце.

— Из лабиринта нет пути, родной!
— Из лабиринта нет пути, родная!
Молись и плачь, над пряжей изнывая.
Все кончено. Лишь слабый голос мой
хрипит во тьме, себя не узнавая.

* * *

Так эта ночь нежна, так ливень милосерден,
так бескорыстен плач, так бесконечна тишь.
Я руку приложил — ты стала правым сердцем.
Покальываешь чуть. Почти что не болишь.

Я знаю — этот страх к рассвету вновь воскреснет,
войдет, как секундант, и спросит: не пора ль?
И будет щебет птиц так тяжек и надтреснут,
как будто снится им пожизненный февраль.

Я жаворонок... нет... я речью этой — жалок.
Гортань моя суха, темнее темноты
забота о себе — рука бы не дрожала,
нога б не затекла, забыться бы... Но ты

усни, усни, усни под влажною ладонью.
Ты — правое во мне. На свете нет потерь.
Я ревновал тебя к сиротству и бездомью.
Под правую руку ты вся во мне теперь.

Но та рука дрожит, как лист под ливнем поздним.
И крестовиной страх растет в моем окне.
Ты вся теперь во мне, но ты лежала возле
и стала пустотой на смятой простыне.

Не мучься — ты права под правую руку.
Но справа пустота на тело, как ледник,
ползет — я потерплю, я поплотней укурю
ее и притворюсь, что это — твой двойник.

Так милосерден дождь, что речь моя промокла.
Уже словам нужна защита немоты.
Не бейся ж так во мне, как бьется дождь о стекла.
Не бойся — я с тобой. Но ты... но ты... но ты...



Итоги и существо коммунистического хозяйства*

Родившись на несколько месяцев раньше В. И. Ульянова и выпустив с ним в один — 1894-й — год похожую по замыслу, направленности и даже форме работу (В. Ульянов — «Что такое «грузья народа» и как они воюют против социал-демократов?»; П. Струве — «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России» со знаменитым призывом, не потерявшим актуальности и сегодня, «пойти на выучку к капитализму»), Петр Бернгардович Струве пережил основателя социалистического государства на двадцать лет. Эти годы были наполнены эмигрантскими скитаниями, неудавшимися политическими начинаниями, непониманием со стороны не только врагов, но и друзей. А главное — неизбывной горечью за судьбу России, осуществлявшейся «социалистический выбор» столь дорогой ценой.

Сегодня видно, что правым в споре со своим непримиримым противником оказался П. Струве, потому что еще в 1899 году в своей книге «Марксизм и теория социального развития. Критический опыт» признал гибельность революционных преобразований в России, которая могла, ориентируясь на уроки капитализма в Европе, успешно эволюционировать. Это расхождение стало особенно явным с началом «социалистической» (кавычки Струве) революции. Вопреки Ленину Струве трактовал ее как «грандиозную реакцию почвенных сил принуждения против таких же почвенных сил свободы в социальном и экономическом развитии России... против более дифференцированных форм общественного и политического бытия, носителем которого были верховная власть и культурные верхи общества» (см. его незаконченную работу «Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности», само название которой побуждает к глубоким размышлениям).

После неизбежного опьянения хаосом распределительства (грабь награбленное!), после кровавой регламентации экономической жизни в период военного коммунизма, после осознания того, что страна скатывается в пропасть хозяйственной разрухи, можно было подвести итоги «коммунистического эксперимента». Ленин в отличие от многих своих товарищей по партии признавал: мы-де ошибались... И все же надеялся: исправимся, через нзп, только бы власть удержать! Струве более глубоко диагностирует ситуацию, о чем и свидетельствует публикуемая работа. Кстати, это—последняя прижизненная книга Струве, крупнейшего социального мыслителя XX века, сравнимого по охвату и глубине затрагиваемых предметов разве что с М. Вебером. В дальнейшем он довольствовался обзорами, рецензиями, реже статьями, каждая из которых, правда, стоит добротной монографией.

В конце жизни Струве, согласно записям его сына Аркадия (см. Новый журнал, Нью-Йорк, 1978, № 132, стр. 162—173), утверждал, что нужно освободиться от гипноза социалистической идеи, оправдывающей тоталитаризм: полицейское государство, помноженное на партийную диктатуру и усиленное социальной демагогией. Ведь с религиозно-метафизических позиций социализм — ложная идея о «земном рае», с политических — он несовместим со свободой человека, а социалистическая экономика ведет к закреплению государства свободного хозяйственного субъекта, неизбежно понижая народное благосостояние.

Казалось бы, все ясно. Но вот заключительные слова заметок: «Будущее в России принадлежит демократии с социалистическим—вернее, с социальным—уклоном»...

Указанием на этот парадокс, а точнее загадку, которую нельзя разгадать без напряженных умственных усилий, мук совести и активного вмешательства в социальную жизнь, какой бы отпугивающей она ни была, предварим публикацию этой провидческой работы. И будем следовать высокому примеру жизни и судьбы подлинного русского интеллигента Петра Бернгардовича Струве.

* Речь, произнесенная на общем Съезде представителей русской промышленности и торговли в Париже 17 мая 1921 года. Берлин, 1921 год.

Постановка вопросов

Хозяйственные итоги коммунистического строя

ЗДЕСЬ будет сделана попытка осмыслить отдельные черты картины, сопоставить то, что есть, как с тем, что было, так и с тем, что силы, распоряжающиеся хозяйством России, хотели осуществить, то есть сопоставить действительность с умыслами и замыслами вершителей социальной революции.

Такой анализ необходим и для нас самих, и для тех внешних сил мировой политики и мирового хозяйства, с которыми мы вынуждены так или иначе считаться. Сообразно с так понимаемой задачей мы поставим перед собой следующие вопросы.

1. Первый вопрос: что означает в действительности коммунистическая революция как экономический процесс, к какому состоянию экономическая политика советской власти реально привела все народное хозяйство России? Ответ на этот вопрос даст обобщающую, вдвинутую в широкую историческую рамку характеристику экономического состояния, в котором очутилась Россия в результате торжества коммунистов, даст точную социологическую формулу этого состояния.

2. Второй вопрос гласит так: каково отношение этой экономической политики к тем социально-политическим идеям и формулам, которые известны под наименованием социализма, коммунизма и т. п. и которые заведомо составляли движущий идейный мотив вдохновителей и руководителей большевистского переворота. При обсуждении первого вопроса мы поставим политику большевиков на очную ставку с ее результатами; при обсуждении второго мы сопоставим политику коммунистов с коммунистической (социалистической) идеологией.

3. Наконец, третий вопрос может быть сформулирован так: в том, что делала и делает в области экономики коммунистическая власть, каково действительное соотношение между стороной хозяйственной и стороной политической или, выражаясь иначе, между хозяйствованием и властвованием, между экономическим управлением, удовлетворяющим ежедневные потребности подвластных и властвующих, и государственной политикой, вдохновляемой отвлеченными построениями и идеалами и диктуемой тенденцией к самосохранению и самоотстаиванию, присущей всякой власти как таковой? Это вопрос, разъяснение которого чрезвычайно существенно не только для понимания настоящего, но и для оценки перспектив будущего. Иначе его можно поставить так: мыслима ли, возможна ли советская власть на ином хозяйственном фундаменте, кроме коммунистического?

Стоит только так поставить вопрос, чтобы понять все значение объемлемой им проблемы и всю необходимость ее объективного разъяснения.

К какому экономическому состоянию пришла Россия в результате коммунистической революции? На это язык объективных цифр и фактов отвечает с потрясающей ясностью: содержанием коммунистической революции была неслыханная в мировой истории грандиозная экономическая реакция.

В этой формулировке заключается совершенно точное и непререкаемое научное суждение. Мы знаем, что о том, носит ли какой-либо сложный экономический процесс прогрессивный или регрессивный характер, в конкретных случаях современники и даже иногда потомки могут очень долго спорить. Так, можно было в начале XVI века колебаться при решении вопроса, является ли экономическим прогрессом или, наоборот, регрессом развитие английской шерстяной промышленности на основе вытеснения (фактически весьма частичного) зернового хозяйства овцеводством, процесс, столь ярко охарактеризованный Томасом Мором в его «Утопии». Процесс, этот, как и многие другие отдельные этапы и процессы развития капитализма, сопровождался частичным обезлюдением сельских местностей и другими признаками регресса. Но в то время современники не обозревали экономического процесса в его целом, не учитывали его пределов, не видели сколько-нибудь ясно его движущих сил. В ином положении находимся мы по отношению к хозяйству Советской России. Насколько душевное состояние масс и даже конкретные политические соотношения в Советской России представляются загадочными не только стороннему наблюдателю, но и тому, кто живет там, настолько, наоборот, экономическое ее состояние и движущие силы хозяйственной жизни выступают перед нами с прозрачной ясностью и оценка этого состояния и роль этих сил не представляют никаких трудностей.

Прежде всего основной признак: состояние и движение населения. Много спорили, и можно долго спорить о том, является ли рост населения необходимым признаком экономического прогресса. Но не об этих довольно-таки бесплодных ученых спорах идет речь в нашем случае. Вымирание населения, определяемое прежде всего ужасающим ростом смертности, — таков тот основной факт советской экономики и демографии, в смысле и значении которого не может быть — увы! — никакого сомнения. Это явление косвенно устанавливается для сельского населения: оно непосредственно и в ужасающих размерах может быть констатировано для городов с Петроградом во главе. Население вымирает от недостатка пищи в местностях городских и городского типа, то есть совсем не производящих или недостаточно производящих продовольствие, в сельских местностях оно вы-

мирает от невероятно ухудшившихся санитарных условий¹. И так, признак состояния населения обличает реакционный или регрессивный характер совершившегося социально-политического и хозяйственного переворота. Для оценки хозяйства, народного или частного, лучшим мерилom вообще служит то, дает ли это хозяйство возможность существовать и выживать его участникам, то есть населению, с ним связанному.

Но мы можем уточнить нашу характеристику. Коммунистический переворот явился исходной точкой и условием экономической реакции совершенно определенного характера, реакции на т у р а л ь н о х о з я й с т в е н н о й. Отмена частной собственности и свободы хозяйственной деятельности в городах, отмена, прошедшая разные стадии, но неизменно ведущая к одинаковым результатам, неуклонно подрывала производительные силы и разрушала производство. Начался процесс с деморализации труда: производители стали не работать при помощи капитала или капиталов, а проедать капиталы, и города из производственных центров превратились в скопления чистых потребителей. Как таковые, города стали не нужны деревне; обозначился и с ужасающей быстротой прогрессировал разрыв нормальной экономической связи между городом и деревней. Последняя замыкалась в кругу своих собственных экономических процессов, другими словами, возвращалась к натуральному хозяйству. Город в лице коммунистического государства властной и прямо вооруженной рукой вторгнулся в это натуральное хозяйство деревни. Деревня, лишенная нормального притока товаров и в то же время экономически более сильная, чем город, жадно выменивала и скупала городские движимости разного рода. Население городов и вообще поселений городского типа разбегалось, оседало по возможности на землю, промышленность падала, пролетариат реально сокращался в численности. Этот процесс можно проследить на всех отраслях промышленности, кроме двух видов производства, получивших невероятное развитие: писание бумаг, исходящих и входящих, и печатание бумаги, которой присвоено хождение в качестве денег. Потож бумаг и бумаги двигал и двигает колесо советского управления неуклонно разрушающимся народным хозяйством России. В сфере производства исходящих и входящих увеличивалась выработка², росла численность рабочих рук, формировались абсолютно весьма значительные, относительно прямо громадные кадры нового

бюрократического пролетариата, тесно связанного с самым существом коммунистического строя. Тут происходила централизация производственного процесса, если можно о нем говорить в данном случае. Во всех других областях происходит в общем и целом обратные процессы: падение числа занятых рабочих рук, бегство из производства представителей квалифицированного труда, переход производства в формы более примитивные, измелчание предприятий, их — да будет позволено выразиться несколько варварским словом — «окустарение». Наиболее мелкие предприятия своим мелким размером спасаются от национализации, убивающей самый нерв предприятий, личную инициативу и личный интерес владельца.

Но, помимо этого, сморщился самый масштаб всей хозяйственной жизни, она настолько обмелела, что в ней уже не могут держаться крупные предприятия. Внешняя картина на первый взгляд производит пестрое впечатление: рядом с «окустарением» промышленности, как бы прячущейся от социалистического режима с поверхности экономики в ее поры и норы, наблюдается и обратное явление: «укрупнение» предприятий³. Внешним образом это укрупнение напоминает централизацию или централизацию производства в свободном некартелированном или картелированном, капиталистическом хозяйстве. Но стоит только осмыслить эти два процесса, чтобы видеть их глубочайшее различие. Укрупнение предприятий в капиталистическом хозяйстве происходило под давлением роста производительных сил и производства в условиях неограниченной свободы конкуренции — это было результатом того процесса, который Маркс охарактеризовал как анархию производства — непереносимый спутник и необходимое явление буйного роста производительных сил капитализма. Коммунистическое укрупнение производства, наоборот, есть вынужденное приспособление к всестороннему оскудению народного хозяйства, к недостатку сырья, топлива, рабочей силы, продовольствия и т. д., и т. д.

Необходимо вообще отметить, что советский коммунизм в некоторых отношениях есть прямой наследник того, что принято называть военным хозяйством, военным социализмом или военным регулированием.

При этом мы можем отметить следующее любопытное соотношение. Субъективно-психологически новейший расцвет социалистических (коммунистических) настроений и идей во всем мире связан, конечно, с фактом регулирования хозяйства во время войны в интересах ее экономического обеспечения. Но объективно-экономически, не в формальном, а су-

¹ Гордость русской культуры, земская медицина, осуществившая в невиданных раньше размерах всеобщую бесплатную медицинскую помощь, низведена революцией до нуля.

² Впрочем, даже печатание бумаги, выполняющей функцию денег, сейчас уже страдает, по-видимому, от общего упадка производительных сил страны.

³ Пример (из многих): в Иваново-Вознесенском районе на 1 октября 1919 г. было «ликвидировано» 38 фабрик с 16 340 рабочими. См. «Иваново-Вознесенский губернский ежегодник» на 1920 г., стр. 68.

щественном отношении военной социализм не имеет ничего общего ни с тем социализмом, который предполагался марксистской теорией имеющим неизбежно родиться из капиталистического процесса, ни с тем синдикатским или картельным регулируемым промышленностью, которое на самом деле из него рождалось. Военный социализм регулировал большую или меньшую относительную скудость, вызванную специальной временной причиной, экономическим напряжением, гребуемым войной, призван был бороться с недопроизводством. Программно-исторический, научный социализм марксизма, наоборот, мыслился регулирующим не скудость, а обилие, призвался побороть именно перепроизводство надлежащим, рациональным приспособлением богатых производительных сил капитализма к действительным потребностям общества. Такую же задачу — регулировать обильное производство, бороться с перепроизводством — имели всегда возникавшие в капиталистическом хозяйстве картели, синдикаты, тресты. Экономическая бессмысленность и историческая нелепость русского коммунистического (социалистического) опыта состоит, между прочим, в том, что для него как хозяйственной системы отсутствует самая основная экономическая предпосылка, из которой вообще выросла вся марксистская организационно-экономическая идея социализма как могильщика и наследника капитализма, — производственное обилие, созданное самим же капитализмом.

Регресс промышленной и вообще хозяйственной жизни при коммунистическом режиме сказывается решительно во всем. Одним из ярких признаков его является, например, вытеснение минерального топлива древесным. С всемирно-исторической точки зрения это есть возвращение к первой трети или половине XVIII века; для металлургии России это явление означает возврат к 70-м годам XIX века. В области добычи каменного угля Россия отброшена приблизительно тоже к этой эпохе. В области текстильной промышленности падение производства отодвигает нас в еще более отдаленную эпоху. Таким образом, в области всей промышленной деятельности мы видим ужасающее количественное сокращение и техническую деградацию производства на фоне крайней деморализации труда и падение индивидуальной производительности работника. Следует при этом решительно отклонить одно довольно распространенное недоразумение, сводящееся к невежественному или тенденциозному мнению, будто этот регрессивный метаморфоз промышленности обусловлен и подготовлен войной. Как бы ни оценивать общее влияние войны на хозяйственную жизнь страны, в России, как и в других государствах, война, создав искусственную скудость, в то же время усилила коллективное производственное напряжение

страны. Война, конечно, взвалила огромное бремя на народное хозяйство, но, пока существовала твердая государственная власть, прочный правовой порядок и буржуазный уклад хозяйства, не было явлений общего и абсолютно народно-хозяйственного оскудения: в России это стимулирующее влияние войны, пожалуй, обнаружилось даже ярче, чем в других странах. Рост реальной заработной платы во время войны скорее обгонял рост цен, чем отставал от них. Уровень жизни трудящихся масс поэтому повышался. Это верно в отношении промышленного пролетариата; еще увереннее можно это сказать о крестьянстве. Война означала в России, как и всюду, огромное «не производительное» с хозяйственной точки зрения истребление капиталов и использование живой рабочей силы, но она повысила производственную энергию в стране и улучшила экономическое положение низших классов населения.

В прямо обратном смысле подействовала революция вообще и, в частности и в особенности, октябрьская революция, принесшая с собой насильственное осуществление коммунизма. Временно и весьма эфемерно революция насчет продажи капиталов принесла некоторое мнимое улучшение положения рабочих, деморализовав в то же время труд и тем в самой основе подорвав производство.

Производственный регресс не ограничился промышленностью — он захватил и сельское хозяйство. В области сельского хозяйства разрушительно действовало не только уничтожение культурных частновладельческих хозяйств (которое вовсе не было ни возмещено, ни даже сколько-нибудь чувствительно ослаблено созданием так называемых «советских хозяйств»), не только не поддающееся учету стихийное крестьянское «поравнение», но и тот уже отмеченный выше разрыв нормальной экономической связи деревни с городом, который сплошь и рядом побуждал сельскохозяйственного производителя замкнуться в удовлетворении собственных потребностей и в силу этого и реально сокращать свое производство и избегать вынесения его продуктов на рынок. Сокращалось таким образом сельскохозяйственное производство, и, помимо этого, сокращалось еще и сельскохозяйственное предложение как таковое.

Хозяйственная пустота, перед которой оказалась коммунистическая власть, обнаруживается с потрясающей ясностью в области финансового хозяйства. При коммунистическом хозяйстве нельзя ни теоретически, ни практически отделить государственное (финансовое) хозяйство от хозяйства народного. У того и другого и один субъект в экономическом и правовом смысле, и один непосредственный субстрат. При цветущем коммунистическом народном хозяйстве (с некоторым усилением мысли мы можем назвать в уме и такой фантастический образ) легко представить себе цветущие коммуни-

стические финансы. Но в экономической пустоте не может быть никаких финансов. И именно это мы видим в советской России. Как ни стараются пошедшие на службу коммунистической власти старые чиновники блестящего некогда финансового ведомства Императорской России, нормы которого начертаны юридическим гением Сперанского, практика которого фиксирована Канкриним, Рейтерном, Бунге, Вышнеградским и Витте, под лавесные рубрики советского государственного хозяйства никакого финансового содержания и они не могут подвести. Когда-то Маркс, не слишком хорошо знавший русскую экономику и ее историю, острил, что в России есть только одна хорошо работающая фабрика — это государственная фабрика бумажных денег («экспедиция заготовления государственных бумаг»). Он, очевидно, не предвидел, что в России марксистам-коммунистам суждено будет во славу коммунизма довести до неслыханного уровня производство бумажных денег и на этом производстве обосновать все государственное хозяйство коммунистической России. Впрочем, не только на нем одном. Государственное хозяйство советской России покоится не только на производстве бумажных денег, но и на потреблении и на отчуждении накопленного буржуазным строем золотого запаса. Производя денежную бумагу, коммунистическое государство проедает золотой фонд, доставшийся ему в наследство от прежней России. Таким образом, в области финансового хозяйства коммунистическая власть чисто паразитарно-хищнически существует на счет прошлого.

Очерченная перед вами натурально-хозяйственная реакция, созданная в России коммунистическим режимом, не имеет себе ничего подобного в мировой истории ни по размерам — ибо все исторические прецеденты такого рода прямо несравнимы по масштабу с русским опытом XX века, — ни по остроте процесса. Эта острота процесса обуславливается, во-первых, тем, что он не стихийно вытек из тех или иных экономических, социальных и политических действий и перемен, а прямо продиктован и навязан народу сверху властной и вооруженной рукой коммунистического государства, и, во-вторых, тем, что он осуществлен в очень короткий для жизни народа промежуток времени.

В связи с этой особенностью экономической реакции, в которую ввергнута Россия, стоит еще другая ее черта, на которую уже был сделан намек при оценке коммунистического финансового хозяйства. Если брать процесс, совершившийся в России, исторически, то следует признать, что коммунистическое хозяйство, сменившее хозяйство капиталистическое — довоенное и военное, явилось по отношению к ним чистейшим паразитом-хищником. Коммунизм эти три года жил на счет капиталистического и, в частности, военно-капиталистического хо-

зяйства, на счет накопленных им запасов. Теперь он съел эти запасы — отсюда крайнее обострение экономического положения советской России.

Это обострение есть кризис паразитарно-хищнического хозяйства, ввергнувшего страну в натурально-хозяйственную реакцию. По размерам своим и по остроте этот кризис и эта реакция — как уже было указано — невиданное явление в мировой истории. Отдаленную аналогию ему можно видеть лишь в экономической эволюции древнего мира в эпоху упадка Римской империи, процесса, растянувшегося на столетия. Некоторые явления этой эволюции при всех различиях между императорской властью Рима и советской властью Москвы обнаруживают изумительное сходство. И там, и тут основной характеристикой всего экономического положения была натурально-хозяйственная реакция. И там, и тут граждане были закрепощены государством, были его подлинными «тяглецами», по красочному выражению Московской Руси.

И там, и тут экономическая политика государства красноречиво свидетельствовала о том, что величайший из новейших историков древности, говоря о знаменитом эдикте Диоклециана о ценах, охарактеризовал однажды как «безумие власти». Но коммунистическое безумие московской власти отличается от безумия императорского Рима тем, что в первом, как в безумии Гамлета, «есть система». Натурально-хозяйственная реакция древности стихийна и вытекла из целого ряда процессов, и она была их естественным итогом, а не явилась результатом осуществления какой-либо цельной программы или плана экономического устройства. В русском процессе, современниками и жертвами которого являемся мы, дело обстоит совершенно иначе. Тут все вытекло из известной программы, из определенной системы, из предвзятой идеи.

Эту систему или программу надлежит подвергнуть анализу по существу, но прежде, чем перейти к такому анализу, то есть к освещению второго из поставленных нами вопросов, необходимо отметить еще одну черту, характерную для изображаемого нами процесса. Коммунизм Ленина и его товарищей, бесспорно, основан теоретически на марксизме, на социологическом и историческом учении Маркса. Альфой и омегой этого учения является идея развития производительных сил, идея, что смена одной экономической формации или организации другой определяется победой более производительной формации над менее производительной. Отсюда как следствие вытекает идея, что социализм или коммунизм явится плодом развития внутри самого капитализма, производительных сил, которые перерастут сковывающие их капиталистические рамки. Экономическая действительность коммунистической России есть жестокая насмешка истории над вы-

ше очерченной исторической концепцией марксизма. Коммунизм Маркса и Ленина, может быть и даже наверняка, психологически родился из настроений капитализма, но осуществление коммунизма, как оно произошло в России, не только не означает победу более совершенной экономической формации, а наоборот, привело с собой неслыханный экономический регресс, реализовалось — да позволено будет употребить термин той эволюционной биологии, которую так почитал основатель коммунизма Маркс, — в подлинный регрессивный метаморфоз всего народного хозяйства.

Советское хозяйство и социализм

Отсюда возникает дальнейшая альтернатива следующего содержания: либо социализм или коммунизм не есть вовсе высшая по сравнению с капитализмом экономическая формация, либо то, что осуществилось в России, не есть вовсе социализм или коммунизм. Последнее решение явно не соответствует истинному духу и характеру советского законодательства. Поскольку существует вообще теоретическое понятие социализма или коммунизма⁴, советское законодательство последовательно проводит это понятие. Другими словами: экономическая политика советской власти всецело подчинена социалистической идее и программе. Теоретическое понятие социализма сводится к отмене частной собственности на орудия и средства производства и к перенесению ее на все общество в лице государства или тех или иных общественных союзов. Вне этого понятия социализма, выражающего его содержание в более или менее точной юридической формуле, социализм становится чем-то

либо весьма неопределенным и неуловимым, ничего не говорящим и ни к чему не обязывающим, либо совершенно частичным и эмпирическим⁵. Советское законодательство, наоборот, в основах своих всецело отвечает точному теоретическому понятию социализма, которое по сути своей есть понятие правовое. Отрицать социалистический характер советского законодательства — значит отрицать нечто логически очевидное. Таким образом, мы приходим, казалось бы, к первому решению нашей альтернативы. По-видимому, однако, можно уйти от этого решения, признав, что русский опыт социализма был осуществлен в непригодных для опытной проверки социалистических принципов условиях общественной среды, еще не созревшей для социализма. При других условиях, в иной среде опыт дал бы иной, не отрицательный, а положительный результат. Этим хотя бы сказать, что русский опыт осуществления социализма принципиально не доказателен.

Такая оценка русского опыта, грандиозного и по размаху замысла и по фактическим размерам осуществления, есть обычный, либо подразумеваемый, либо более или менее явно выраженный отвод, во имя социализма предьявляемый разными представителями этого учения против большевизма, экономическое и политическое фиаско которого становится все более и более явным. С этой точки зрения, социализм не отвечает за большевизм...

Отвод этот, однако, не может быть принят без дальнейшего обсуждения. Русский опыт осуществления социализма слишком серьезен и глубок для того, чтобы от него можно было отделаться таким чисто историческим отводом. Как ни отстала в экономическом и культурном отношении Россия — сравнительно с западными странами, — социалистический опыт, произведенный в ней, поставил на пробу и испытание не только ее общую культурность, не только ее экономические силы, но в то же время подверг опытной проверке и те общие начала и мотивы, на которые опирается социализм, и с этой стороны русский опыт заслуживает величайшего внимания именно как опыт последовательного осуществления социализма. В первый раз, если не считать так называемое государство иезуитов в Парагвае, были в широчайших пределах и длительно осуществляемы социалистические начала. Если опыт этот совершенно не удался, если он объективно привел к неслыханному регрессивному метаморфозу народного хозяйства, то этот результат не может быть вменен лишь одной культурной незрелости России. Им ставятся под вопрос самые принципиальные основы социализма,

⁴ Существуют в экономической литературе разные употребления этих терминов, но эти разные употребления затрагивают либо философские проблемы общественного мирозерцания, либо касаются оттенков основной мысли. Оба слова «социализм» и «коммунизм» обозначают одно и то же основное понятие, ниже разъяснимое. Что касается термина «государственный капитализм», то в отношении его существует какое-то логическое и историческое недоразумение. Поскольку под этим словом разумеется порядок, противопоставляемый «частному» капитализму, т. е. перенесение права собственности на капитал с частных лиц всецело или частично на государство, — «государственный капитализм» и «государственный социализм», или попросту социализм, — тождественны. Но слово и понятие «государственный капитализм» имели в устах его творца совершенно определенный социологический и политический смысл. Термин этот пущен в ход Либнехтом-отцом в одной из его речей для обозначения строя, при котором право собственности на средства и орудия производства в том или ином объеме перешло к государству при условии перехода государственной власти в руки пролетариата. «Государственный капитализм», который Либнехт противопоставлял настоящему социализму, — это социализм без диктатуры пролетариата. Говорить поэтому о «государственном капитализме» при большевиках лишено всякого смысла.

⁵ Известно изречение, приписываемое то королю Эдуарду VII, то сэру Уильяму Гаркуру и гласящее: «Мы теперь все социалисты» (We are all now socialists). Но поскольку все — социалисты, социализм как особая категория перестает существовать.

а не только исторические условия и политические методы осуществления данного опыта. Почему не удался социалистический опыт? Потому ли, что русский крестьянин дик, что русский рабочий недалеко ушел от крестьянина, что мешала «блокада» и т. д. и т. д., или потому, что принципы социализма несовместимы с нормальной хозяйственной жизнью, что их применение подрывает производственную энергию труда, являющуюся основой всякой сколько-нибудь сложной хозяйственной жизни, вышедшей за пределы простого «отыскивания пищи», по известной формуле Бюхера.

Принципы социализма не случайно были прежде всего применены к области крупной добывающей и обрабатывающей промышленности, к этой сфере капитализма и пролетариата по преимуществу. Тут фактические условия психологического порядка были всего более благоприятны для применения социалистических принципов. В этой области и надлежит поэтому проследить их действия.

Промышленная политика Советской власти на всем ее протяжении отнюдь не была равна себе. В ней можно даже отчетливо усмотреть различные этапы. Прежде всего — при рассмотрении истории большевизма — сразу бросаются в глаза два его состояния, или периода...

В первом состоянии своем большевизм есть, с одной стороны, стихийное увлечение, угар масс, движимых своими элементарными инстинктами, с другой стороны, сознательная игра руководящих партийных коммунистических кругов на этих настроениях и инстинктах масс. Это — период насильственного разрушения Буржуазного строя, или коммунистического штурма на этот уклад экономических и государственных отношений. Для этого штурма нужны большие, возможно более наэлектризованные демагогией массы, ибо нужен сокрушительный удар.

Второе состояние, или период большевизма, — это период насильственного созидания или осуществления нового строя вопреки или, во всяком случае, без участия настроений и воли масс, почти исключительно аппаратом организованного сознательного партийного меньшинства. В первом состоянии активны не только вожаки и их партия, но и самые массы, во втором действуют в подлинном смысле только верхи, только господствующий класс советской России, коммунисты.

Эти два состояния, или периода, можно отчетливо усмотреть и в промышленной политике советской России. Первый период, стихийно-демагогический, характеризуется завлечением масс непосредственными выгодами от захвата предприятий, совершаемого под идейной маркой «рабочего контроля». Этой маркой прикрывался, в сущности, факт полной или частичной экспроприации буржуазии в лице отдельных предпринимателей (единоличных или коллективных) их же собственными рабочими. Фабричный суверенитет переходит к рабочему составу дан-

ного предприятия и используется им в его непосредственных выгодах. Советская власть довольно быстро спохватилась, что осуществление «рабочего контроля» есть либо совершенно бессмысленная с социалистической точки зрения анархизация производства не в пользу общественного целого, а в пользу более или менее случайных групп рабочих, либо приведет к восстановлению обходным путем буржуазного экономического уклада.

Так период «рабочего контроля» был сменен периодом государственного управления промышленностью. Не может подлежать ни малейшему сомнению, что переход от рабочего контроля к государственному управлению промышленностью представлял, с точки зрения социализма, огромный шаг вперед, и даже независимо от этого такая перемена в организации дела означала некоторое относительное упорядочение промышленности. Такое же значение имела осуществленная в значительных размерах замена коллективного управления отдельными предприятиями управлением единоличным. Тем более поучительным является то, что, несмотря на упорядочение промышленности этими двумя реформами (из которых вторая проводилась фактически, но не вылилась ни в какое законоположение), производительность промышленного труда все падала и падала.

Это падение производительности труда вынуждало у коммунистической власти новую производственную политику, которая характеризуется двумя основными чертами: 1) введением буржуазных поправок в социалистический строй труда; 2) введением военных методов воздействия на труд, его частичной или полной милитаризации. Введение буржуазных поправок в социалистический строй труда ознаменовалось прежде всего заменой повременной оплаты труда оплатою сдельною, подкрепленной системой премий за успешность труда. Этим совершенно опрокидывалось основное боевое пролетарское требование уравнительности в вознаграждении за труд, то требование, которое было всегда боевым кличем всех социалистов и в особенности самих большевиков, когда они вели рабочих на штурм против капитализма.

В эпоху Временного правительства требование уничтожения сдельной оплаты получило почти всеобщее удовлетворение, чем и было положено начало всеобщей деморализации труда, ибо внутренняя дисциплина труда покоится прежде всего на начале соответствия между личной годностью и личными усилиями каждого работника и его вознаграждением.

Рядом с этим «обуржуазением» промышленного строя шла его милитаризация, выразившаяся в удлинении сверх рабочего времени, в подчинении труда суровой военной дисциплине и во введении всеобщей трудовой повинности.

Таким образом, если за кратковременным периодом рабочего контроля после-

довала эпоха государственного управления промышленностью, то в эту эпоху чистый эгалитарный социализм книжно пошиба быстро испытывает довольно сложное буржуазное и милитаристическое перерождение. Это перерождение было необходимо для того, чтобы достигать хотя бы минимальных результатов в области промышленной деятельности.

«Промышленный фронт,— читаем мы в одном коммунистическом произведении,— самый важный фронт русской революции, и каждый гражданин является трудообязанным. Трудовым дезертирам не будет пощады. Вот что значит трудовая повинность, вот что такое милитаризация труда. Кто может отрицать за пролетарским государством такое право в период уничтожения частной собственности на орудия производства и обмена? Кто может отрицать за ним обязанность требовать в пользу общества от каждого определенной суммы труда? Никто, кроме жалких филистеров, круглых дураков или бесчестных демагогов»⁶.

И то и другое: и «обуржуазение» трудового процесса, и его «милитаризация» вносят в советский коммунистический строй глубочайшие внутренние противоречия и в то же время не дают осязательных результатов в хозяйственном смысле. Действие буржуазных поправок парализуется и общим коммунистическим строем хозяйства, и активным и пассивным сопротивлением, которое рабочие оказывают этим поправкам.

Для того, чтобы понять совершающееся, необходимо вернуться к поставленной коммунистическим переворотом проблеме социализма. Точное правовое понятие социализма, как уже было сказано, сводится к отмене частной собственности на средства и орудия производства (в широчайшем смысле) и к перенесению ее на общественное целое в лице государства или каких-либо иных общественных союзов. Это правовое понятие социализма соприкасается и переплетается с понятием экономического организационным, сводящимся к обобществлению всего хозяйственного процесса. Превращенные в общественную (государственную) собственность средства и орудия производства общественно используются в порядке центрального регулирования всей хозяйственной жизни. Но рядом с этим правовым и экономически-организационным понятием социализма огромную психологическую реальность представляет еще третья идея социализма — социально-политическая. Она говорит о том, ради чего осуществляется социализм в правовом и организационно-техническом смысле.

Отмена частной собственности и обоб-

щественные хозяйственного процесса осуществляются ради установления возможно большего равенства в пользовании благами между членами общества и ради возможно большего повышения индивидуальной доли каждого члена общества. Эта распределительная цель социализма образует его уравнительную, или эгалитарную, идею. В сущности, только распределительная цель и эгалитарная идея социализма интересуют и вдохновляют массы. Это значит, что, поскольку социализм отказывается от эгалитарности, поскольку он превращается в чисто организационно-техническое решение производственной задачи, постольку он перестает интересоваться и привлекать массы. Провозгласив освобождение и уравнивание труда, советский коммунизм пришел к закреплению труда и к дифференциации его оплаты. И он был вынужден это делать, ибо перед ним все грознее и грознее вставала производственная проблема. Съедаемая, наследие буржуазного режима, советский коммунизм все ближе и ближе подходил к роковой черте, у которой уже обнаруживалась создаваемая им хозяйственная пустота. Отсюда все потуги на реформы и эволюцию, которые характеризуют в настоящий момент советский экономический режим. Реформы или эволюция диктуются тем, что, с одной стороны, милитаризация труда и бюрократизация хозяйства внушают опасения самим коммунистам. С этими явлениями и должны бороться возрождаемые к новой жизни профессиональные союзы, носители «рабочей» «производственной» демократии, которые должны как-то помочь советской власти построить социалистическое советское хозяйство⁷.

С другой стороны, буржуазные принципы личной заинтересованности в производстве и личной ответственности индивида за свою хозяйственную судьбу должны сыграть роль того целительного возбудителя, того мышьяка, который при правильной дозировке может поднять тонус социалистической хозяйственной жизни, не убив самого социализма⁸.

⁷ Ю. Милейковский в сборнике «Партия и союзы», стр. 217: «Построить на социалистических (а тем более на коммунистических) началах народное хозяйство нельзя исключительно при помощи государственных (хотя и пролетарских) органов управления, не подводя под них, как базы массовой самоорганизации, инициативы и творчества. Иначе это будет марксистски безграмотный, по форме бюрократический подход к вопросу. Полагать, что союзы могут организовать труд, не входя в производство, значит низводить их до роли каких-то чисто профессиональных организаций чуть ли не тредюнионистского типа. Мы должны совершенно отбросить всякие разговоры о несовместимости в хозяйственной работе Совнархозов и Профсоюзов и построить в интересах согласованной практической работы систему их функций и взаимоотношений».

⁸ Авдеев в сборнике «Партия и союзы», стр. 201—202: «По идее коммунизма следовало бы выдавать одинаковую для всех трудящихся оплату; однако мы не делаем этого вследствие имеющегося среди подавляющей массы трудящихся предрассудка, унаследованного от капиталистического общества, и

⁶ А. Лозовский. Профессиональные союзы в советской России. Цит. у Л. Троцкого «Роль и задачи профессиональных союзов» в сборнике «Партия и Союзы». Птр., 1921, стр. 257.

Что же означает, что советский режим ищет экономического спасения в этих буржуазных уловках, или лазейках, в этих *expédients*, как говорят французы?

Обратимся сперва ко второму. С социалистической точки зрения обоснование производительности или успешности производительного процесса на дифференциальной оплате труда есть радикальное отступление от уравнительной или эгалитарной основы социалистического советского хозяйства. И то, что социалистическая мысль и социалистическая власть обращаются к этому выходу, не есть обстоятельство, чисто исторически определяемое культурным уровнем русского народа, а есть существом дела обусловленная сдача центральной принципиальной позиции социализма, социализма не как правовой или экономической техники, а как социально-политической идеологии, — отказ от его эгалитарной идеи.

Отказ этот обусловлен тем, что то буржуазное начало, которое можно охарактеризовать как начало расценки людей по их личной годности есть необходимый двигатель всякой экономической деятельности, который нельзя устранить, не подрывая в корне всей хозяйственной жизни. Сквозь культурно-исторически обусловленный, своеобразно русский рисунок происходящих в России социально-экономических процессов мы можем рассмотреть одно чрезвычайно важное соотношение, имеющее значение всеобщее. Русский опыт в сочетании стихийного массового движения с сосредоточенным государственным действием сопряг или, вернее, пытался сопрячь эгалитарный, «уравнительный» мотив социализма с его организационно-технической идеей, опирающейся на правовой принцип коллективной собственности, пафос социализма — с его техникой!

Именно этим русский опыт и обнаружил воочию, что организационно-техническая идея социализма для своего экономического успешного осуществления требует величайшего напряжения буржуазных антиэгалитарных мотивов. Иначе говоря, русский опыт показал, что обоб-

ществление хозяйства, призываемое ради насаждения равенства, если только это обобществление вообще достижимо, может быть осуществлено лишь при принципиальном признании и практическом проведении начала хозяйственного неравенства: либо социализм означает хозяйственный упадок, или регресс, либо он должен быть «буржуазен». Это значит, что социализм как обобществление хозяйства, как мыслимый метод наиболее рационального устройства хозяйственной жизни и социализм как уравнительный идеал не совместимы один с другим. Кто гонится за уравнительностью, тот теряет или губит хозяйственность, кто стремится к хозяйственности, тем самым должен отказаться от уравнительности. Многие это и ранее более или менее смутно ощущали или, по общим теоретическим соображениям, предполагали. Русский опыт с полной ясностью, ценою ужасных страданий обнаружив это соотношение, раскрыл живую трагедию социализма. В этом его всемирно-историческое значение, предвосхищенное одиноким русским мыслителем, сказавшим: «Мы как будто живем для того, чтобы дать какой-то великий урок человечеству»⁹.

Указанное соотношение между организационно-технической и эгалитарной идеями социализма объясняет и бесплодность буржуазных поправок, которые коммунистическая власть вносит в социалистический промышленный строй. Для коммунистов обобществление хозяйства есть средство, уравнительность же представляет цель. Уравнительная цель для коммунистов и еще более для масс, психологию которых и коммунистическая власть не может игнорировать, гораздо интереснее и важнее организационного средства и подавно интереснее и важнее необходимых для экономической организации буржуазных методов.

Но дать буржуазным началам действительную для хозяйства силу нельзя, дозируя их как сильнодействующие яды. Фармацевты и лекари коммунистического хозяйства хотят хлеб и молоко применять так, как, быть может, имеет смысл применять мышьяк или морфий. Пафос социализма или коммунизма в уравнительности, и буржуазные начала суть начала инородные, разлагающие для социалистического духа, для коммунистического замысла, и потому действие этих начал, даже когда оно вводится коммунистической властью, встречает в социалистической психологии многообразные сопротивления, низводящие их полезную работу до минимума. В этом глубокая причина бесплодности борьбы коммунистической власти против деморализации труда. Уравнительный пафос и деморализация труда суть лишь два аспекта одного и того же явления. Против деморализации труда можно бороться только буржуазными началами и буржуазными санкциями.

высудка, унаследованного от капиталистического общества и выражающегося в том, что чем выше квалификация труда или чем ответственнее работа, тем оплата должна быть выше». Стр. 198—199: «...Поскольку деньги как средство обмена остались нам от буржуазного общества, на них коммунизма строить нельзя; их надо использовать так, чтобы производственные предприятия работали нормально, чтобы производительность в них росла, а не понижалась, чтобы увеличились от этого материальные ресурсы, на которых мы можем оперировать уже по коммунистическому принципу. Тяжело, правда, слышать, что неквалифицированные рабочие мало зарабатывают и особенно тяжело нам — профессионалистам, ибо в рабочих и особенно неквалифицированных до сих пор остались прежние взгляды на профессиональные союзы как на союзы, ведущие борьбу за улучшение материального положения путем увеличения заработной платы. Но профсоюзы теперь уже не те. Они видят, что улучшение положения рабочего класса не в увеличении заработной платы, а в увеличении производительности, в создании большого фонда материальных благ».

⁹ П. А. Чаадаевым, (Прим. публикатора).

Буржуазную природу второго экономического *expédient* советской власти — профессиональных союзов — разглядеть не так легко, как в первом случае, ибо спор коммунистов о профессиональных союзах точно нарочно велся так, чтобы затемнить суть дела. Подобно тому, как коммунистическая власть, отменив институт частной собственности на средства и орудия производства, не могла отменить экономической природы отдельного работника, точно так же эта власть не могла изменить ни объективной природы рабочего класса, занятого в промышленности, ни его вытекающей из этой природы потребности в профессиональном объединении, которое при случае может направиться против поставившей себя на место предпринимателя советской власти.

Сейчас в среднем рабочем советской России проснулась его классовая природа. Но проснулась не против буржуазии, которой нет, не против предпринимателя, который упразднен, а против советской бюрократии, ставшей и не могшей не стать особым классом рядом с классом простых и квалифицированных рабочих. Профессиональные союзы или, вернее, смутный инстинкт рабочих масс, сбитых в профессиональные союзы коммунистической властью, стремится к тому, чтобы эти союзы стали свободными объединениями рабочих, т. е. вернулись к той своей природе и фигуре, которая принадлежала им в буржуазном обществе. Коммунистическая власть вынуждена считаться с этими стремлениями, очевидно, приобретшими стихийную силу, но старается наперед обезвредить их. Профессиональная организация рабочих признается в пределах, политически и полицейски допустимых для советской власти. При этом необходимо с особой силой подчеркнуть то положение, на котором только что был сделан намек, а именно, что учреждения, существующие в советской России под наименованием профессиональных союзов, не соответствуют формам, созданным капиталистической культурой и рабочим движением западных стран. Запись в профессиональные союзы коммунистического государства обязательна, и вообще это организации не свободные, не союзные, а принудительные и всецело зависящие от государства.

Третий *expédient* советской власти — это свобода торговли для производителей сельскохозяйственных продуктов. «Свобода торговли» приходит тогда, когда коммунистическим режимом промышленное производство доведено до такого низкого уровня, что ему нечего дать деревне. Поэтому эта освобожденная торговля вращается в экономической пустоте, и ее оживление привело, по-видимому, к новому и весьма сильному росту цен, ибо в силу коммунистического строя инициатива в этом торговом оживлении принадлежит не предложению, а спросу, голодному и в то же время нищенскому городскому спросу. Для того, чтобы

свобода торговли сельскохозяйственными продуктами могла принести некоторое более или менее существенное облегчение неземледельцу, экономическая жизнь города и промышленности должна быть хотя бы в такой же мере освобождена от коммунистического гнета, как была фактически от него всегда относительно свободна по недостижимости для советской власти экономическая жизнь деревни. Но такое освобождение города и промышленности от коммунистического гнета будет означать не что иное, как падение коммунистического режима. В то же время, говоря о провозглашенной коммунистической властью свободе торговли, следует опять-таки подчеркнуть, что торговля в буржуазном смысле (ни в смысле политической экономии, ни в смысле торгового права, ни в смысле обычного словоупотребления), т. е. торговли как «промысла», как особой социальной функции советская власть никогда не допускала и теперь отнюдь не признала. Она только милостиво разрешила изголодавшемуся потребителю покупать у непосредственного производителя. Социализм большевиков фактически пришел к крайнему упрощению и распылению обмена, к тому, что французы называют *trac*ом, и вот он вынужден это примитивное состояние обмена легализовать, но торговлю как особую экономическую и социальную функцию он продолжает отрицать.

В параличе и спекулятивном извращении торговли выражается тот распад органической системы народного хозяйства, к которому привело мнимое коммунистическое обобществление хозяйственной деятельности, явившееся на самом деле насильственной дезагрегацией, разрушением естественных общественно-экономических связей. Провозглашение «свободы торговли» коммунистической властью есть характерный образец словесных реформ, которые она вынуждена вводить и на которые только и способна.

В этой связи, может быть, нельзя совершенно обойти системы концессий иностранным предпринимателям, к введению которой советская власть стремится для того, чтобы не задохнуться в созданной ею же самой экономической пустоте. Эта лазейка, этот *expédient*, к которому прибегает советский режим, еще более внешнего и искусственного свойства, чем объявление свободы торговли, попытка в лице многих профессиональных союзов призвать к жизни «производственную», или «рабочую», демократию. Обездолив, истребив и изгнав свою национальную буржуазию, коммунистическая власть призывает из-за границы буржуазных варягов. В этом двойное свидетельство крайней слабости советской власти: она не может по политическим и полицейским соображениям, диктуемым инстинктом самосохранения, допустить на здоровых началах к хозяйственной работе в стране национальную буржуазию, но она своим экономическим банкротством вынуждена искать помо-

щи у буржуазии иностранной. В этой системе концессии обнаруживаются и крайняя слабость, и глубокий цинизм советской власти. Это политика двойной измены: цинической измены национальному началу и национальному достоинству и столь же цинической измены социалистическому идеалу. Системой концесий коммунистическая власть низводит Россию и в национальном, и в социальном отношении на уровень экзотических колоний. Социалистическая идеология и литература полны обличения капиталистической колониальной политики, действительно имевшей много темных сторон, но коммунистическая власть оставила далеко за флагом в этом отношении все капиталистические режимы: она отдает на откуп, она раздает капиталистические концессии и фабрики в собственной стране! Экономическое значение этого наиболее цинического экспедиента советской власти обречено быть совершенно ничтожным по целому ряду соображений, изложенных в специальном докладе. Все значение и вся значительность советской концессионной системы лежат в области политической; обанкротившаяся в экономическом отношении власть этой системой пытается экономически и, главное, политически подкупить в свою пользу мировой капитализм.

Соотношение политики и экономики в советском строе

Тут мы подошли к третьему из поставленных вопросов. Мы видели, как в большевизме вскрылась двойственность социализма уже не только как идеи, но и как реального, осуществившегося экономического явления.

Такая же двойственность, которую мы проследили в отношении экономическом и социальном, вскрывается и в области политической или, вернее, в отношении между экономикой и политикой коммунистического строя. Социалистический строй осуществляется определенной политической организацией. На языке доктрины и партии это зовется диктатурой пролетариата. В сущности, это военная и полицейская диктатура коммунистической партии, упражняемая ради осуществления коммунистического строя.

Хозяйственное и социальное задание есть цель, политический режим есть средство. Таково исходное соотношение между экономикой и политикой в большевистском перевороте и большевистском режиме. Но это только исходная точка. Разрушив хозяйственную жизнь и создав вместо нее экономическую пустоту, советская власть перевернула соотношение между своей экономикой и своей политикой. Хозяйство советской России влачит призрачное существование, реальностью же является могущественная политическая организация, опирающаяся на армию и на господство в ней скованной железной дисциплиной партии. И в то же время — и в этом за-

ключается парадоксальность того явления, которое представляет советская власть, — от призрачной коммунистической экономики эта, казалось бы, могущественная политическая власть и организация не может отказаться, ибо на ней и ею она только и держится. В самом деле, предположим, что советская власть разом или постепенно отказывается от своей экономической системы, что она, как принято теперь говорить, эволюционирует. Тогда она лишается кадров своих приверженцев, каковыми являются непосредственно зависящие от нее привилегированные и «коммунистические» элементы, и, что еще важнее, открывает путь для образования, сплочения и работы в стране кадров абсолютно враждебных. Полное удушение как экономической свободы, так и личной и имущественной безопасности городского населения есть одно из основных условий экономического упадка и регресса советской России. Но в то же время именно это удушение есть безусловно необходимое условие политического господства коммунистической партии; вне этого условия оно не может чисто полицейски продержаться и несколько дней. Вся сложная система экономических ограничений, свободы передвижения, собственности, хозяйственного оборота теперь уже существует не столько ради экономических и социальных целей данной системы, сколько в силу политической и полицейской необходимости этих ограничений для самой власти. Аристотель в «Политике» замечает, что некоторые виды угнетения и притеснения населения необходимы для самосохранения тиранической власти. Та экономическая пустота, которую создало вокруг себя коммунистическим режимом советское правительство, есть политическая атмосфера, абсолютно необходимая для его властвования.

Коммунистический строй мог быть осуществлен только посредством насильственного захвата власти и упразднения всех форм правового порядка, даже тех, которые существовали в абсолютных монархиях. Но коммунистическая власть, или диктатура пролетариата, в свою очередь, может держаться только при существовании коммунистического строя. Это вполне ощущается самими коммунистами и инстинктивно обнаруживается ими в их политике, отличительной чертой которой является неспособность действительно порвать с приемами, экономически несостоятельными, но политически, с точки зрения самосохранения власти, необходимыми. Это можно выразить еще так: система экономической политики коммунистического государства — коммунистическая полиция благосостояния — превратилась для советской власти в полицию безопасности.

Препоны экономические, из которых соткан весь коммунистический строй, выполняют сейчас, главнее всего, задачи в узком смысле полицейские. В силу этого соотношения между экономикой и поли-

тикой большевизма эволюция большевизма будет условием и сигналом для революции против большевизма. Это не значит, что такая эволюция невозможна, но это определяет политический и социальный характер этой эволюции и ее неизбежный и скорый исход.

И тут русский опыт снова дает нам великий урок социологии и политики. Тирания и гнет советской власти есть явление невиданное в истории человечества. Чем же объясняется эта еще никогда не встречавшаяся в истории степень всеобщего политического угнетения? Невольно вспоминаются тут уроки XVIII века и заветы Великой французской революции.

Декларация прав человека и гражданина недаром в перечень этих прав внесла право собственности; недаром у этой подлинно великой революции был пафос экономической свободы. Это вытекало из существа дела. Русский экономический опыт тем назидателен, что он вновь показал и доказал миру то, что люди XVIII века понимали с полной ясностью, наши же современники, казалось, стали легкомысленно забывать, а именно, что право собственности и экономическая свобода индивида есть необходимая принадлежность и в то же время главная гарантия свободы личности. Почему государственное угнетение в советской России дошло до таких пределов, которых даже наша страна никогда не знала? Именно потому, что советский режим отменил не только свободу публичной жизни, посягнув не только на так называемые субъективные публичные права, но упразднил индивидуальную собствен-

ность, уничтожил частное хозяйство и тем подрезал эти подлинные, глубинные корни личной свободы и личного достоинства. В коммунистической России не только нет свободной печати — ее не знала ни Англия XVIII века, ни императорская Франция, ни доконституционная Россия, — в ней нет вообще частной печати.

В коммунистической России остались построенные капиталистическим миром железные дороги, но свобода передвижения и на них и вообще эта свобода — одно из проявлений начала хозяйственной свободы — упразднена так радикально, как этого не было ни в одну эпоху русской истории. Все это сводится к одному: у всего населения вместе с правом личной собственности принципиально отнята экономическая свобода и тем подрезаны самые корни личной свободы. Русский коммунистический опыт в новой обстановке вновь подтверждает социологическую и политическую истину, гласящую, что собственность и экономическая свобода есть основа и палладиум личной свободы во всех ее проявлениях, даже наиболее тонких и вершинных. Вот почему позвольте мне на этом месте высказать свое глубочайшее убеждение: отставив начала собственности и экономической свободы, представители русской промышленности, торговли и финансов защищают не только себя, они ведут борьбу за родину и человечество, за культуру и свободу.

*Предисловие и публикация
Ивана ЗАДОРЖНЮКА*

«Бывают странные сближения...»

Гипотезы, разыскания

Игорь ВОЛГИН

Не удостоенные света

БУЛГАКОВ И МАНДЕЛЬШТАМ:
ОПЫТ СИНХРОНИЗАЦИИ

Не сравнивай: живущий несравним.

О. Мангельштам

Похвала телефону

С раннего детства помнится интригующее, будоражащее, завлекающее — чуковское: «У меня зазвонил телефон...»

Это классическое начало классического современного сюжета. Телефонный звонок служил завязкой повествования, как в старину — получение важного письма («Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие...»). Телефонный звонок может стать и эффектной развязкой — наподобие *deus ex machina* в античной драме.

Конечно, подобный способ общения наносит невосполнимый ущерб любопытству историков. Ибо те реалии и обстоятельства жизни, которые до появления аппарата Эдисона аккумулировались мощным эпистолярным культурным слоем, — все это ныне становится неосознаемым, невосстановимым, рассеивается в мировом пространстве. Каковы были отношения между знаменитыми современниками — А. и В., С. и Д., X и Y? Бог весть: они перезванивались. Исходящие официальные бумаги и любовные записки с успехом замещены разговорами. Телефонократия правит миром. Архивный юноша с взором безумным не выбежит из древлехранялища, потрясая заветной бумагой. Нет документа — и все концы упрятаны в воду. Слаб надежда на тех, кто по долгу службы должен был бы улавливать вздохи этого безбрежного океана: их возможности велики, но не безграничны.

Из миллиардов телефонных разговоров советской эпохи двум суждено вечно пребывать в исторической памяти и волновать воображение потомков. Окруженная почти мистическим ореолом власть

нисходит со своих заоблачных высот в бытовое пространство московских коммуналок. Среди избранных оказываются те, кому — с точки зрения божества — роль Моисея на горе Синайской вовсе не пристала. Побочным, хотя и существенным следствием такого предпочтения становится физическое выживание отмеченных высочайшим вниманием лиц — в эпоху, когда их шансы были, в общем, невелики.

Сталин позвонил Булгакову 18 апреля 1930 года и Пастернаку — в июне 1934-го. В первом случае предметом беседы являлся сам адресат звонка, во втором — Осип Мандельштам.

Справедливо замечено, что как Мандельштам, так и Булгаков не могли не усматривать в этом исключительном совпадении некий особый знак. Впрочем, «точек пересечения» обнаруживается все больше.

Дело даже не в том, что оба писателя родились в «девяносто одном ненадежном году» и их жизненные драмы, завершившиеся почти одновременно, явили трагедию высокого — можно сказать, мирового — порядка. И не в том, что, перемещаясь некоторое время в географическом треугольнике Киев — Батум — Москва, они водворяются, наконец, в одном и том же писательском доме. Не менее важно, что ими были очерчены своего рода анклав во все более истощаемом и обезличивающемся культурном поле. Их более или менее искренние попытки выйти за эти пределы и «присоединиться к большинству» кончились крахом.

Да, высшая власть, прибегнув к магической чаре телефона, с благодетельной, казалось бы, целью вторгается в их судьбу. Но произведения, посвященные носителю этой власти, уже не могут спасти их от гибели.

И (как посмертное совпадение) после них остаются вдовы, которые не только

Основные положения этой работы были изложены на Булгаковской конференции в Париже в июне 1991 года.

исполняют священную миссию хранительниц текста, но сами становятся персонажами мифа.

Вернемся, однако, к телефону — это-му волшебному ящику номенклатуры. Не в привычках власти приобщать к своим телефонным интимам недостойный доверия «низший» мир. С миром этим должно управляться посредством письменных процедур — инструкций, указов, распоряжений, формальных отписок. В этой системе координат телефонный звонок лица официального частного лицу всегда есть нарушение субординации, исключение из правил, некий вид государственной фамильярности. Тем менее вообразим подобный звонок с самого верха иерархии.

Когда Манделштам, переселившись в Нащокинский, сочинял стихи, где наличествовала строчка: «Лягушкой застыл телефон», — он вряд ли имел в виду возможность той метаморфозы, которая поразила когда-то его нынешнего соседа: превращение телефона-лягушки во всеильную сказочную царевну. Однако о самом факте он, разумеется, знал.

Сталин порой отвечал на письма писателей (Д. Бедного, В. Н. Билль-Белоцерковского и др.): это всегда был хорошо рассчитанный политический жест. Обнародованный текст становился сакральным и подлежал изучению в качестве такового. В отличие от письменных сталинских ответов звонки Булгакову и Пастернаку существовали как сакральные факты. Не упоминаемые публично, они составляли «негласный эпос» и предполагали некоторую свободу воображения. Впрочем, как и другие сюжеты подобного рода.

Рассказывают: некогда литератор Р. (не имевший домашнего телефона) написал книжку о Суворове. Вскоре, в его отсутствие, явился посылочный: оставил номер, по которому литератора Р. просили позвонить. Захватив пятиалтынный, ничего не подозревающий Р. направился в ближайший телефон-автомат.

— Моя фамилия такая-то, — сказал он, набрав требуемый номер.

— Очень приятно, — твердо отозвались в трубке. И после непродолжительной паузы добавили: — Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин.

— Здравствуйте, товарищ Р., — раздался знакомый каждому голос. — Я прочитал вашу книгу о Суворове. Нужная, своевременная книга. На странице сорок шестой, второй абзац сверху, вы верно говорите о патриотизме Суворова. Я бы развил эту мысль...

— Слушаю вас, товарищ Сталин, — слабо отозвался пребывающий в полуобморочном состоянии литератор Р. и карандашом на пачке «Беломора» стал судорожно царапать замечания вождя.

Между тем у телефонной будки, как водится, выстроилась очередь. Вдохновляемые вечной табличкой «Разговор свыше 3-х минут воспрещается», хмурые московские жители начали громко барабанить в ветхую дверь. Но не мог же

бедняга Р. откровенно признаться, с кем он ведет беседу: народ не любит подобных шуток.

— Простите меня, товарищ Сталин, — в полном замешательстве промолвил Р., — но я звоню из автомата и не могу больше с вами разговаривать. — (Пастернак в своем случае начал беседу с вождем жалобой на плохую слышимость — из-за крика детей, ревящихся в коридоре его коммуналки.)

— Хорошо, — недовольно, как показало его собеседнику, отозвался Сталин, — мы поговорим с вами в другой раз.

И — повесил трубку.

Тут только сообразил несчастный Р., что он себе позволил. Вернувшись домой, он скорбно велел жене собирать вещи.

И действительно, не прошло и часа, как в дверь властно постучали. Два бравых лейтенанта осведомились у обреченно вышедшего им навстречу хозяина, здесь ли живет литератор Р. Получив утвердительный ответ, они размотали провод (так называемую «воздушку»), установили армейский полевой телефонный аппарат и, отковыряв, удалились.

Минут через десять зазвучал зуммер.

— Это товарищ Р.? Это вас опять Сталин беспокоит. Так вот, на странице сорок шестой, второй абзац сверху...

История замечательная, хотя и нельзя поручиться за ее достоверность¹. Она льстит громовержцу, превращая по ходу сюжета ожидаемую молнию в простой электрический сигнал. Но этим лишь подчеркивается наличие чуда. (Через много лет, правда, при совсем ином раскладе фигур, телефонный аппарат будет спешно установлен в доме горьковского изгнанника, дабы по нему прозвучал один-единственный — кремлевский — звонок. Однако в силу указанных изменений этот, возможно, незальный исторический плагиат уже не будет носить мистического оттенка.)

Звонку Сталина — не наркомку, не маршалу, не члену политбюро, а частному лицу — мог означать только одно: перемену судьбы. Снятием телефонной трубки решалась участь. Булгакову и Манделштам ощутили это незамедлительно. Избранный высочайшим абонентом способ коммуникации уже сам по себе являлся знаком благоволения. Подобный акт почти приближался по значимости к личной аудиенции — с той стратегической выгодой для звонившего, что он, оставаясь незримым и недоступным, получал все преимущества первого хода. Звонивший обезоруживал собеседника не только самим фактом звонка, но и — с первых же слов — обещанием положительного решения («Благодарный ответ будете иметь» — Булгакову, «с ним все будет хорошо» — Пастернаку). Человек, услышавший такое, как бы обрекался на благодарность.

¹ Мы, в частности, излагаем ту устную версию, которую слышали когда-то.

Может быть, именно поэтому «полужительный ответ» не был поначалу воспринят обоими собеседниками Сталина как фактическое **неисполнение** главных желаний. Так, вместо разрешения печататься, восстановления пьес в репертуаре или отъезда за границу Булгакову предоставлялась должность во МХАТе², Мандельштаму вместо освобождения от наказания изменялась мера пресечения: он получал право выбрать новое место ссылки. Абсолютная власть не могла позволить себе абсолютную милость.

Никто из смертных не мог утверждать «Мне позванивает Сталин» (даже его собственная дочь). В устных («домашних») рассказах Булгакова о его якобы дружбе с вождем (к ним мы еще вернемся) самым смешным выглядит задушевность их отношений.

Почему Сталин позвонил Пастернаку?

Сталин как эстетик

На этот счет существует немало догадок, ни одна из которых не лишена интереса. Но, пожалуй, лишь один Фазиль Искандер указал на эстетические мотивы: он предположил, что стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны...» понравилось адресату.

Во всяком случае, оно произвело впечатление.

В недавно извлеченном из спецархивов деле Мандельштама содержится протокол его допроса от 18—19 мая 1934 года. Допрос ведет изображенный в воспоминаниях Надежды Яковлевны Мандельштам следователь «Христофорыч» (в миру — оперуполномоченный 4-го отделения секретно-политического отдела ОГПУ Н. Х. Шиваров).

«Вопрос: Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?

Ответ: Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на «монументально-лучебный и вырубленный характер» этой вещи»³.

Следует поблагодарить «Христофорыча»: в его записи (протокол написан следовательской рукой) до нас дошла едва ли не лучшая характеристика знаменитого стихотворения. «Поэтическая зоркость» действительно не изменила Ахматовой. Она точно уловила в этом необычном, «нетипичном» для мандельштамовской поэтики тексте сочетание двух раз-

народных начал: разящую примитивность лубка и «вырубленную», циклопическую монументальность народного эпоса⁴.

Вопрошая Пастернака о том, мастер ли Мандельштам, Сталин, очевидно, ждал ответа утвердительного. Уклончивость Пастернака («Не в этом дело...») не могла не раздражать его собеседника: для него дело заключалось именно в этом. Специалиста следовало использовать в интересах государства. Ущерб, наносимый им этому государству, представлялся тем большим, чем выше окзывалось мастерство.

Последнее неплохо понимали и следователь, и обвиняемый.

«Эта характеристика (т. е. отзыв Ахматовой. — И. В.), — продолжает записывать за поэтом «Христофорыч», возможно, «редактируя» текст⁵, — правильна, потому что этот гнусный, контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому, при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы».

Если Сталин лично читал протоколы допросов (а это вовсе не исключено), он должен был бы согласиться с подобной формулировкой. «Презрение к изображаемому при одновременном признании его огромной силы» — такое сочетание порождало, конечно, мощный эффект. Подчеркнутая грубость центрального образа, наличие в нем отталкивающих физических характеристик («его толстые пальцы как черви жирны», «тараканы смеются глазища»⁶ и т. д.) — все это

⁴ Известно, что поэма Блока «Двенадцать» была названа «частушкой в бронзе». К аналогичной трактовке близок и Мандельштам, заметивший, что «Двенадцать» — «монументальная драматическая частушка» и ее сила заключается «в самом материале, почерпнутом непосредственно из фольклора» (Мандельштам О. Э. Соч. в 2 т. Т. 2, М., 1990, с. 190—191). Сознал ли автор «генетическую» близость своего стихотворения поэме Блока? Ведь оно тоже сколок с народного «массового» сознания. Эту художественную черту следствие пыталось истолковать в сугубо криминальном смысле: «Его (Мандельштама. — И. В.) допрашивали об эпиграмме на Сталина: «Кто это мы? От чьего имени вы говорите? Хотели создать дело о контрреволюционной группе» (Герштейн Э. Г. Новое о Мандельштаме. Наше наследие, 1989, № 5, с. 118). Но в стихотворении Мандельштама такой «группой» является весь народ.

⁵ Протоколы лишь подписаны О. Э. Мандельштамом. «Подписывал, не перечитывая, — говорит Надежда Яковлевна, — за что я грызла его все годы».

⁶ Именно так (а не, как обычно цитируемым «ушища») записана эта строка самим автором во время допроса. Если это даже выванная моментом описки (что скорее всего), а не один из вариантов, все равно стих из позднейшей «Оды» — «могучие глаза решительно добры» — звучит как самоопровержение, полемика с первоначальным «тараканьим» образом. Ключевое слово (выкрик!) в этой строке — «решительно»: автор как бы пытается уверить самого себя, что

² «Булгаков, в тот момент того не заметив, — пишет М. О. Чудакова, — оказался прочно связан этим разговором — он остался дома, не услышав никаких обещаний относительно возможности творческой работы» (Чудакова М. О. Взглянуть в лицо. Взгляд М., 1988, с. 396).

³ Шенталинский В. Улица Мандельштама, Огонек, 1991, № 1, с. 19. В дальнейшем документы, относящиеся к делам Мандельштама 1934-го и 1938-го годов, цитируются по этому изданию.

должно было покоробить высочайшего читателя, не лишеного все же определенных художественных пристрастий и смутно догадывающегося, что весь этот базарно-площадной арсенал приведен в действие не ради ругательства и политических оскорблений. Сталина вряд ли бы задел только лубок. Он знал цену агиткам. Не обладающий «поэтической зоркостью» Ахматовой, он тем не менее мог почувствовать в «посвященных» ему стихах нечто такое, что придавало этому на первый взгляд незатейливому тексту пугающую «монументальность». Он вопрошает Пастернака о мастерстве.

Думается, что эстетический момент сработал и в случае с прозой: Сталин отозвался на письмо Булгакова не из одних политических видов.

Конечно, «подобный Этне» выстрел Маяковского 14 апреля 1930 года заставил булгаковского адресата поторопиться. Его звонок был неожидан и беспрецедентен. (Этой весной генсек делал и другие непредсказуемые тактические ходы: 2 марта в «Правде» появилась статья «Головокружение от успехов».) Но почему из громадного потока кремлевской корреспонденции было выбрано именно булгаковское письмо? Не потому ли еще, что это произведение довольно высокого литературного порядка?

Разбитое на одиннадцать тезисов-главок (некоторые из которых состояли всего из одной фразы) и внешне как бы воспроизводящее излюбленную Сталиным-дидактиком композиционную структуру⁷, это письмо построено по законам драматического искусства. В нем есть своя завязка, кульминация и развязка. Смена картин и монтаж сцен сделаны твердой рукой. Доказательность аргументов поддержана мощной стилистикой — от выглядевших дерзко в таком «нормативном» тексте инверсий («Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым») до патетических, провоцирующих немедленную реакцию оборотов («...я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно

прежде он ошибался. Ср. также в стихотворении 1937 года: «И ласкала меня и сверлила со стены этих глаз журба». Добавим, что отмеченная Б. Сарновым (в его превосходной книге «Заложник вечности») откровенная пародийность строк:

Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми
глазами, —

возможно, имеет еще и историко-литературную подоплеку. Ср. у Некрасова:

Одетого как барина,
Во всей его красе,
Увидишь тут Булгарина
В бекеше, в картузе.

⁷ Любопытно, что в «Батуме» автор ставляет юного героя пьесы анализировать характер одноклассника в известной манере — с разбивкой на «сталинские пункты», загибанием пальцев и т. д. Потенциальный зритель мог бы стонать от смеха в своем кресле — разумеется, беззвучно.

9. «Октябрь» № 7.

найдет нужным, но как-нибудь поступить...»).

Этот независимый, исполненный достоинства тон абсолютно невозможен ни для «товарищеской» партийной эпистолярки, ни для прошений и просьб, идущих снизу наверх — от граждан в инстанции.

«9

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР <...>.

10

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».

Так разговаривает с властью имущими — власть имущий. Адресат письма не мог не почувствовать этой внутренней силы. Впрочем, сам он тоже выполнил свою задачу блестяще: четко построил сюжет и определил доминанту беседы⁸. В признании Булгакова, что его собеседник «вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно», слышится сугубо профессиональная оценка.

Сталин разрешил «не делать секрета» из своего звонка — как и четыре года спустя в случае с Пастернаком. Оба разговора были рассчитаны на публику. И публика не замедлила отозваться.

Тайный доброжелатель: документ из архивов ОГПУ

В недавно — с разрешения КГБ — обнародованном «деле Булгакова» наряду с его письмом к Правительству содержится другой документ. Это анонимное сообщение одного из информаторов ОГПУ (анонимное, разумеется, для допущенных к делу исследователей, но, надо думать, не для допустившего их ведомства)⁹. «В литературных и интеллигентских кругах, — эпически начинает безымянный автор, — очень много разговоров по поводу письма Булгакова».

Далее излагаются и письмо, и разговоры.

Следует признать, что оказывающий услуги ГПУ незнакомец весьма расположен к Булгакову: его «информация» не так проста. Сверхзадача документа — подчеркнуть, что талантливого писателя травят литературные чиновники и лишь просвещенное вмешательство высшей

⁸ «Сталин уверенно навязал Булгакову свой план разговора, легко реализовал его и закончил разговор вполне мирной, обнадеживающей и успокаивающей собеседника нотой» (Чудакова М. О. Взглянуть в лицо. С. 396).

⁹ Историкам советской литературы практически еще не сталкивались с такого рода документальными материалами, присутствие которых в поле научного внимания будет, по-видимому, возрастать.

власти способно оградить творца от несправедливых гонений. Подобное заступничество благодетельно и для репутации самой власти: «Такое впечатление, — словно прорвалась плотина и все вокруг увидели подлинное лицо тов. Сталина».

Каким же, однако, виделось «в литературных и интеллигентских кругах» лицо «тов. Сталина» до того, как он позвонил Михаилу Афанасьевичу Булгакову? Автор не отказывает себе в удовольствии довести эту информацию до сведения ОГПУ:

«Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, мнения как о фанатике, который ведет к гибели страну, которого считают виновником всех наших несчастий и т. п., как о каком-то кроважадном существе, сидящем за стенами Кремля».

Такую аттестацию можно было «распространять» только по таким каналам. Во всех прочих случаях источник рисковал головой.

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Да: именно Осип Мандельштам говорит о «кремлевском горце» «как о каком-то кроважадном существе, сидящем за стенами Кремля». Именно этот цикл идей (представление о «фанатике, который ведет к гибели страну») воплотит поэт через три года — в своей «монументально-лубочной вещи».

Звоня Булгакову, Сталин как бы начинает идеологическую борьбу с еще не написанным стихотворением Мандельштама. И, на первый взгляд, добивается в этой борьбе ощутимых успехов.

«А главное, говорят о нем, что Сталин совсем ни при чем в разрухе, — завершает свои любопытные наблюдения анонимный доброжелатель. — Он ведет правильную политику, а вокруг него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу».

Нужно сказать, что популярность Сталина приняла просто необычайную форму. О нем говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с Булгаковым»¹⁰.

¹⁰ Шенталинский В. Секретное досье Мастера. Огонек, 1991, № 20, с. 11—12. Далее «дело Булгакова» цитируется по этой публикации. 12 июня 1930 года московский букинист Э. Ф. Циппельзон записывает в дневнике: «...то, что сделал Сталин, говорит о нем лишний раз как о большом человеке, противопоставившем себя маленьким людшкам из Главлита и Главискусства. <...> Все это (нападки на Булгакова. — И. В.) только отдаляло Михаила Афанасьевича, к моему глубокому сожалению, от единственно достойного для такого большого писателя пути, пути освоения той великой эпохи, в которую мы имеем счастье жить. И также бесспорно, что замечательный шаг Сталина приближает и без сомнения приблизит к

Этому сугубо негласный документ свидетельствует о том, что Сталин добился поставленной цели. Однако и автор секретной записки, судя по всему, себе на уме: он вовсе не ограничивается грубой лезтью. Предложенная им схема как бы подкашивает верховной власти направление маневра. А именно — переложить вину за «разруху» и прочие непотребства на «сволочей», а самой — не отступать от политики, возвещенной известным звонком, «Жалует царь, да не жалует царь», — не лучше ли тогда «щелкнуть по носу» слишком ретивых псарей?

Увы. Мандельштам уже не оставляет «царю» такого исхода. Ибо вся придворная «сволочь» («сброд тонкошеих вождей») — послушные пешки в руках «кремлевского горца». Он-то и есть самое страшное, почти inferнальное зло.

Следует между тем помнить, что автор «Белой гвардии» предназначал свое послание не одному только генеральному секретарю. Оно было направлено в семь адресов (Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов, Ф. Кон). Такое дублирование имело смысл: шансы на ответ повышались. Недавно стало известно, что письмом занималось по меньшей мере еще одно лицо — Генрих Григорьевич Ягода.

Кто есть «Правительство СССР»

Но прежде чем обратиться к этому сюжету, взглянем на папку, в которой подшиты уже приводимые нами документы (вернее, на доступную обзорению фотоконию обложки):

«Совершенно секретно СССР»

ВЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД — МГБ — МВД — КГБ при СМ СССР

Секретариат

Дело №

(по секретному отделу ОГПУ)

Письмо драматурга М. Булгакова (автора пьесы «Дни Турбиных»), адресованное правительству СССР об ограждении от необоснованных критических нападок печати и о помощи в устройстве на работу.

Начато « » апрель 1930

Окончено « » апрель 1930

Срок хранения пост<ойный>>

этому пути одного из самых талантливых и искренних писателей нашего времени» (Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988, с. 441—442). Нельзя не заметить поразительного сходства лексики, тональности и аргументации Э. Ф. Циппельзона и процитированного архивного источника. Что, впрочем, не должно служить поводом для скоропалительных умозаключений. Тем более что оба текста отражают реальные черты общественного сознания.

Судя по внешнему виду обложки, она относится к более поздней, нежели само дело, эпохе: цех грозных аббревиатур замыкает одна из последних по счету (восьмая). Но заголовок досье, по-видимому, перенесен со старой архивной папки. Отсюда следует: в этой формулировке не было главного.

Ибо автор «Дней Турбиных» вовсе не просил оградить его «от необоснованных критических нападок печати» — он слишком для этого горд. В его задачу входило лишь процитировать эти бесподобные тексты. Что касается «помощи в устройстве на работу», то Булгаков не столько просил помочь, сколько честно предлагал государству свои дарования и свою готовность трудиться.

Но о том, в чем действительно заключалась главная просьба — «отпустить на свободу», — в заголовке не упомянуто ни намеком. Иными словами, в официальной «служебной» трактовке события сделан тот же акцент, что и в сталинской телефонной драматургии.

Очевидно, это совпадение не случайно.

12 апреля Генрих Ягода начертал на булгаковском письме: «Надо дать возможность работать, где он хочет». То есть в отличие от председателя Главискусства Феликса Кона, который, если верить информатору Лубянка, положил «ввиду недопустимого тона оставить письмо без рассмотрения», прозорливый шеф тайной полиции угадал итог будущего телефонного разговора.

Не исключено (как и полагал первый публикатор этих документов В. Шенталинский), что Ягода не мог вынести такое решение единолично: он советовался с генсеком. Возможно, этим бы и ограничались — «жалобщина» известили бы о решении обычным порядком. Но 14 апреля застрелился Маяковский — и ход событий принял иной оборот.

Интересно, однако, другое.

Свое письмо автор предварил следующим документом:

«2 IV 1930 г.

В Коллегию Объединенного
Государственного Политического
Управления

Прошу не отказать направить на рассмотрение Правительства СССР мое письмо от 28.III.1930 г., прилагаемое при этом.

М. Булгаков

Москва, Б. Пироговская, 35^а, кв. 6
телеф. 2-03-27»

Спрашивается: зачем в качестве посредника между собой и «Правительством СССР» автор письма выбрал именно ОГПУ? Это тем более странно, что его письмо одновременно направлялось самим членам правительства — Сталину, Молотову, Бубнову и др.

Между тем в этом поступке есть своя логика.

Во-первых, Булгаков понимал, что совершает важный общественный шаг (а если иметь в виду тон и содержание письма — отваживается на неслыханную политическую дерзость). Поэтому он счел за благо взять превентивные меры (меры безопасности!) и официально довести свою рискованную эпистолярную до сведения тех, чье мнение все равно было бы спрошено. Он делает упреждающий ход.

Во-вторых, — и это, пожалуй, главное, — Булгаков отчетливо сознает, что ОГПУ и есть «Правительство СССР».

На рубеже 1920—1930-х годов становится все более очевидным, что в сложной многоярусной структуре новой утвердившейся власти имеется некий механизм, от функционирования которого зависит работа всех остальных. Органы оправдывали приписанный им этим именем универсализм. Их деятельность становилась залогом существования государства. Окруженные романтическим флером времен гражданской войны, они как бы персонафицировали в себе самую революцию. Они вызывали восхищение, с которым мог сравниться только внушаемый ими ужас. Будучи органами прямого действия, они замыкали на себе практически все функции диктатуры, от имени которой выступали. Никакая власть в государстве (кроме все более сливающейся с ними партийной) не могла соперничать с их влиянием и силой. Лубянка имела все основания полагать: «Государство — это я».

У «славных чекистов» складывались особые отношения с культурой. Культура была зоной повышенного внимания, причем не обязательно в запретительном плане. Те, кто стоял «на страже», могли позволить себе известную широту. Порой тайная полиция брала на себя роль тайного мецената. Крупнейшие писатели, композиторы, актеры не считали зазорным делить хлеб-соль со всемогущими покровителями. («Смешанная публика — художники и гетеуисты», — записывает Е. С. Булгакова о посетителях одного музыкального дома.) Напротив, их дружкой гордились, у них искали покровительства, перед ними заискивали. Иные стремились «обняться душами» с носителями тайной власти совершенно искренне, ощущая духовное и социальное родство:

Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы...¹¹

Булгаков так не считал.

Он чувствовал себя человеком «другой породы». Однако он не желал быть

¹¹ Только новая советская ментальность способна была устремить к одной цели (и в этом смысле идеологически уравнивать) все виды человеческой деятельности. Трудно представить русского поэта XIX столетия, который (если перифразировать Багрицкого) мог бы, снагем, совокупить в одном восклицательном ряду: «Любимцы муз, жандармы, земледельцы...» и т. д.

ни врагом, ни отщепенцем. Он принимал правила игры. (Как говорит тетушка Ивана Васильевича в «Театральном романе», «Мы против властей не бунтуем»). Он рассчитывал на ответную терпимость.

Он избирает своим доверенным писмоноском коллегию ОГПУ.

Охота на ведьм

Вспомним, что в романе «Мастер и Маргарита» постоянно присутствует тема ареста, тема тайной полиции, ее невидимой власти¹². Но присутствует не только тема. Автор «романа о дьяволе» относится к числу тех немногочисленных литераторов, которые изобразили действия органов. И он, безусловно, единственный, кто изобразил эти действия как совершенно бессмысленные, не поведшие ни к какому результату. Удивительно ли, что учреждение, допустившее такой прокол, ни разу не названо по имени?

Могут возразить, что следствие по делу ведет милиция. Действительно, на следующее утро после скандала в Варьете туда являются работники уголовного розыска «в сопровождении остроухой, мускулистой, цвета папиросного пепла собаки с чрезвычайно умными глазами». Но увы! Даже знаменитый пес Тузбубен оказывается бессилем перед неведомым врагом. Поэтому (а также в связи с тем, что события приобретают зловещий и необъяснимый характер) поимка преступников передается в руки более серьезной организации.

Если же у читателей романа еще оставалась неясность относительно того, какое именно ведомство всерьез озабочилось разоблачением шайки посетивших Москву негодяев, эти сомнения должны были рассеяться при знакомстве со следующим описанием:

«Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца».

Топография (а также топонимика) узнаваемы. И бессонно горящие в ночи окна, и большая залитая асфальтом площадь, еще не украшенная знаменитой фигурой, — эта картина прекрасно знакома москвичам 30-х годов. (Какие такие ночные следы счищают с асфальта «специальные машины» со щетками? Разумеется, пыль: не секрет, однако, что скрывается под асфальтом — там, в глубине).

Немудрено, что звонки из означенного ведомства производят такое чрезвычайное впечатление.

Когда некий мужской голос просит позвать к телефону председателя Акустической комиссии Аркадия Аполлоновича (проживающего, как сказано у Булгакова, «в доме у Каменного моста», то есть, очевидно, в **доме на набережной**), «подходящая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почитать и подойти к аппарату не может. Однако Аркадию Аполлоновичу подойти к аппарату все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в телефоне очень коротко (аббревиатурой? — И. В.) ответил откуда.

— Сию секунду... сейчас... сию минуту... — пролетела обычно очень надменная супруга председателя Акустической комиссии и как стрела полетела в спальню <...>».

Из всех мыслимых атрибутов государства только те, что воплощены в «очень коротком» ответе, вызывают подобный трепет. Это и есть государство — оно самое.

Тем разительнее контраст — между всеобщим ужасом и страхом и той изумительной беспечностью, которую проявляют по отношению к реально нависшей над ними угрозе члены преступной шайки.

«— А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азazelло и выпил стопочку коньяку.

— Аа, ну-ну, — ответил на это Коровьев».

То, что для современников Булгакова было непреходящим кошмаром и от чего не был застрахован никто, под пером романиста превращается в комедию дель арте, фантасмагорию, дивный фарс, где беспомощными и одураченными предстают именно те, кто в реальной жизни наводил ужас на всех. При этом чем точнее, компетентнее (или, если вспомнить слова, относящиеся к сталинскому звонку, «элегантнее») они действуют, тем плачевнее результат.

«— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот, — и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

— Исключительно чистая работа, — шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо:

— Ну-с, неприкосновенный чревощательный кот, пожалуйста сюда.

Развернулась и взвилась шелковая сеть, но бросивший ее, к полному удивлению всех, промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же и разбился».

В этой сцене, казалось бы, нет ни малейшей насмешки над участниками операции: напротив, всячески подчеркивается их умелость и профессионализм. Они понимают, что имеют дело с могущест-

¹² Об этом см. Шиндель А. Пятое измерение. Знамя, 1991, № 5.

венным и коварным противником. Недаром помимо традиционных маузеров «большая компания мужчин, одетых в штатское», вооружена арканами, марлевыми масками и ампулами с хлороформом: пришедшие напоминают врачей или участников какой-то солидной научной экспедиции. В неординарной ситуации они действуют решительно и неординарно. И тем не менее все их усилия оказываются втуне.

Известно: органы никогда не ошибаются. И они — по определению — не могут потерпеть неудачи, тем более — такого абсолютного, глобального посрамления. Для них это невозможно прежде всего по моральным причинам.

«Теперь уж не могло идти речи о том, чтобы взять кота живыми, и пришедшие метко и бешено стреляли ему в ответ из маузеров в голову, в живот, в грудь и в спину». Операция задумана в высшей степени капитально: при попытке к бегству кота обстреливает еще и «человек, сидящий на железной противопожарной лестнице», а также «охрана, стерегущая дымовые трубы» на крыше. И что же? ¹³

Служители могущественной и тайной власти столкнулись с властью еще более могущественной и тайной. Нечистая сила напоролась на нечистую силу. И в этом захватывающем поединке возможности явно неравны.

«— Вызываю на дуэли! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре <...>».

Настоящие бесы откровенно глумятся над своими необаятельными соперниками и собратьями...

Самое пикантное в этой пикантной ситуации заключается в том, что столкнувшиеся с чертовщиной официальные лица ни секунды не сомневаются в ее естественной природе и находят солидные научные объяснения творящимся чудесам (чрево вещание, гипноз, мнимые перемещения в пространстве и т. д. и т. п.). Они — настоящие материалисты, и чем непостижимее действия их противников, тем более изощренным и наглым предстает он в их глазах. И тогда... «Если враг не сдастся, его уничтожают»: их ли вина, что этот враг неуничтожим.

Вся сцена «ареста» (если еще присовокупить позднейшие картины массовых гонений против котов) есть не что иное, как охота на ведьм — в буквальном и метафорическом смысле. Это знак иррациональности и абсурда — знак, под которым свершалась эпоха.

Современник и очевидец террора, Булгаков не убоился изобразить бессмыслицу этого дела и полную слепоту его исполнителей. Он превращает трагедию в фарс не потому, что не сочувствует жертвам, а потому, что не принимает «слишком всерьез» их палачей. Он сознает всю относительность власти.

Думается, это и есть главная, глубинная причина того, почему роман «Мастер и Маргарита», даже если вообразить благоприятствующие автору обстоятельства (что, признаться, вообразить трудно), не имел шансов вписаться в реальный контекст эпохи, Государство не может бороться с призраками — с иррациональным и трансцендентным: с его точки зрения всего этого просто не существует. Зато идеологизированная тоталитарная власть претендует на полное подчинение себе природы и истории. Вмешательство в этот процесс Бога или Сатаны для подобной власти неприемлемо — даже в виде художественного допущения. Дьявол, восстанавливающий справедливость, берет на себя функции судьи, то есть те функции, которые при авторитарной системе принадлежат совсем другому лицу. Тем самым «князь тьмы» посягает на прерогативы светского абсолютизма: последний должен числить его своим врагом ¹⁴.

Но тут есть еще одна сторона.

В «Архипелаге ГУЛАГ» замечено:

«Как потом в лагерях жгло: а что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым, и прощалься бы со своей семьей? Если бы во время массовых посадок <...> люди не сидели бы по своим нормам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бордах бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется?»

«С примусами», — мог бы добавить Булгаков.

Сцена «ареста» в «Мастере и Маргарите» — это, пожалуй, единственный случай в Москве 30-х годов, когда незваным гостям было оказано **вооруженное сопротивление**. И, хотя никто из них физически не пострадал, прищельцы порамлены. Их встречают огнем, и огонь же, «с которого все началось и которым мы все заканчиваем», уничтожает улки. Арестуемые оказываются сильнее тех, кто их арестовывал: это было нелегально! Идея, что кто-то или что-то способно победоносно противостоять самому острому оружию диктатуры, такая идея была кощунственна по сути. Правда, при желании позволительно было трактовать эту коллизию и в том лестном для органов смысле, что единственным препятствием для эффективности их работы может явиться вмешательство мистических, внеземных (то есть на самом деле несуществующих) сил.

¹⁴ Не аналогичным ли образом у Гоголя настоящий (правительственный!) ревизор из Петербурга замещен Хлестаковым (которого Д. Мережковский не без основания рассматривает в качестве одного из главных гоголевских чертей). В «Мастере и Маргарите» мистический ревизор тоже выступает как альтернатива власти. При этом его миссия остается такой же художественной загадкой, как и явление Христа в «Двенадцати» Влока.

¹³ Ситуация в чем-то напоминает кошмарный сон Раскольникова, когда свидетель бьет старуху по голове топором, а она в ответ заливается беззвучным смехом.

Булгаков, как мы уже говорили, ни разу не называет «одно московское учреждение» по имени — хотя бы в виде эвфемизма (Акустическая комиссия московских театров легко прочитывалась, например, как Главрепертком, Главискусство и т. д.). Мандельштам, побывавший «внутри», вводит имя в свой поэтический текст.

Узники шинели

Он даже подбирает к этому суровому имени игровую рифму: «ау — ГПУ»,

Где вы, трое славных ребят из железных
ворот ГПУ?

Само собой эта строка обращена не к следователю «Христофорычу» или к его коллегам. Речь идет о простодушных конвойных, сопровождавших автора стихов по дороге в Чердынь. Один из этих «славных ребят» увлекся Пушкиным.

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел
по рукам дармоедов,
Грамотеец в шинелях с наганами племя
пушкинovedов —
Молодые любители белозубых стихов.

В этих строках не было ни задней мысли, ни скрытой издевки. Жуткий смысл эти строки получают лишь в обратной перспективе — в контексте прожитой нами исторической жизни.

«Грамотеец в шинелях...»

Шинель для Мандельштама — знак примирения с новой действительностью, лирическое изъявление готовности жить «дыша и большевеля»:

И хотелось бы эту безумную гладь
В долготолопой шинели беречь, охранять.

Отсюда — только шаг до объяснения в любви к самому предмету:

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Сравнение с «волжской тучей» — замечательно, как, впрочем, и все описание шинели.

Эстетике (вернее сказать, эстетизму) этого описания соответствует, кажется, один литературный пример.

«Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли точно кунцу на воротник». Мандельштамовская «рифма» к шинельным вождениям Акакия Акакиевича не случайна. «Маленький человек» — это и «человек эпохи Москвошвея», для которого важно даже не обладание предметом, а хотя бы ритуальное присоединение к этому миру символов и знаков.

Он все мне чудится в шинели, в картузе...¹⁵

¹⁵ Это устойчивые и олицетворенные признаки власти. Ср. дневниковую запись Е. С. Булгаковой от 7 ноября 1935 года. «Проводила М. А. утром на демонстрацию. Потом рассказывал — видел Сталина на трибуне, в серой шинели, в фуражке». Как и Мандельштам, Булгаков внимателен к такого рода подробностям.

Но эта государственная, приуготовленная к эпическим воспеваниям шинель тоже имеет некий прообраз:

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы.
И шинель прокричала сырая:
«Мы вернемся еще — разумеете...»

Так изображен отход красных из «Киева-Вия», на обезлюдивших улицах которого «ищет мужа не знаю чья жинка». Н. Я. Мандельштам говорила, что в этих стихах — «конкретизация тревоги и размышлений о египетских казнях». Они написаны в апреле 1937 года: самое подходящее время для исторических аналогий.

На Крещатике лошади пали.
Пахнут смертью господские Липки, —

где, добавим, помещалась ЧК.

Эта «сырая» (набрякшая чужой кровью?) шинель уже не сравнивается с «волжской тучей». В ней, персонифицированной, одушевленной («прокричала!»), заключен образ, равный времени и исчерпывающий его.

Обещание было выполнено — шинель вернулась:

Он все мне чудится в шинели...

«Чудится» — слово многозначное. Чудиться может все что угодно. В данном случае мерещится призрак. Призрак той самой «сырой» шинели, которая после ряда трансформаций уравнивается, наконец, в своей метафизической сущности с призраком Акакия Акакиевича Башмачкина, срывавшего, как помним, вполне натуральные шинели с плеч запоздалых прохожих.

Из этой «сырой шинели», как «все мы» — из гоголевской, выходит, озираясь, эпоха¹⁶.

«Дни Турбиных» заканчиваются приходом красных. Стихи Мандельштама об их уходе — пророчеством их второго пришествия («Мы вернемся еще — разумеете...»). Круг замкнулся, время оказалось герметичным. И внутри этого времени очутились двое. Оба они надеялись выжить.

Нет ничего легче (и либеральнее), как представить обоих писателей сознатель-

¹⁶ Наряду с «шинелью» важное место в образной системе Мандельштама занимает «не по чину барственная шуба», за которую «корили» поэта и которая была куплена на харьковском базаре у «какого-то ничего дьячка». Эта «литературная шуба» срывается и толчется автором в «Четвертой прозе». «Шуба — говорит Надежда Яковлевна, — это устойчивость быта, шуба — русский мороз, шуба — социальное положение, на которое не смеет претендовать разночинец». Интересно сравнить эту сквозную для Мандельштама лирическую тему с дневниковой записью Е. С. Булгаковой от 2 января 1935 года (запись была опущена Еленой Сергеевной при редактировании дневника): «Неприятное впечатление в трамвае вечером после театра. Какой-то вдрызг пьяный тип в шлеме с голубой звездой явно хотел затеять скандал по поводу моей шубы. И две бабы хихикали и с любопытством подзуживали его на это. Не в первый раз замечаю эту ненависть к шубе».

ными борцами с советской властью, своего рода — «диссидентами 30-х». Подобная модель ничуть не пошлее еще недавно имевших место уверений прямо противоположного свойства.

Разумеется, ни Булгаков, ни Мандельштам не могли одобрить режима (правда, в их отношении к нему различимы существенные оттенки). Но при этом они вовсе не считали, что восторжествовавшая в стране тоталитарная власть не способна ни к какой эволюции. Один из них, а именно Мандельштам, в своем демократическом аристократизме подтверждающий «присягу чудную четвертому сословию», не желал ставить под сомнения идеалы, официально от имени этого «сословия» провозглашаемые. С Булгаковым дело обстояло сложнее. Но и он, открыто заявивший в письме правительству «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране», тем не менее не мог не признать ограниченности этого процесса. «Пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать невозможно», — сказано в том же письме. Заметим, что «пасквиль», удавшийся Мандельштаму, обращен не на революцию, а на вполне конкретное лицо.

И наконец: оба писателя предприняли отчаянную (и, надо полагать, в значительной мере искреннюю) попытку если не примириться с действительностью, то по крайней мере определить способ своего существования с ней.

Они не хотели быть самоубийцами. Но на каких основаниях мог зиждиться возможный, мысленно допускаемый ими компромисс?

Особые приметы

К началу 30-х годов для большинства интеллигентов, находившихся в пределах СССР, стало очевидным: история свершается здесь. Можно ли было позволить себе (если даже отвлечься от грозящих в этом случае кар) идти против истории или по меньшей мере «высочить» из нее («выписаться из широт», как сказала бы М. Цветаева)? Вечный гамлетовский вопрос обретал для русского интеллигента (писателя в том числе) новое измерение: если «быть», то — с кем? Нравится художнику или нет этот тип социальной жизни, его необходимо принять, ибо он принят народом. Сталин — опять-таки независимо от личного к нему отношения — это победа истории. Или — ее ошибка: в любом случае это надолго. В обозримом будущем не предвиделось никаких иных вариантов. Будущее было герметично — оно выросло из герметичного настоящего. Ахматова не зря сказала о мандельштамовской воронежской ночи: «которая не ведает рассвета».

Победивший строй был рассчитан на века и не проявлял ни малейших признаков обреченности или исторической

обратимости. Но помимо всего прочего он обладал еще одним колоссальным преимуществом.

«В Европе холодно. В Италии темно. Власть отвратительна, как руки брадобрея...» Это написано в 1933-м. В том же году, что и «Мы живем, под собою не чуя страны...» Две силы, в равной мере отгалкивающие, как Сцилла и Харибда, нависли над миром. Впрочем, их генетическое родство, или, если угодно, их историческая симметрия будут осознаны много позже. Для многих современников Булгакова и Мандельштама (причем не только в России) Сталин, безусловно, был «меньшим злом». А в контексте начинающегося мирового сражения с нацизмом он даже мог представляться вольным или невольным оборонителем «традиционных» гуманистических ценностей. Не способна ли была сама логика этой борьбы повести к изменению, очеловечиванию власти? Ныне этот вопрос выглядит наивно. В 30-е годы он мог быть поставлен.

Но «человеческое лицо» тоталитаризма — это лицо Сталина.

Почему Мандельштам в своих «искупительных» стихах столь часто прибегает к «физическим характеристикам» героя? О «могучих глазах», которые «решительно добры», мы уже говорили. Но вот — брови: «и бровей начинается взмах»; «густая бровь кому-то светит близко»; «я б поднял брови малой уголком». Рот: «Но я хотел бы стрелкой указать / На твердость рта — отца речей упрямых». (Тут вдруг обнаруживается почти застольная — в жанре тоста! — «восточная» витиеватость типа: «пусти коня своего вдохновения в луга моего внимания»). Веко: «Лепное, сложное, крутое веко — знать, / Работает из миллиона рамок»¹⁷. Разумеется, «зоркий слух». Скелет: «И я хочу благодарить холмы, / Что эту кость и эту кисть развили...» И, наконец, общеупотребительное (но — в каком контексте!): «На всех готовых жить и умереть (и умереть! — И. В.) / Бегут, играя, хмурые морщинки»¹⁸.

¹⁷ «Веко» в поэзии Мандельштама — важный аксессуар. «Два сонных яблока у века-властелина...» Надежда Яковлевна полагает, что мандельштамовский «Киев-Вий» обязан своим происхождением гумилевскому «Из догова змиева. Из города Києва...» Можно, однако, предположить, что этот образ связан и с собственным: «Кто веку поднимал болезненные веки — / Два сонных яблока больших...» Ср. также в «Четвертой прозе»: «Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цейка...» Не примакает ли сталинское «лепное, сложное, крутое веко» к тому же ряду ассоциаций?

¹⁸ Интересно, что о наиболее «поэтической» детали, бесчисленное множество раз обыгранной одописцами, а именно об усах не говорится ни слова. (Может быть, потому, что не мог одолеть собственного «тараканья», если принять этот вариант.) Не опровергаются, впрочем, ни «толстые пальцы», ни «широкая грудь осетина» — вся та отрицательная сталинская телесность которая щедро присутствовала в стихотворении 1933 года.

Обилие этих «особых примет» поразает.

Впрочем, Булгаков позволил себе нечто очень похожее.

В пьесе «Батум» жандармский полковник Трейниц читает приметы Сталина: «Джугашвили. Телосложение среднее. Голос баритональный. На левом ухе родинка. Всё».

Автор «Батума» напоминает канатоходца: он исполняет смертельный номер.

«Губернатор. Ну, скажите! У меня тоже обыкновенная голова. Да, позвольте! Ведь у меня тоже родинка на левом ухе! Ну да! (Подходит к зеркалу.) Положительно, это я»

Дело даже не в вопиющей двусмысленности сравнения. (Власть «подозрительно» похожа на того, кто желает ее сокрушить: обратная симметрия зазеркалья лишь усиливает этот мотив.) Дело в том, что в момент написания «Батума» (1939) любые телесные подробности (за исключением официально тиражируемых «Усов» и «морщинок») могли расцениваться как неуместные, заземляющие канонизированный облик вождя. Метафизическая мощь Сталина не нуждалась ни в каких «физических» основаниях: она была самодостаточна и бессмертна. «Родинка на левом ухе» служила не только эстетическим сигналом «низкой» (в смысле тварной) природы, но и знаком некоторого общего неблагополучия. Ничтожный телесный изъян мог намекать на ущербность совсем иного порядка¹⁹.

«Трейниц. Дальше телеграфируем: «Сообщите впечатление, которое производит его наружность». Ответ: «Наружность упомянутого лица никакого впечатления не производит».

Этот пассаж вовсе не аналогичен хрестоматийному: «Он, как вы и я, совсем такой же». Ибо «он» здесь — никакой.

Конечно, Булгаков нашел бы что возразить в свое оправдание. Автор пьесы мог бы сослаться на изощренность своей художественной методологии: внешний облик героя ступешан намеренно, дабы подчеркнуть его внутреннюю духовную силу. Но в 1939 году, когда почти обоже- ствленный лик «работает из миллиона рамок», публично, с подмостков МХАТа заявлять, что указанный лик «никакого впечатления не производит», было крайне рискованно²⁰.

¹⁹ Ср. со средневековым обычаем — прокальванием родинки и родимых пятен у подзреваемых в сношениях с нечистой силой, когда отсутствие крови являлось обвинительной уликой. Вспомним также сросшиеся пальцы ног — приписываемую Сталину «особую примету» дьявола. (Эта деталь, кстати, если верить С. Ермолинскому, присутствовала в первых редакциях булгаковского романа — «Копыто инженера»). В качестве одной из причин, повлекших запрещение «Батума», Ф. Михальский уверенно называет: «родинка».

²⁰ Эта «самопогибельная шутка» усугублялась еще и тем, что многим современникам Булгакова были известны слова Л. Троцкого, назвавшего Сталина «самой выдающейся посредственностью нашей партии». (См. Смелянский А. Уход. М., 1988, с. 42—43).

Почему же и Булгаков, и Мандельштам, несмотря на деликатность задачи, позволяют себе такие фривольности? Во-первых, оба портретиста догадываются, что искусство зримо. Во-вторых, они хотели бы положиться на эстетический вкус портретируемого. (Иллюзии относительно широты этого вкуса поддерживались некоторыми неожиданными ходами — такими, например, как возобновление «Дней Турбиных».) И наконец: Булгаков и Мандельштам пытаются очеловечить то, что не поддается такой операции по определению²¹.

Сталин и есть лицо «века-властелина». И усилия двух неслабых живописцев лишь доказывают, что его нельзя сделать иным. (Хотя мы еще долгие годы будем возвращаться к этой квадратуре круга.)

Булгаков и Мандельштам своими судьбами продемонстрировали неисполнимость задачи. Но не менее впечатляюще они продемонстрировали это своим искусством.

В «Театральном романе» есть эпизод. Драматург Максудов, дабы понравиться всемогущему Ивану Васильевичу, предпринимает чрезвычайные ночные репетиции перед зеркалом. «<...> Все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная и скромная улыбка, глаза глядели из зеркал прямо и умно, лоб был разглажен, пробор лежал как белая нить на черной голове». Однако все эти ухищрения не приносят желаемого успеха. И однажды ночью герой, «не глядя в зеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скопил глаза и взглянул в зеркало для проверки и ужаснулся».

Что же ужаснуло Максудова?

«Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом, оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не только беспокойство, но и задняя мысль».

Герой с горестью осознает, что никакое актерство тут не помогает: нельзя понравиться человеку, если он тебе не нравится сам.

И автор «Оды», и автор «Батума» попытались обойти этот закон. Увы! Литератор Максудов оказался прав.

«Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» Что ж: уголь взят, но рисующий, как бы он ни старался, не в силах превести опытного натурщика.

Надо думать, оба отважных экспериментатора, помимо сугубо прикладных,

²¹ Поразительно, что при всем обилии «очеловечивающих» деталей стихотворение Мандельштама («Ода»), как справедливо было замечено, получилось «отстраненно-декриптивным». С. С. Аверинцев пишет: «Это сумма мотивов сталинской мифологии, каталогизируемая так, как можно было каталогизировать представления древних народов, — например ассирийцев или египтян, так часто служивших у Мандельштама метафорой тоталитарного мира. Каждый мотив доведен до нечеловеческой кристаллической формы, как у египетского иероглифа, до завораживающей и пугающей абстрактности» (Аверинцев С. С. Судьба и весть Осина Мандельштама. Мандельштам О. Э. Сочинения в двух томах. Т. 1, с. 59).

ставили перед собой еще и художественные цели. Мандельштам чистосердечно полагал, что его «сталинские» стихи окажутся на голову выше массовой продукции подобного рода. Булгаков не только хотел доказать, что ему по плечу «злюбодневная» пьеса (ничего злободневнее избранной темы быть не могло), но и рассчитывал явить свое превосходство над сонмом малоталантливых, хотя и преданных власти драматургов. При этом, очевидно, предполагалось, что просвещенная власть сама должна догадаться, насколько подлинное искусство необходимо для нее иных идейных поделок.

Это было очередным заблуждением. Что касается Мандельштама, то, независимо от авторских намерений, сама поэтика этих стихов отторгала их от узаконенного стандарта. В связи со Сталиным нелегально было произносить так:

Глади, Эсхил, как я, рисуя, плачу! —

и по неуместности чувства, и потому, что у Сталина была совсем другая компания.

(Недаром автор одной «внутренней рецензии» (о ней еще будет сказано ниже) замечает: «Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком (чье имя — как бы общий синоним непонятности. — И. В.) <...> много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине».)

Булгаков пойдет другим путем.

Христос не произносит ни слова

Сочинитель «Батума» на первый взгляд поступает проще. Поэтика драмы как бы ориентирована на «типичную» революционную пьесу (не случайно автор использует здесь драматургическую схему «Багрового острова»). Но неужели такой драматург, как Булгаков, не знал, что, материализуя миф (то есть разыгрывая «историю партии» в лицах), он лишает главного действующего лица его существеннейших атрибутов — нестигаемости и вневременности?

Между тем он уже обладал драматургическим опытом в этом роде.

Физическое отсутствие на сцене — в пьесе о Пушкине — главного действующего лица (при его постоянном духовном присутствии) — это отнюдь не «формальная находка» и не «тонкий художественный прием». Это глубокое понимание онтологичности молчания, таинственности и неизреченности Слова. Разумеется, у Булгакова достало бы «мастерства» для сотворения «образа поэта» — как достало его, скажем, для сотворения «Мольера». Но Пушкин — не Мольер: последний — при всей отзывчивости русского духа — все же очень далекая, «чужая» культурная реальность. Напротив, Пушкин — «наше всё». Это слишком родственно и интимно, чтобы быть представленным вживе. К тому, что явил Пушкин, нечего добавить: это относится не только к его текстам, но и к нему самому. И автор пьесы демонстрирует ху-

дожественную тактичность высшего порядка: он отказывается суфлировать герою.

Елена Сергеевна свидетельствует в дневнике, как был опеломлен В. В. Вересаев, узнав, «что М. А. решил писать пьесу без Пушкина (иначе будет вульгарной)...» Но не вульгарно ли выводить на подмостки биографический панегирик (никакой иной жанр здесь невозможен) благополучно здравствующему лицу? Подобная попытка — независимо от воли того, кто на нее отваживается, — есть акт десакрализации. Мифология, разыгрываемая на подмостках, сокращает дистанцию между зрителем и божеством²². Deus ex machina «умопостигаемее», чем собственно deus.

Впрочем, не схожие ли причины побудили другого автора, творца Легенды о великом инквизиторе, удержать свою руку? Герой хотя и участвует в действе, но тоже не произносит ни слова. У Христа нет в этом необходимости: что Он хотел сказать, Им уже сказано. Сакральность однажды произнесенного текста, его завершенность в самом себе избавляет героя (и автора) от необходимости каких бы то ни было дополнений. Незримый Пушкин и безмолвствующий Христос больше свидетельствуют о своей правоте, нежели Пушкин запечатленный и Христос многоглаголющий. (Недаром булгаковский Иешуа столь далеко отстоит от своего евангельского прототипа.)

«...Работа над «Одой», — говорит С. С. Аверинцев, — не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения»²³. Эти слова уместно отнести и к автору «Батума», хотя пьеса сочинялась совсем в иной обстановке и с иными целями.

Тут возможно одно возражение.

В отношении Булгакова к главе государства не было той ненависти, которая буквально клокочет в мандельштамовских стихах 1933 года. Трудно сказать, знал ли их автор «Батума». Но думается, вряд ли мог бы одобрить столь «лобовые» семантику и словарь. (Хотя «Батум» тоже плакатен — правда, с обратным знаком: оба художника отступили, решая тему, от своих «обычных» творческих принципов.)

Мандельштамовский Сталин «вырубленно-лубочен». Булгаков старался избежать такого подхода. Для него, как и для Пастернака, «кремлевский горец» — серьезная художественная проблема.

Непросто (и, может быть, бесполезно) разгадывать всю сумму мотивов, подвигов Булгакова на этот труд. Елена Сергеевна, по ее признанию, «страшно» любившая «Батум» и восторженно, с предвкушением не только несомненного сценического успеха, но перемены всех жиз-

²² Этим соображением, кстати, определяется и отзыв, который пьеса получила сверху: «Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова».

²³ Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 59.

ненных обстоятельств запечатлевшая в дневнике процесс сочинения пьесы, ничего не говорит о внутренних затруднениях автора. Но почему-то аккуратнейшим образом фиксирует все грозы, обильно гремевшие над Москвой весной и летом 1939 года. («Прообразом исторического события — в природе служит гроза», — говорит Мандельштам.) По странному и необъяснимому стечению обстоятельств они разражаются в решающие моменты, связанные с судьбой пьесы. (Факт столь же мистического свойства, как и та доселе не отмеченная подробность, что номер телефона (58—67) в квартире, где писался «роман о дьяволе», складывался из цифр, в сумме равных тринадцати.)

«Батум» — отнюдь не единственное художественное произведение Булгакова, где создан образ вождя.

«Ворошилов, снимай сапоги...»

Через много лет после смерти писателя, уже в 60-е годы, Елена Сергеевна попыталась восстановить по памяти его «фантастические» рассказы о Сталине. Рассказы эти принадлежат к устному жанру, причем довольно небезобидного свойства. На первый взгляд их герой изображен с мягкой, как принято говорить, иронией. «И такова добрая сила булгаковского таланта, — замечает К. Паустовский, — что образ этот человекен. даже в какой-то мере симпатичен».

Но если присмотреться, портрет не так прост.

Под маской добродушной наивности у булгаковского Сталина вдруг проступают совсем иные черты. Герой капризен и груб (Ягоде: «Ты как смеешь мне так отвечать! Ты на три аршина под землей все должен видеть!»); он деспот и самодур («Ворошилов, снимай сапоги, может, твои подойдут... У тебя уж ножища! Интендантская!»); у него, наконец, наличествуют явные признаки антисемитизма²⁴ («Каганович, бросай свои еврейские штучки, приходи, в оперу поедем»). Кроме того, герой — ханжа и лицемер («Я, конечно, не люблю давить на когнибудь, но мне кажется, что это хорошая пьеса» и т. д.). В последнем случае прямо обыгрывается реплика из телефонного разговора с Булгаковым: «А вы подайте заявление туда (во МХАТ.— И. В.). Мне кажется, что они согласятся». Не пародируется ли та же сталинская стилистика в словах короля в «Мольере» (которые, по свидетельству Елены Сергеевны, публика встречала аплодисментами): «Посадите, если вам не трудно, на три месяца в тюрьму отца Варфоломея...»

Всех, с кем соприкасается Сталин «по ходу пьесы» (а рассказы Булгакова —

это маленькие комедии), оледеняет ужас: от немедленно умерших после сталинского звонка директоров МХАТа до шатающихся и падающих в обморок членов политбюро, которые, заметим, титулуют своего генсека в точном соответствии с сутью — **ваше величество**. (Интересно, что так же пытается именовать Воланда Варенуха.)

Короля, как известно, играет свита. Сама же свита удостаивается глубокого авторского презрения. Все эти ничтожества — и заикающийся Молотов, и самодовольно поглаживающий усы Буденный, и знающий толк «только в консервных банках» Микоян, и пытающийся устроиться на коленях у Сталина суетливый Жданов — обуреваемы одним чувством: стремлением угадать очередную прихоть Хозяина, исполнить любое его желание.

А вокруг него сброд тонкошенок вождей...

Да, это так. «Сталинские» новеллы Булгакова в точности воспроизводят ситуацию (и в известной мере нравственную атмосферу) мандельштамовских стихов 1933 года — взаимное расположение фигур, рабскую зависимость марионеток от кукловода, общую вовлеченность в злодейский трагифарс:

...Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Эта манера поведения свойственна еще одному булгаковскому персонажу — царю Ивану Васильевичу Грозному.

Источники текста (попытка реконструкции)

И тут выясняется удивительная вещь. При всей своей внешней плакатности и «политизированности» «Мы живем, под собою не чуя страны...» невидимыми корнями уходит в глубины русской истории. Оппозиция, воссозданная поэтом, — «мы» (народ) и «он» (царственный злодей) характерна для народного «низового» сознания. Лексика мандельштамовского стихотворения — фольклорная, пословицная («что ни казнь у него — то малина» и т. д.), и может быть, именно поэтому — как бы вневременная. Все реалии соотносимы не столько с XX, сколько с XVI веком: черви, пудовые гири, голенища, подковы, указы, казни и т. п. Даже «страна» существует здесь в максимально обобщенном виде — без уточнения названия и социального строя. Эти стихи мог бы в принципе «написать» (то есть «использовать» их словарь и образный строй) современник Ивана Грозного (например, Курбский), заменив лишь «осетина» и «кремлевского горца» на что-нибудь, скажем, «золотоордынское», но сохраняя при этом даже место действия — Московский Кремль. Своим стихотворением Мандельштам выявляет некий архетип российской государственности в ее тоталитарном варианте. Психологиче-

²⁴ Деталь, кстати, широко не известная в то время, но подтверждаемая близкими к Сталину мемуаристами (С. Аллилуевой, В. Вязановым).

ский климат сталинской эпохи, запечатленный массовым сознанием, абсолютно соответствует народному мироощущению времен грозного царя.

Так «сиюминутное» стихотворение Мандельштама проецируется на русскую историю. Но проецируется оно и на современную ему русскую литературу. В данном случае мы имеем в виду «Мастера и Маргариту».

Переключка обнаруживается уже на уровне звука: низкий, «с оттяжкой в хрип» голос Воланда и подчёркнуто полновесная, «как пудовые гири», речь Хозяина. Если даже отбросить «мяуканье» Бегемота и «свист» Коровьева («кто свистит, кто мяучит, кто хнычет») как мелкое и случайное совпадение, останется еще кое-что. И в первую очередь «самодержавность» центральных героев, густое мельтешение вокруг них младших бесов. Бессмысленно искать, как это делают некоторые зарубежные булгаковеды, среди соратников Сталина (Молотова, Кагановича и др.) прототипы Коровьева, Бегемота и Азazelло. Воландовская свита отождествляет собой не лица, а общую атмосферу беснования, глумления и inferнального страха.

По сохранившимся свидетельствам, Булгаков «прямо говорил, что прототипом Воланда является Сталин»²⁵. Хотя для художественных целей романа это не столь важно (тем более что подобное утверждение нельзя ни опровергнуть, ни доказать), оно хорошо вписывается в отечественную традицию. Некоторая замороженность нечистой силой — черта вполне национальная. Стоит вспомнить «Страшную месть» Гоголя. Или: «Там чудеса, там леший бродит...» Или: «Накому хочешь чародею / Отдай разбойную красу...» Или, наконец: «Победоносцев над Россией / Простер совиные крыла...» и т. д. Теургический характер императорской власти предрасполагал к тому, что всякий неправедный царь подозревался в сношениях с нечистой силой (слухи о связях Бориса Годунова с колдунами, «оборотничество» Лжедмитрия и т. п.). Мандельштамовская «шестипалая неправда» (шестипалость как знак Антихриста), готовящая адские отвары «из ребячьих пупков», имеет, по свидетельству Н. Я. Мандельштам, прямое касательство к Сталину — «рябому черту», к Сталину-Вию.

С пудовыми гириями-словами, широкой грудью, в тараканьих усицах, с толстыми, как черви (выпачканными в земле?), жирными пальцами, Сталин, повелевающий «полулюдьми», и впрямь напоминает того, кто на Красной площади просит поднять ему веки.

Но и у Булгакова, как только речь заходит о Сталине, на сцену немедленно является Гоголь. Вернее — он-то как раз прячется где-то за кулисами, но его присутствие весьма ощутимо.

«Существует такая сказка, — начинается

герой «Батума» свой новогодний тост, — что однажды в рождественскую ночь черт месяц украл и спрятал его в карман». Сказка — сказкой, но всегда внимательный к российской словесности автор тоста должен бы помнить, что этот сюжет уже изложен литературно. А именно — в известной повести «Ночь перед Рождеством».

И тут мы не без удивления вынуждены признать: в устных новеллах Булгакова о друге-вожде то и дело встречаются парафразы гоголевского сюжета.

У Булгакова сверхскоростные средства передвижения мгновенно доставляют требуемое лицо пред светлые очи Хозяина. «Дззз!.. Самолет взвивается и через несколько минут спускается — в самолете Жданов». Кузнец Вакула, используя, в свою очередь, черта в качестве транспортного средства, перемещается в пространстве (Диканька — Петербург — Диканька) с неменьшим успехом. Более того: указанный Вакула возвращается из Петербурга с черевичками царицы, словно сталинский протеже — в сапогах Молотова.

Булгаков:

Сталин. «Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразия?»

Гоголь:

Царица. «Принесите сей же час башмаки самые дорогие, с золотом!»

Восторги Вакулы по поводу царицыных черевичек («...Какие же должны быть сами ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара») находят «обратное соответствие» в негодовании Сталина относительно «интендантской» ноги Ворошилова и «куриной» — Микояна.

Всё: и уже отмеченное титулование вождя «ваше величество», и сходная высочайшая стилистика («Почему мой писатель пишет такое письмо?» — «Светлейший обещал меня познакомить с **моим** народом»), и всеобщее падение в обморок перед генсеком (ср. запорожцы перед царицей: «Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем!») — все это свидетельствует о том, что в свою игровую устную прозу Булгаков щедро вводит элементы гоголевского комизма. «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью!»

Но только ли к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» тяготеет булгаковско-сталинская литературная дружба? Кажется, у истоков этого мезальянса можно различить еще один классический труд.

Это — «Капитанская дочка».

Пушкин, как и Гоголь, — тайный соавтор Булгакова. В литературе уже отмечалась переключка между героем «Батума» и Гришкой Отрепьевым «Бориса Годунова»²⁶. Сталин и Лжедмитрий сближены по основоположному призна-

²⁵ Лит. учеба. 1991, № 6, с. 58.

²⁶ Петровский М. Судьба «Батума». Театр, 1990, № 2.

ку: оба они самозванцы. Но тот же дух самозванщины царит и в булгаковских анекдотах — дух безумного и зловещего маскарада. Сталин и его «енаралы» — это ряженые, каким-то историческим чудом вознесенные на вершину государственной власти. При этом булгаковский Сталин, как и Пугачев «Капитанской дочке», наряду с сугубо «отрицательными» качествами обладает простодушием, наивностью, душевной широтой, а сверх того он достаточно трезво смотрит на своих соратников. Претендующий на шапку Мономаха, булгаковский Сталин по своей функциональной роли подобен менее удачливому пушкинскому маргиналу. Сам же рассказчик (то есть Булгаков) выступает здесь в качестве Гринева, к которому «злодей» вдруг почувствовал необъяснимую симпатию. Правда, не Булгаков отдает Сталину заячий тулупчик, а, напротив, высочайший покровитель презентует «своему» писателю молотовские сапоги. Но как и в пушкинской повести, этот **случайный дар** располагает в пользу потенциальной жертвы отзывчивую натуру душегубца («и мужикоборца», чуть было не добавили мы, однако применительно к Пугачеву этот термин был бы не вполне справедлив).

В отличие от Мандельштама Булгаков вовсе не стремится «заклеймить» Сталина и его команду. Но попытка сделать героем анекдота высшего руководителя государства и в предельно комическом виде изобразить его ближайших соратников — сама эта попытка была криминальна. Подключение к делу русской классической традиции (с ее архетипической трактовкой «царя», «самозванца» и «черта») придавало этой «домашней» сатире неожиданную глубину. Что, впрочем, не извиняло автора. И хотя булгаковские интермедии разыгрывались в самом тесном кругу и были, конечно, «за десять шагов не слышны», все же не существовало абсолютно надежных гарантий того, что не повторится «случай Мандельштама»: гость, застреленный Азazelло, бессмертен.

Дом в Нащокинском

В Батуме начинались две карьеры — Сталина и будущего сочинителя пьесы о нем (названной по имени города). В 1921 году Булгаков последовал совету встреченного им в том же Батуме поэта: отправился на завоевание столицы.

Через тринадцать лет после Батума они сошлись вновь. Не в смысле возобновленного дружества (которого никогда не было), а территориально. Мандельштамы, которым «под натиском Бухарина <...> дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки», переехали в Нащокинский переулок (д. 15, кв. 26) поздней осенью 1933 года. 18 февраля 1934 года Булгаков перевез на новую квартиру (№ 44) больную воспалением легких «с температурой 38°» Елену Сер-

геевну; желание поскорее обрести собственный кров было велико.

Оба писателя прожили рядом ровно три месяца.

Дом не имел лифта (следовательно, в 37-м у жильцов было меньше поводов вздрагивать по ночам). У Мандельштамов — две небольшие комнаты. У Булгаковых — три. Мандельштамы жили на пятом этаже, Булгаковы — ниже, очевидно, в другом подъезде.

«Замечательный дом, клянусь! — пишет Булгаков Вересаеву немедленно после вселения. — Писатели живут и сверху, и снизу, и сади, и спереди, и сбоку». Это тональность «писательских сцен» «Театрального романа» и «Мастера и Маргариты». Здесь, в подтексте, уже присутствуют составляющие того мимического ответа, которого удостоится Иванушка после своего «с интересом» заданного вопроса — не писатель ли его ночной гость: «Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком...» Разумеется, такое «потемнение лицом» сродни мандельштамовскому: «Какой я к черту писатель! Пойдите прочь, дураки!»

Этот отказ от профессии — знак высшего к ней уважения.

Вернемся, однако, к дому. Обретение жилища вызвало у занимающих нас жильцов чувства неодинаковые.

«Для М. А., — замечает Елена Сергеевна, — квартира — магическое слово. Ничему на свете не завидует — квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него».

В той «норме», о которой он мечтает в 1921 году («квартира, одежда, книги»), квартире отведеное первое место. Исполнение оттягивается надолго. Поэтому «жилплощадь» в Нащокинском представляется как земля обетованная: убежище и пристанище. Упорядоченность жизни — это та единственно разумная ее форма, с помощью которой можно оградить себя от мирового хаоса: «Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо».

«Встретил Булгакова, — записывает 20 февраля 1934 года букинист Э. Ф. Циппельзон. — На вопрос, что он сейчас ищет (из книг), отвечает: «Больше всего я ищу сейчас газ для ванны»²⁷.

Ответ совершенно булгаковский. Устройство быта не менее важно, чем духовное устройство: первое как бы является условием второго. «Стихам», «метелю» и т. д. может противостоять только Дом. Источник творчества не энтропия, а упорядочение. И если «закусывать надо в сумерки на старом, потертом диване среди старых и верных вещей» (письмо к Н. С. Попову), то «творить» тем более следует при наличии всех этих условий и желательно — при свечах. Булгаков, наверное, мог бы согласиться со словами Пастернака, обращенными к Мандельштаму: «Ну вот, те-

²⁷ Жизнеописание... С. 517.

перь и квартира есть — можно писать стихи».

«Ты слышала, что он сказал? — О. М. был в ярости...» — так, по свидетельству Надежды Яковлевны, выглядела реакция новосела.

Квартира тиха как бумага —
Пустая, без всяких затей, —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Неожиданное удоболение квартиры «тихому» бумажному листу — ответ на обозначенную Пастернаком идиллию. Это, так сказать, «приятно слоистой, трудов и вдохновенья» — в нехудшем московском варианте.

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать...

Квартира — проницаема: в этом (как и в том, что бежать действительно некуда) Мандельштам убедится очень скоро. Кроме «проклятых», к стенам приложено еще одно определение — «халтурные». Оба эпитета перевертывают «формулу дома»: крепость оказывается не твердойней по отношению к внешнему миру (каковой ей надлежит быть), а всего лишь местом предварительного заключения. Ордер на квартиру уравнивается с ордером на арест. «Московское злое жильё» ненадежно по той же причине, по какой ненадежно и жильё ленинградское, огражденное «кандалами цепочек дверных».

Хозяин квартиры № 44 демонстративно не замечает угрозы. Он живет так, как будто с ним-то уж ничего не может случиться.

Булгаковский жилище в Нащокинском — своего рода эволюционная ниша в отравляемой всяческими миазмами Москве. В ней поддерживается тот необходимый нравственный градус, который не позволяет расцвести ядовитым растениям — обычным украшениям коллективных писательских оранжерей. В ее атмосфере не размножаются вредоносные микробы. Ее духу и тону соответствуют «старинная мебель, уютные настольные лампы, раскрытый рояль с «Фаустом» на пюпитре, цветы» (В. Виленкин).

Конечно, образ жизни семьи Булгаковых — с домработницей, бонной для Сережи Шиловского, приметями театральной богемы (например, поздними ужинами: недаром Булгаков говаривал, что у них лучший трактир в Москве) — должен был представляться Мандельштамам вполне буржуазным. При условии, что они вообще интересовались такими вещами — в той мере, в какой интересуются ими некоторые нынешние любители изящной словесности, для которых включение Еленой Сергеевной в ответственное меню игры, лососины и прочих деликатесов служит беспорным доказательством несостоятельности мифа о якобы гонимом драматурге. (Окончательное подтверждение своим подозрениям эти пронизательные читатели находят в таком вопиющем факте, как

приглашение на дом парикмахерши или портнихи.)

Между тем автор «Дней Турбинных» поддерживает «норму» по соображениям сугубо принципиальным — нередко ценою крайних усилий²⁸. Автоматизмом налаженной жизни он пытается отсрочить ее гибельный смысл.

«Ты так сурово жил...» — скажет Ахматова.

В. Катаев в «Траве забвения» повествует о том, как Маяковский и чета Мандельштамов однажды случайно встретились в каком-то гастрономическом магазине. Маяковский направлялся в гости и щедрой рукой закушал фрукты, вина, закуски и сласти, которые приказчик с почтительным смятением загружал в большой лубяной короб. Мандельштам купил бутылку «каберне», четыреста граммов «сочной ветчины самого высшего сорта» — и с гордостью удалился. (Маяковский якобы восхищенно произнес ему вслед: «Россия, Лета, Лоре-лея».)

В глазах автора «Камня» преуспевающий внешне драматург Булгаков, чья (правда, единственная) пьеса почти не сходила с афиши МХАТа, мог в социальном плане представлять своего рода «Маяковский». «Нет, Булгаков сам изгой», — пыталась разуверить его та, кто лучше всех определила главную булгаковскую черту: «великолепное презрение».

Когда Мандельштам, узнав, что гостившая у него Ахматова приглашена на вечер к Булгаковым, — бегал по комнате и кричал: «Как оторвать Ахматову от МХАТа», он не просто наслаждался удачным каламбуром, но и формулировал серьезную методологическую проблему.

«Сходить в «Художественный» для интеллигента значит почти причаститься, сходить в церковь», — сказано в мандельштамовской статье 1923 года, приуроченной к 25-летию МХТ. Поэт предъявляет юбиляру суровый счет. Что есть знаменитые мховские «паузы» в чеховских постановках? Это всего лишь «праздник чистого осязания». Художественный театр «был расплатой целого поколения за словесную его немоту, за врожденное косноязычие, за недоверие к слову». Для Мандельштама главное в театре — текст.

Спрашивается: не согласился бы с этими соображениями (или хотя бы с частью из них) автор «Черного снега», с ужасом и душевным смятением взвешивающий на то, что вытворляет с его текстом неукротимый Иван Васильевич, когда заставляет актеров безмолвно демонстрировать глубину своих чувств посредством велосипедных проездов ми-

²⁸ См. например, запись в дневнике Е. С. Булгаковой от 9 декабря 1937 года. «Получили деньги (по договору с Вахтанговским театром — за инсценировку «Дон Кихота». — И. В.), вздохнули легче. А то просто не знали, как жить дальше. Расходы огромные, поступления небольшие. Долги»

мо безмолвствующих же «любимых»? И, в свою очередь, не таких ли актрис, как «родившаяся в мае» Пряхина, имеет в виду Мандельштам, когда замечает: «неестественно, развязно звучали голоса <...> с растяжкой, с истерическим смехом»?

«Система Станиславского — это шаманство», — кощунствовал порою Булгаков. Не готов ли и автор статьи о МХАТе присоединиться к этому горестному суждению?

Меньше всего, по-видимому, Мандельштама волновало то обстоятельство, что подруга его поэтической молодости обольстится булгаковским застольем. Претензии были гораздо существенней: «Вас хотят сводить с московской литературой».

Для Мандельштама, помнящего о своем с Ахматовой духовном первородстве, «московская литература» — это «осетрина второй свежести». Она вынесена за границы того культурного ареала, в котором пребывает он сам. «Респектабельный» круг Булгакова, с которым не соприкасается никто из ближайших друзей Мандельштама, кроме Ахматовой, не вызывает у «бывшего», по понятиям этого круга, поэта ни малейших симпатий. Но и Булгаков на вопрос Циппельзона, хоронил ли он Багрицкого, высокомерно ответивший: «А кто такой Багрицкий?», — в упор не желает видеть всех преимуществ «московской литературы».

Между тем театр в Камергерском — помимо прочего, еще и правительственный театр. Для нонконформиста Мандельштама это все та же «московская литература» — сервильная и пребывающая в опасной близости к власти. «Как оторвать Ахматову от МХАТа...» — шутовое, но предупреждение. «Чтобы его успокоить, — опять повторим цитату, — я неудачно сказала: «Нет, Булгаков сам изгой». Но автору «Четвертой прозы» трудно соотносить собственное видимое невооруженным глазом изгойство со скрытым от широкой публики одиночеством соседа.

«Вечером у нас Ахматова, — записывает Елена Сергеевна 10 октября 1933 года (то есть еще на старой квартире — на Большой Пироговской). — <...> Чтение романа. Ахматова весь вечер молчала», — может, добавим мы, отчасти устаревшая ламентациями Мандельштама. (Через десять лет в Ташкенте, читая машинопись романа Раневской, Ахматова будет повторять: «Фаина, ведь это гениально, он гений!»)

В следующий раз Ахматова появится у Булгаковых уже в Нащокинском — и при обстоятельствах драматических.

«Приходила я в Нащокинский так часто, как могла, — в свободное от работы время, — вспоминает Эмма Герштейн о первых днях после ареста Мандельштама. — На лестнице была слезка. Постоянно полуоткрыты двери квартир: то

домработница с кем-то беседует, то какая-нибудь парочка любезничает».

Как уже было сказано, следствие пыталось выяснить — какие конкретно лица скрываются за грозно-таинственным «мы».

Все это весьма похоже на обстановку вокруг «нехорошей квартиры» в доме № 302-бис, когда голая, но невидимая для глаз Маргарита вместе с невидимым же Азazelло направляется на «бал полнолуния» — в бывшую квартиру ювелирши. Одинаковые люди в одинаковых кепках и высоких сапогах, скупающие в подворотне и на лестнице и застигнутые неизвестно чьими шагами, выказывают сильнейшее беспокойство. Что, впрочем, и понятно: служба наружного наблюдения против нечистой силы не обучена.

«<...> В писательском доме, — продолжает Э. Герштейн, — заговорили про Мандельштамов: «У них собирались». Хуже обвинения быть не могло»²⁹.

Собирались и у Булгакова, который знал «своих» согладалаев не хуже, чем Мандельштам «своих». Поэт требовал, чтобы таким гостям немедленно подавали чаю («человек работает — нужно чаю»). Булгаков, догадываясь, что его посетителю сегодня же надо «являться», намеренно задерживал гостя до одиннадцати, повергая его в мучительное беспокойство. «Наше домашнее ГПУ», — приводит Елена Сергеевна прозвище неразлучного с иностранцами барона Штейгера, который станет вскоре бароном Майгелем «Мастера и Маргариты».

Эти волнующие и небезопасные игры были маленькой компенсацией за большое и общее унижение.

С годами дом в Нащокинском теряет свою притягательную власть, ибо в неотдаленной дали возникает обиталище высшего ранга — то, которое в «Мастере и Маргарите» будет наречено «Домом Драмлита». Недаром Пастернак говорит о литераторах Нащокинском как о живущих «скромно и трудно» — не в пример «блестящим жителям» Лаврушинского переулка.

Мечта Булгакова — переселиться в Лаврушинский — так никогда и не осуществится. Зато Мандельштамы, изгнанные из собственного жилища, проведут свои последние московские ночи в доме, чей фасад «выложен черным мрамором», — у гостеприимных Шкловских.

Но пока в Нащокинском — все на своих местах.

31 декабря 1934 года Елена Сергеевна записывает: «Кончается год. И вот, проходя по нашим комнатам, часто ловлю себя на том, что крещусь и прошу про себя: «Господи! Только бы и дальше было так!» Через много лет, редактируя свой дневник, автор снимает вышеприведенную запись. Не потому ли, что она уже знает развязку?

²⁹ Наше наследие. 1989. № 5. с. 118.

«Вообще, — замечает В. Виленкин, — что-то не совсем благополучное, как будто нависшее над этим домом, мерещилось мне всегда, как бы ни бывало мне здесь интересно и весело». Это вполне созвучно ахматовскому: «Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме».

Квартира Мандельштама — это бивак, пересылка, жилище — временное и непрочное. Она не может смягчить его принципиальной бездомности (которая найдет свое завершение в отсутствии «полагающейся по чину» могилы поэта). Но и соседский оазис, «островок безопасности», с великими стараниями созданный (где ужины 38-го года порой действительно напоминают пир во время чумы), — столь же ненадежен и эфемерен. Несмотря на разницу сосояний, обитатели этих квартир уравниваются общей несободой.

В феврале 1934 года Мандельштам говорит Ахматовой: «Я к смерти готов». 30 октября того же года Булгаков записывает в черновиках романа: «Дописать прежде, чем умереть!» Смерть осознается как реальная перспектива: отныне этот фактор постоянно присутствует в подтексте жизни и судьбы.

Булгаков переживет Мандельштама на год с небольшим.

Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душевных стенах задыхался...

Ахматова, посещавшая оба дома, именует булгаковские стены «душными». Поэтам — виднее.

Вечная ночная тема

Когда был арестован Мандельштам?

До последнего времени этот вопрос не вызывал разночтений. И Надежда Яковлевна, и Ахматова указывают (причем неоднократно) точную дату — ночь с 13 на 14 мая 1934 года.

Из недавно опубликованных документов следует, что арест произошел 17-го. Ордер подписан Я. Аграновым (а не Г. Ягодой, как полагала Ахматова) 16 мая.

Это расхождение необъяснимо. Можно, конечно, предположить ошибку памяти. Но — сразу у двоих? Кроме того, такие даты не забываются. Фальсификация документов? (Дата в ордере проставлена задним числом?) Но с какой целью? Может быть, ордер был заготовлен заранее и исполнители работали с опережением?³⁰

Весть об аресте одного из жильцов должна была всколыхнуть весь дом (в 1934 году подобные события еще не стали бытовым явлением). Между тем в дневнике Елены Сергеевны, обыч-

но чуткой к такого рода симптомам, с 13-го по 16 мая нет никаких следов происшествий.

17 мая ей было уже не до Мандельштама.

17 мая Булгаковы заполняют анкеты для поездки за границу. Новенькие красные паспорта им должны выдать на следующий день. Автор «Бега», обнадеженный тем, что сбывается мечта его жизни, «все повторял ликующе: «Значит, я не узник! Значит, увижу свет!»

О «покое» пока нет речи. Он думает, что заслужил свет.

В эти же часы «узником» — в буквальном смысле слова — становится Мандельштам.

«Это — вечная ночная тема: «Я арестант... Меня искусственно ослепили...» — продолжает свою запись Елена Сергеевна. «Вечная тема» оказалась отнюдь не исчерпанной: ни 22-го, ни 25 мая паспорта выданы не были.

28 мая к Булгаковым заходит Ахматова: «приехала хлопотать за Осипа Мандельштама — он в ссылке». Отметив это в дневнике³¹, автор умалчивает о том, о чем рассказала позднее сама Ахматова: «Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку все содержимое своей сумочки».

Знают ли в это время Булгаковы о причинах ареста Мандельштама? Скорее всего нет, так как непосредственно после записи о его ссылке глухо упоминается «какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого». По-видимому, арест соседа ставится в связь с этим ленинградским скандалом.

Соотносит ли Булгаков собственную судьбу с судьбою сосланного поэта, свое метафорическое «арестантство» с его — внезапным и натуральным? Случайно ли оба заболевают в эти дни весьма похожей болезнью?

«У М. А. очень плохое состояние — опять страх смерти, одиночества, странства», — такие записи возникают в дневнике Елены Сергеевны неоднократно.

Аналогичные симптомы переживает в Чердыни и Мандельштам. Острый приступ нервной болезни разрешится попыткой выброститься из окна.

Надежда Яковлевна шлет телеграммы Бухарину. Сталин звонит Пастернаку: судьба Мандельштама изменена³². 10

³¹ Хотя запись помечена Еленой Сергеевной 1 июня, сопоставление ее с «Воспоминаниями» Н. Я. Мандельштам и рассекреченными документами ОГПУ убеждает нас в том, что визит Ахматовой следует отнести к 28 мая, когда поэт был отправлен в Чердынь.

³² Даже в серьезной научной литературе укоренилось мнение, что Сталин позвонил Пастернаку перед отправкой Мандельштама в Чердынь (поэт, как мы помним, был отправлен 28 мая). Между тем решение ОСО о пересмотре дела датировано 10 июня. «Она (Надежда Яковлевна. — И. В.), — пишет Э. Герштейн, — смело отправляла телеграммы в Москву — в ЦК, в ГПУ, Сталину. «Поэта довели до сумасшествия... это государственное преступление: поэт отправлен в ссылку в состоянии безумия», — вопила Надя по те-

³⁰ Мандельштам был освобожден из ссылки 16 мая 1937 г. — ровно через три года после официальной даты ареста, с которой исчислялся срок.

или 11 июля Булгаков (знает ли он о звонке?) обращается к своему давнему (1930 года) собеседнику с очередным письмом. «Ответа, конечно, не было», — меланхолически записывает Елена Сергеевна.

Все эти события совершаются на протяжении примерно одного месяца (в июне — июле). Вторую половину лета и Булгаков, и Мандельштам пытаются избавиться от своих недугов: Булгаков — с помощью целительного электричества, Мандельштам — посещая психиатра в Воронеже.

В августе с неслыханной помпой проходит первый съезд советских писателей. «Михаил Афанасьевич, почему вы на съезде не бываете?» — осведомляется у коллеги драматург Афиногенов. «Я толпы боюсь», — отвечает Булгаков.

Страшщийся одиночества, «толпы» (тем более писательской «толпы»), он опасается еще больше.

Между тем квартира № 44 обустроена — в ней усиленно трудятся обойщики и столяры. Наконец появляется газ, и восьмилетний Сережа Шилковский торжественно берет первую ванну...

Жизнь идет своим чередом.

Борис Пастернак и апостол Петр

17 ноября (за две недели до убийства Кирова) приехавшая из Ленинграда Ахматова посещает Булгаковых. «Рассказывала о горькой участи Мандельштама. Говорили о Пастернаке», — лаконично записывает Елена Сергеевна.

М. Чудакова полагает, что в этой записи зашифрован рассказ Ахматовой о телефонном звонке Сталина Пастернаку³³. Это не вызывало бы сомнений, если бы не свидетельствование Н. Я. Мандельштам, что Ахматова долгое время ничего не знала об этом происшествии (Пастернак почему-то не поставил ее в известность)³⁴. Булгаков, территориально находившийся гораздо ближе к эпицентру событий и обычно неплохо осведомленный, мог, наверно, и сам кое-что рассказать своей ленинградской госте. Поэтому «зашифрованность» записи Елены Сергеевны относится скорее к сюжету в целом.

В пользу такого предположения свидетельствует сам характер записи: Ахматова «рассказывала о горькой участи Мандельштама», и при этом «говорили о Пастернаке». О звонке скорее всего

поведал Булгаков. О чем же могла рассказать Ахматова?

Участь поэта остается «горькой» и после вроде бы подсластившей ее высочайшей милости. Очевидно, имеется в виду не только сам факт пребывания поэта в Воронеже, но и постигший его недуг, о котором Булгаков, еще не оправившийся от своих летних фобий (и полгода не рисковавший один выходить на улицу), должен был слушать с напряженным интересом (тут Ахматова действительно могла знать все подробности — как из воронежских писем, так и от родственников Мандельштамов).

Размышляя о диалоге Сталина с Пастернаком, Булгаков помимо прочего не мог не отметить настойчивое вопрошение звонившего относительно степени дружеской близости обоих поэтов. «Если б мой друг поэт попал в беду, я бы лез на стену, чтобы его спасти». Человек, который вскоре безжалостно уничтожит едва ли не всех своих бывших друзей, давал Пастернаку урок корпоративной этики. Когда в феврале 1938 года Булгаков писал свое безответное (и последнее в его сталинской эпистолярной) послание вождю — о возвращении из ссылки Николая Эрдмана («Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве <...> я позволяю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу»), он, очевидно, рассчитывал опереться на оба известных тезиса — как о «дружбе», так и о «мастерстве».

И Ахматова, и Н. Я. Мандельштам считали, что достойный высочайшей беседы Пастернак «вел себя на крепкую четверку». Что помешало им вывести вышний балл?

«Но ведь он ваш друг?» — спросил Сталин. Пастернак замаялся, а Сталин после недолгой паузы продолжил вопрос: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак заметил: «Это не имеет значения».

Так говорит Ахматова. По словам Надежды Яковлевны, «Пастернак заметил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела».

«<...> Я не привожу, — говорит далее Надежда Яковлевна, — единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывает некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой».

Надо думать, именно эту «смешноватую» фразу приводит в своих «Листках из дневника» Анна Ахматова: «Почему мы все говорим о Мандельштаме и Мандельштаме, я так давно хотел с вами поговорить».

деграфу. Когда Мандельштаму заменили Чердынь Воронежем и мы обсуждали, кто добился этого, — Ахматова ли, ходатайствовавшая перед Енукидзе, или Бухарин, написавший Сталину «поэты всегда правы, история за них», или Пастернак, которому, как теперь широко известно, звонил по поводу Мандельштама Сталин, — я послушала, полусерьезно говорила: «Это вы, Надя, вас испугался сам Сталин» (Наше наследие. 1989, № 5, с. 120).

³³ Жизнеописание... С. 543.

³⁴ См.: Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1970, с. 152—153.

Это было **третье** (пускай невольное) отвлечение Пастернака от предмета разговора. И тут приходит на ум одна аналогия.

Пастернак, горячо вступившийся за собрата по перу (чем не в последнюю очередь и был вызван сталинский звонок), дает своему собеседнику понять, что он сделал это не из «элементарного» чувства дружбы и не потому, что Мандельштам «мастер», а из каких-то иных, хотя тоже «высших», соображений. (В эти тонкости Сталин, правда, входить не пожелал.) При этом, сам того не ведая, Пастернак, словно евангельский Петр, только что с оружием в руках оборонявший Учителя от врагов («и ухо одному из них отсека»), трижды отрывается от того, кого он искренне пытался спасти.

«И ты был с Иисусом Галилеянином» («Но ведь он ваш друг?»). Пастернак «замаялся». А на повторный вопрос ответил совершенно по-евангельски: «Это не имеет значения». То есть: «... Не знаю, что ты говоришь» (Мтф. XXVI, 69—70). Долгое время после этого разговора автор «Высокой болезни» не мог писать стихи. Только ли незавершенность беседы была причиной тому?

Но вернемся к другому разговору — о «горькой участи» пораженного недугом поэта.

«Мне страшно, Марго!» (К истории болезни)

Именно в дни после визита Ахматовой в рукописи романа возникает новый сюжет: Мастер появляется в палате у Ивана и рассказывает ему, «как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог»³⁵.

Так впервые начинает звучать мотив сумасшествия Мастера: сюжет, кажется, настолько же автобиографичный, насколько и заимствованный.

Мысль о том, что образ Мастера может быть «приведен в связь с личностью и судьбой Мандельштама», впервые высказана Б. Гаспаровым в 1978 году³⁶. Исследователь указывал главным образом на возможность того, что Булгаков использовал факт психического расстройства сосланного в Чердынь поэта (не соотнося, правда, это указание с хронологией работы над романом, которая, как мы убедились, подтверждает подобную догадку). Другие аргументы приведены не были. В последнее время у Мастера обнаруживаются все новые, порою весьма сомнительные прототипы. На фоне такого литературоведческого беспредела «мандельштамовская версия» заслуживает дальнейших размышлений.

³⁵ Жизнеописание... С. 544.

³⁶ См.: Гаспаров В. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Даугава, 1989, № 1, с. 83.

В наброске главы «Последний путь» (в тетради, которая велась в июле — октябре 1934 года) Воланд говорит Мастеру: «Я получил распоряжение относительно вас. Преподобное». М. Чудакова не без оснований усматривает здесь отголоски телефонного разговора со Сталиным 1930 года. К этому можно добавить, что если Булгаков, как мы уже говорили, знает некоторые подробности недавнего сталинского звонка Пастернаку, то ему может быть известно и обещание вождя — «с ним все будет хорошо». Для Мандельштама принятое решение («минус двенадцать») — «преподобное». Воронеж — это, конечно, не «покой», но все же лучше Богом забытой Чердыни.

Современники отмечают черту, характерную для 30-х годов: острые психические расстройства у людей, побывавших «там». «Лишь бы его не свели там с ума <...> наши на это большие мастера» (тоже — **мастер!**), — говорит Надежде Яковлевне Мандельштам «знакомый чекист». И — заведующая чердынской больницей: «Чего вы от меня хотите? Все они оттуда приезжают в таком состоянии».

«Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации», — сокрушается Мастер, извлеченный из своего больничного небытия и представший перед странной ночной компанией. «Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали». Не приходится спорить, что «отделали» героя до того, как он оказался в клинике Стравинского: «спецпсихушки» были еще делом отдаленного будущего.

«Бритый» — сказано о человеке, который возник у постели Иванушки. «Небритое лицо его дергалось гримасой», — таким видят Мастера участники позднего ужина «при свечах». Считается, что портретная «несытовка» связана с незавершенностью авторского труда. Но не намеренно ли оставлен этот намек? Облик Мастера, доставленного на весенний бал полнолуния, скорее тюремный, нежели госпитальный³⁷. Это по чердынской больнице Мандельштам мог бродить «небритый, заросший библейской бородой». В сверхкомфортабельной, европейского уровня клинике Стравинского, судя по всему, больных брили.

Итак, портрет.

«С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми».

³⁷ Маргарита видит во сне Мастера: он находится в безнадёжной, унылой местности, у дверей какого-то «бренчатога здания». При этом он выглядит точно так же: «Волосы всклокоченные, небрит. Глаза большие, встревоженные». «Встревоженные глаза» Мастера находят некоторое соответствие в «своёвственном» глазам Мандельштама выражении «какой-то вспаленной гневной тревоги» (Липкин С. Угль, пылающий огнем, М., 1991, с. 3).

Здесь нет ни одной детали, которая однозначно напоминала бы автора. За исключением разве возраста: Булгакову в 1929-м (год, когда начат роман) — 38 лет. Впрочем, как и Мандельштаму.

Замечено, что автор «Мастера и Маргариты» придал своему герою черты некоторого сходства с Гоголем (ср. в редакции 1934 года: «блондин с висящим клоком волос и с острым птичьим клювом»³⁸). Но острый «птичий клюв» — характерная примета и Мандельштама (см., например, тюремную фотографию 1938 года и особенно портрет работы Л. Бруни: «гоголевский» клочок спадающих на лоб волос). Попробуем взглянуть на поэта глазами поэта:

Говорили, что в обличье
У поэта что-то птичье
И египетское есть;
Было нище величье
И задержанная честь.

Глухим словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим

В стихотворении Арсения Тарковского как бы присутствуют черты еще одного героя.

«— Я мастер, — он сделался суров и вынул из халата совершенно засаленную шапочку с вышитой на ней черным шелком буквой «М». Он мог бы добавить: «Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!»

«Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он — мастер».

Помимо острого носа, клока волос и встревоженных глаз, следует обратить внимание на жест. Поворот головы в профиль — это статическая поза богов и фараонов, древний иероглиф, знак тайного, требующего разгадки письма³⁹. (Недаром говорили, что Ахматова — «всегда в профиль»: «Вполоборота, о печаль...» — начинает посвященное ей стихотворение Мандельштам.) Жест — это все, что осталось у Мастера в доме скорби. Но вот первое булгаковское впечатление от встреченного во Владикавказе Мандельштама (1920 год): «голову держал высоко, как принц». Поэт — принц и нищий одновременно. И первоначальное имя Мастера (в ранних редакциях) — поэт.

При этом Мастер замечательно образован.

«Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, — английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски.

— Ишь ты! — завистливо шепнул Иван».

³⁸ «Так, — говорит Л. Яновская, — Булгаков обыкновенно изображал Гоголя» (Яновская Л. М. Жизнь и творчество Булгакова. М., 1983, с. 295).

³⁹ Кстати, «египетское» есть и в романе Булгакова. Отметим хотя бы тысячетлетнюю недвижность Пилата в его каменном кресле с собакой (напоминающей бога Анубиса) у ног.

Немецким Мандельштам владел с детства (он переписывался с отцом по-немецки), с другими языками познакомился в годы ученья. Что же касается итальянского, автор «Разговора о Данте» всевозвездно занялся им как раз накануне ареста. «Осип, — вспоминает Ахматова, — весь горел Дантом: он только что выучил итальянский язык. Читал Божественную комедию днем и ночью».

Хотя в отличие от Мастера Мандельштам, казалось бы, неплохо знает литературный мир, он там чувствует себя тоже крайне неуютно.

Как боялся он пространства
Коридоров! Постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

«Пространства коридоров» (не только редакционных!) Мастер боится, пожалуй, не меньше, чем герой этих стихов. С литературными коридорами, как и с коридорами власти, у Булгакова связаны самые тягостные воспоминания. И реплика в «Мольере»: «Актеры до страсти любят всякую власть», — это, конечно, отражение не только мхатовского опыта. Слова из «Четвертой прозы» — «писательство — это раса <...> везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам», — эти слова могли быть произнесены и героем булгаковского романа.

Литературное «волчье» одиночество приводит к болезни.

..Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

«У М. А. плохо с нервами, — записывает Елена Сергеевна 13 октября 1934 года. — Боязнь пространства, одиночества. Думает, не обратиться ли к гипнозу».

Мандельштам в Чердыни и в Воронежке преследовали слуховые галлюцинации. Ему мерещились голоса — «сборная цитата» из всего того, что он слышал во внутренней тюрьме. Болезнь вскоре прошла, и «единственное, что мне казалось остатком болезни, — пишет Н. Я. Мандельштам, — это возникновение у О. М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом».

Надежда Яковлевна считает «гипнозом» то нормальное жизнечувствование, в котором пребывало большинство. Булгаков с помощью гипноза хотел избавиться от своих страхов. При всех частных различиях оба заболевания носили **посттравматический** характер. Одно из них возникло после пребывания во внутренней тюрьме ГПУ, другое — после фактического отказа в выезде из другой тюрьмы — «внешней». «Нет, легче посах и сума», — говорит Пушкин. Это — свобода. К безумию ведет неволя.

«Страх владел каждой клеточкой моего тела», — вновь процитируем Мастера: автобиографичность этих признаний несомненна. Хотя и характер героя, и тип его поведения, и темперамент — все это имеет мало общего с реальными чертами блестящего, неистощимого на выдумки остроумца Булгакова. Мастер — это скорее «идеальное» самоощущение автора, глубинная его ипостась. Совпадает рисунок судьбы: журнальная травля, сожжение романа, любовная коллизия, болезнь.

В остальном история Мастера — это история Мандельштама.

Зададимся вопросом: кто из круга известных Булгакову лиц после кратковременного и грозившего самым худшим ареста был «выпущен», затем угодила в сумасшедший дом, а затем вышел на волю морально потрясенный и мечтающий о возвращении «в подвал»? Кому дьявол облегчил участь?

Исход мандельштамовского дела нетипичен (степень наказания не соответствует тяжести обвинения). Но типично ли, спросим мы, освобождение Мастера — «в половине января, ночью, в том же пальто, но с оборванными пуговицами»? Если его вина подтвердилась (а в тексте романа нет никаких указаний на то, что герою удалось оправдаться), почему он оказался на свободе? Если же причина — его повредившийся рассудок, почему тогда его не передали в дом скорби официально — так сказать, из рук в руки?

Нет ничего невероятного в том, что в период интенсивной работы над романом Булгаков как бы проецирует «горькую участь» Мандельштама на свою собственную судьбу, примеряет к себе его жребий. Какими видятся ему ближайшие перспективы? Только что обретший пристанище, любящий и любимый, он понимает, что не застрахован ни от тюрьмы, ни от безумия. Не потому ли в чертах Мастера проступают «чужие» лики: он — «герой нашего времени», Или, если угодно, **метагерой**.

Причуды акмеизма

«А = А: какая прекрасная поэтическая тема», — сказал Мандельштам на заре своей творческой жизни. Он изумляется «плодотворнейшему из законов — закону тождества», благодаря которому «поэзия получает в пожизненное обладание все сущее без условий и ограничений» («Утро акмеизма»). Однако у поэзии, как выяснилось, есть счастливый соперник. Это — литературоведение, которое из лучших, разумеесть, побуждений желало бы пристрасно ощупать то, что по праву принадлежит царству снов. Отзвуки, влияния, переключки, заимствования, художественные параллели и т. д. и т. п. — каталогизация всех этих почтенных вещей стала едва ли не главной заботой литературной науки. Уличаемые на оч-

ной ставке писатели смущенно мнутяся, отговариваясь склерозом и малограмотностью. Их ловят за руку с торжествующим криком: «Ага!»

Меж тем на них нет вины.

В культуре все подобно всему. Все зависит от всего и все влияют на всех. Все перемигивается, аukaется, перестукивается, вступает в связь: ничто не одиноко. Отдаленнейшие культурные смыслы оказываются в кровном родстве. Проблема взаимовлияний логически неразрешима — подобно вопросу о существовании Божиим.

Ибо в мире, который един, $A = A$.

«Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, — сказано в «Четвертой прозе», — я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда».

Но вот что, если верить С. Ермолинскому, говаривал Булгаков: «...Если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предьявлением анализа мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке». Сказано это совсем по другому поводу и вовсе не означает, что бывшему медику по счастью случилось ознакомиться с «Четвертой прозой» (хотя такое предположение не кажется нам столь уж невероятным). Дело не в заимствованиях —вольных или невольных. Речь могла бы идти о стиле мышления. «Анализ мочи», заменяющий свидетельство о благонадежности, — эта метафора имеет жесткую социальную привязку⁴⁰.

Такую «привязку» имеют даже грамматические ошибки. Герой «Багрового острова» Метелкин восклицает: «Велите вы кадристам, Геннадий Панфильт, ведь это безобразия! Они жабами лица вытирают. <...> Выдал я им жабы на «Горе от ума», а они ими вместо тряпок грим стирают».

В своих воспоминаниях «На берегах Невы» Ирина Одоевцева описывает костюмированный бал в Доме искусств, который состоялся в январе 1921 года. Мандельштам решил явиться на бал в костюме немецкого романтика, что стоило ему немалых трудов. «Поздоровавшись с Мандельштамом, я, даже не осведомившись у него, кого именно из немецких романтиков он собой представляет, спрашиваю:

— А где ваша жаба?

О жабе я узнала от Гумилева, когда мы с ним шли на бал <...>.

⁴⁰ Ср.: «Каким отделением милиции выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу <...> Мне это отделение известно! Там кому угодно выдают паспорта! Тема иррациональной всеисильности документа получает «рациональное» завершение в слене, когда Николай Иванович, побывавший на балу у сатаны «в качестве перевозочного средства», требует справку о том, где он провел ночь, и удовлетворяется штампом на оной «уплочено».

— У Мандельштама завелась жаба!»

Источником сенсационного слуха был «товарищ служающий», который довел до сведения обитателей Дома, что «Осип Эмильевич на кухне жабу гладят». Известие становится поводом для бесчисленных шуток, Мандельштаму присваивается чин — Гладящий жабу и т. д.

Булгакову было вовсе не обязательно знать эту историю. У языковой неправильности, обыгранной и в жизни, и в пьесе, имелся общий подтекст. Это «быдлолизация» общественного сознания, тектонический сдвиг культурных пластов. «Жабо» стало таким же кандидатом в придуманный Маяковским «словарь умерших слов», как «богоискательство» и «Булгаков» (чье писательское имя действительно не было на слуху: недаром он мгновенно разгадывает дикую ошибку телеграфа, поименовавшего его «бухгалтером» — в той, роковой телеграмме о катастрофе с «Батумом»).

И. Одоевцева вспоминает, что Мандельштам был «в коротком коричневом сюртуке, оранжевом атласном жилете, густо напудренный», грудь — «батисто-кружевная». Это наряд первых романтиков — Гельдерлина, Новалиса, Клейста, юного Вертера. Это — «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьей гаме, / И Гете, свищущий на вьющейся тропе...» Но, конечно, преимущественно Шуберт — «Он Шуберта наворачивал, / Как чистый бриллиант». Германия — предмет постоянных лирических притяжений Мандельштама, входящая в близкий ему мировой круг. Дух немецкого романтизма — в русской литературной крови:

Нам пели Шуберта — родная колыбель!

Этот дух дорог Булгакову, развораживающему на глазах у читателя собственную гофманиаду. Его князь тьмы (по собственному признанию, «пожалуй, немец») с высоким скепсисом и старомодным благородством — это не классический средневековый гетевский Мефистофель, это вполне романтический персонаж, благодаря таковому своему качеству только и способный совершить то, что он совершил. И, разумеется, главный герой: «...О трижды романтический мастер!»

«...О трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером?»

На последних страницах романа Мастер становится тем, кем на балу в Доме искусств хотел бы быть Мандельштам.

Во время ночного полета, когда все ее спутники обретают свой истинный вид, Маргарита смотрит на Мастера со стороны: «Волосы его белели теперь при луне и сзади собирались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног Мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то за-

горающиеся звездочки шпор. <...> Мастер летел, не сводя глаз с луны». Собранные в косу белые в лунном свете волосы Мастера напоминают о густо напудренном «немецком романтике» петербургского бала. Можно ли сомневаться, что ботфорты и «звездочки шпор» предполагают наличие жабо?

Всем своим обликом булгаковский герой свидетельствует о глубоком внутреннем родстве с тем лирическим миром, к которому мощно тяготеет Мандельштам. Однако немецкий романтизм — лишь один из опознавательных знаков культуры, по отношению к которой поэт — визионер и воскреситель эпох. Мандельштамовский космос — это остановленное и равное вечности мгновение.

Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена —
Не Елена — другая, — как долго она
вышивала?

Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Там — в прошлом, которое сделалось будущим, вечный приятель Мастера.

«Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встретит». Кто же они, эти собеседники Мастера, помещенные, как и он, в неподвижное время, близкие ему по духу, любимые им и любящие его?

Он Цицерона на перине
Читает, отходя ко сну...

(«Аббат»)

«Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак». Случайны ли такие превращения черной шапочки с буквой «М»? Или это плата за «покой»? Во всяком случае, у того, «будущего» Мастера не остается ни следа былой («Я — мастер») гордыни. Со своими гостями он вряд ли будет предаваться хроническим порокам мастеров:

Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По...

У Мандельштама — тоже своя компания.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чаёт...

«Туда, туда», — торопит Мастера Маргарита. Но «буддийская» мандельштамовская Москва — не лучшее место для таких встреч. «Мессир, мне больше нравится Рим!» — как заметил, правда, по другому поводу, Азазелло.

В феврале 1935 года в Воронеже, отвечая на публичный «с пристрастием» вопрос, что такое акмеизм, Мандельштам сформулирует: «Это тоска по мировой культуре». Но коли так, Булгакова можно назвать акмеистом.

Не будем толковать о сугубой приверженности двух достаточно удаленных друг от друга художников к пластичности, «вещности», осязаемости изображаемого ими предмета. Это признак существенный, но не главный. И если «поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков»⁴¹, то и прозу Булгакова можно характеризовать подобным же образом. Тот, кто физически ощутил кристально-ясный, прозрачный и одновременно плотно-упругий стиль романа Мастера, поймет, что мы имеем в виду.

Вообще стилистика «самого» Булгакова ориентирована на русскую классическую традицию: для автора «Белой гвардии» не прошли бесследно ни Пушкин, ни Гоголь, ни Достоевский, ни Чехов. «Декаданс» — с его, может быть, несколько избыточной театральностью, подчеркнутым эстетизмом и гипнотическим отношением к смерти — ощущением главным образом в романе Мастера. Стоит сравнить две первые фразы — романа о Понтии Пилате и авторского повествования, — чтобы убедиться, в какой мере сочетание, «спибо» разных повествовательных структур увеличивает художественные объемы текста.

Если же согласиться с тем новейшим толкованием, что акмеизм был по сути «вызовом духу времени как духу утопии»⁴², тогда творчество Булгакова с еще большим основанием можно рассматривать как имеющее некоторое касательство к акмеистической традиции. Замечательно, что даже безудержная булгаковская фантастика насквозь антиутопична. (Что есть, например, «Собачье сердце», как не вызов упомянутому духу?) При неистощимости воображения автор почти аскетичен в выборе средств: ничто так не противостоит этому мужественному стилю, как малейший намек на барокко. Высокая духовная дисциплина булгаковских текстов твердо противостоят победительному имморализму эпохи. Как и Мандельштам, Булгаков не только демонстрирует верность глубинным основам «преодоленной» культуры — его искусство тоже отважно «наплывает» на русскую прозу, стараясь кое-что изменить «в ее строении и составе». И, наконец, для создателя «Мастера и Маргариты», как и для автора «Камня», злейшим врагом является «нескромность» мистического чувства» (С. Аверинцев): указанная нескромность, как мы уже говорили, абсолютно невозможна в «евангельских» главах, где само «Божье имя» дано в измененной транскрипции.

«Это безумно точно, а потому безумно скучно...», — заметил однажды Мандельштам.

В литературе давно отмечены так называемые фактические неточности Мандельштама. Так, в одном из стихотвор-

ных вариантов вместо позднейшего эпитета «негодующая» стояло «отравительница Федра», коей указанная героиня никогда не была. В стихотворении «Домби и сын» упоминаются обстоятельства, имеющие отношение к другим дикиенсовским романам. Допустимо, однако, рассматривать эти ставящие под подозрение эрудицию автора «ошибки» как «способ соединять данные традицией сюжеты в единый метасюжет»⁴³. Но не подобной ли «техникой наложения» пользуется автор «Мастера и Маргариты», когда он «смешает» черты канонического Иисуса и его учеников — таким образом, что представленные фигуры сильно разнятся от своих евангельских прототипов⁴⁴. Романный метасюжет строится как на синоптиках, так и на апокрифической литературе, а также на легендах, устных преданиях и, разумеется, на собственном воображении автора. «Сдвинутость» римско-иудейских реалий аналогична «сдвинутости» реалий московских. И в том, и в другом случае возникает такое художественное пространство, которое само обладает качеством бесценного первоисточника.

При этом «настоящий» источник не всегда поддается опознанию.

На пергаментном свитке Левия Матвея Пилат с трудом разбирает корявые строки: «Мы увидим чистую реку воды жизни...» «Эта фраза, — говорится в комментариях к роману в пятитомном собрании сочинений Булгакова, — соотносится со словами тропаря из 6-й песни канона на повечерие Духова дня: «Ты бо река Божества из Отца и Сына исходящая». Толкование не очень внятное, ибо, кроме существительного «река», в этих двух текстах нет ничего общего. Но, с другой стороны, и в Евангелии от Матфея нет ни малейшего намёка на записанные учеником Иешуа слова. Так откуда? Не следовало бы и здесь озаботиться поиском «метасюжета»? То есть обратиться не к позднейшим молитвенным песнопениям, а к источнику, который, без сомнения, находился в поле зрения автора, чей отец, нелишне это напомнить, был как-никак специалистом по данному предмету.

⁴³ Там же, с. 64. Этот способ может быть определен и как бриколаж (термин К. Леви-Стросса), то есть создание прихотливых конфигураций из различных культурных осколков.

⁴⁴ Заметим, что «техника наложения» срывает порой независимо от воли художника, проецируя его давние тексты на текущую историческую реальность:

Так в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи.
Соприродные душе.
Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон,
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

(«Фазтонщик», 1931.)

⁴¹ Аверинцев С. С. Указ. соч., с. 21.

⁴² Там же, с. 24.

Это — Откровение Иоанна Богослова: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Откр. XXII, 1). Совпадение, как видим, дословное. Еще одна фраза, записанная Левином Матвеем — «человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл», — имеет, конечно, тот же источник (Откр. XXII, 1, 5). Ср.: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откр. XXI, 1). «Прозрачный кристалл» — «новое небо» Апокалипсиса. И, наконец, воспроизведенная верным стенографом строка «Смерти нет...» находит почти полное соответствие у того же Иоанна: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. XXI, 4). Разве лишь «сладкие весенние баккуроты» не имеют аналогов в Иоанновом описании Небесного Града.

У нас еще будет возможность убедиться в том, что апокалиптические «цитаты» выбраны Булгаковым не случайно. Пока же отметим, что сам Левий Матвей — это тоже своего рода «метагерой»: в нем соединены черты разных апостолов-евангелистов. Это «типичная» методология Мандельштама, чьи поэтические речи, по словам Б. Гаспарова, «балансируют между пророческими обличениями и трамвайной склокой»⁴⁵.

Стоит ли задерживаться на мелочах? Таких, например, как совпадение вербального жеста в стихах и в прозе.

Воланд обращается к посетившему его буфетчику Варьете: «Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны предпочитаете вы в это время дня?» Однако скромнейший Андрей Фокич, ответив: «Покорнейше... я не того», — лишает себя как высокого чувственного наслаждения, так и удовольствия от возможной беседы («Превосходная лоза, прокуратор, но это — не «Фалерно»? — «Цекуба», тридцатилетнее, — любезно отозвался прокуратор»).

Я пью, но еще не придумал — из двух
выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка
вино.

Мандельштам смеялся, говоря, что укорявшие его за этот шуливый стих литературные ханжи даже не заметили, «какое я невероятное вино выбрал...»⁴⁶. Подобный напиток вполне мог бы ответить «в это время дня» непьющий, к сожалению, буфетчик Варьете... Инфернальное гурманство Воланда стоит мечтательной усмешки «северного сноба» Мандельштама.

Отсюда, конечно, не следует, что Булгаков знал эти стихи.

Автор «Мольера», как полагают, был равнодушен к стихам, хотя нельзя принимать слишком всерьез его собственные уверения на этот счет («С детства я терпеть не мог стихов (не о Пушкине говорю, Пушкин — не стихи), и если сочинял, то исключительно сатирические, вызывая отвращение тетки и горе мамы, которая мечтала об одном, чтобы ее сыновья стали инженерами путей сообщения»). Знал ли он поэзию своего современника и соседа? С. Ермолинский говорит, что на Кавказе Булгакову «было поразительно впервые услышать» некоторые стихи поэта. Мемуарист (надо понимать, со слов Булгакова) доводит до нашего сведения, что Мандельштам в ту пору жил «бедно, гордо и поэтически беспечно. Именно это запомнилось и вызвало уважение». Итак, если верить С. Ермолинскому, «уважение» вызывают не тексты, а тип поведения. Что же касается «звучок чистых», то «многозначительная манера, с которой читал свои стихи поэт, не пришлась по вкусу Булгакову. Он всегда посмеивался над такой манерой — слушал сконфуженный».

Все это, повторяем, С. Ермолинский лично не наблюдал. И «skonфуженность» Булгакова при чтении стихов относится скорее к «манере», нежели к конкретному лицу.

(Впрочем, слушая Мандельштама, было от чего смутиться. Ибо он не произносил стихи — «он пел, как шаман, одержимый видениями»⁴⁷.)

Но независимо от того, насколько глубоко знал Булгаков современную поэзию (а есть основание полагать, что он-таки ее знал), он предъявлял к ней весьма высокие требования.

— А вам что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.

— А как же вы говорите?

— Ну что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал? Впрочем... разве что чудо?»

Но чуда не происходит. Ибо Ваня Бездомный при всех своих личных заслугах принадлежит к тому сонму стихотворцев, о которых автор «Камня» писал еще в 1923 году в статье «Армия поэтов»: «<...> это не что иное, как неудачное цветение пола, стремление вызвать к себе общественный интерес, это жалкое, но справедливое проявление глубокой потребности связать себя с обществом, войти в его живую игру». Конечно, полноправный член МАССОЛИТа выбился из этого безвестного круга и, судя по всему, даже преуспел, но цена этого успеха очевидна. И не согласился ли бы будущий профессор истории Иван Николаевич Поньгев с мнением автора на-

⁴⁵ Вестник Русского христианского движения. № 160 (III—1990). Париж, Нью-Йорк, Москва, 1990, с. 193.

⁴⁶ Мандельштам Н. Я. Книга третья. Париж, УМСА — PRESS, 1987, с. 154.

⁴⁷ Тагер Е. М. Штудии о Мандельштаме. Лит. учеба, 1991, № 1, с. 155.

званной статьи, что стихотворцев такого склада, каким некогда был он сам, — «людей бесполезных и упорных в своем подвиге» прежде всего характеризует «отвращение ко всякой профессии, почти всегда отсутствие серьезного профессионального образования («ведь, я не ошибаюсь, вы человек невежественный?» — спрашивает Мастер. — «Бесспорно», — соглашается Иван. — И. В.), отсутствие вкуса ко всякому определенному ремеслу». Можно сказать, что отношение к Ивану (как к поэту) Мастера практически совпадает с отношением к «армии поэтов» автора одноименной статьи.

Однажды Мандельштам грозно спросил некоего сочинителя «интеллигентной дребедени» (стихотворческий полюс, противоположный Иванушкиному, но по сути с ним совпадающий): «А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?» Высокая миссия художника не сопрягается с понятием «литературный успех», хотя и для Булгакова, и для Мандельштама именно это соотношение приобретает все более драматический характер.

Их тайное родство становится тем заметнее, чем дальше мы удаляемся от поглотившего их времени. Сами они вряд ли сознавали эту неочевидную близость. И если наши догадки о творческом присутствии Мандельштама (и — шире — поэтов его круга) в мире Булгакова еще могут найти какие-то косвенные подтверждения⁴⁸, то вряд ли есть основания говорить о встречном интересе. Не лучше ли поэтому задуматься о сквозных, бродячих идеях русской культуры?

И — о ее «сквозных» самоощущениях. Последняя глава «Мастера и Маргариты» называется «Прощение и вечный приют»: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его».

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю эту бедную землю
Оттого, что иной не видал.

«Закатное» мироощущение автора «Мастера и Маргариты» как бы предвосхищено строками еще не искушенного жизнью юного Мандельштама, для которого «мировая туманная боль» есть единственное и безошибочное свидетельство грядущей судьбы.

● ба они помнят о «последних сроках».

Суд — идет

Обращенность отечественной поэзии к библейскому Востоку («Скажи мне, ветка Палестины...», «Вот — у ног Ерусалима»)

лима, Богом сожжена...» и т. д.) — следствие не меньшей, чем в прочих европейских культурах, духовной необходимости. В «закатном» романе Булгакова, как и в стихах автора «Камня», неразрывно переплелись три вечные мировые темы: мессианская — иудео-христианская, государственная — римская и апокалиптическая — русская. В ершалаимских главах воспроизведены не только реалии, но как бы сама «насыщенная космосом» атмосфера мандельштамовских стихов:

Ночь иудейская стучалась над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

...Ерусалима ночь и чад небытия.

В этом стихотворении господствует цветовая гамма, которая, как давно замечено, является в колористике Мандельштама глубоко содержательной: «Се черно-желтый цвет, се радость Иудей». Это сочетание цветов возникает всякий раз, когда предметом изображения становится «безблагодатное государство» (С. Аверинцев): «У ворот Ерусалима / Солнце черное взошло. / Солнце желтое страшнее...» То же двуцветье возвещает о скорой гибели «мира державного» — «над желтизной правительственных зданий» зловеще реет «черно-желтый лоскут» российского императорского флага⁴⁹.

«Погибающий Петербург, конец петербургского периода русской истории, — говорит Н. Я. Мандельштам, — вызывает в памяти гибель Иерусалима». Соединение желтого и черного дает оттенок эсхатологический.

«...Он сделался суров и вынул из кармана совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М» (подчеркнуто нами. — И. В.)». Тот, кто написал роман, «продолжение» которого подразумевает разрушение храма и рассеяние народа, облекается в соответствующий головной убор. И если Б. Гаспаров полагает, что буква «М» на шапочке Мастера «выступает в качестве двойной анаграммы: с одной стороны «Михаил» (Булгаков), с другой, возможно, также «Мандельштам»⁵⁰, то к этому уместно добавить: такой «двойной анаграммой» является и сочетание цветов.

«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы <...>. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы!» Первое появление Маргариты вносит в роман все более крепнущий мотив эсхатологического беспокойства.

Он говорил: небес тревожна желтизна!

В 1965 году Н. Я. Мандельштам написал Иосифу Бродскому, что это стихотворение («Среди священников левитом мододым...») «должно пониматься как

⁴⁹ См. Струве Г. Н. О. Э. Мандельштам. Опыт биографии и критического комментария. В кн.: Мандельштам О. Э. Собр. соч. в 4 т. Т. I. Нью-Йорк, 1967, с. IX.

⁵⁰ Даугава, 1989, № 1, с. 83.

⁴⁸ Об этом см. также: Curtis J. A. E. Bulgakov's last decadent. Cambridge, 1987.

тревога». Не та ли это «фундаментальная тревога», которая, если перевести эту формулу с языка современной филологии на школьную латынь, означает *memento mori* (помни о смерти)?

Разгром, произведенный неведомой силой в Доме Драмлита, — предвестие катаклизмов более серьезного рода. «Жители нового дома с мраморными, из лабратора, подъездами, — замечает Н. Я. Мандельштам, — понимали значение тридцать седьмого года лучше, чем мы <...>. Происходило нечто похожее на Страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу».

«Время было апокалиптическое», — скажет пережившая его Анна Ахматова.

Не потому ли мандельштамовская Москва обладает чертами Ершалаима и Рима одновременно («лихорадочный Форум Москвы»)? И, как и они, она обречена на гибель:

И как новый встает Геркуланум,
Спящий город в сияньи луны...

Это тот самый лунный свет, который вскоре затмится от пламени московских пожаров: их будут наблюдать (в одной из ранних редакций «Мастера и Маргариты») навсегда покидающие город любовники. Правда, отметивший эту сцену Бэррет⁵¹ не связывает гибель Москвы с концом света, что естественно для человека, живущего в Оксфорде. Но, с другой стороны, тот же автор признает, что в сцене великого бала у сатаны прослеживается не демонологическая, а эсхатологическая традиция. Бал — своего рода репетиция Страшного суда. Добавим, что Волянд, исполняющий несвойственную ему роль восстановителя мировой справедливости, обманывает не только наши религиозные, но, так сказать, и чисто литературоведческие ожидания. Вернее — давнее томление советской литературы о пришествии положительного героя. Единственным действительно положительным персонажем оказывается дьявол.

Но почему Волянд действует именно таким образом? Как известно, в реальном мире дьявол способен творить только зло. Божьей воле он следует исключительно в одном месте — в своей вотчине, в аду. Так, черти, пусть и нехотя, вынуждены споспешествовать передвижениям Данте по всем девяти кругам. Их соупствие герою кончается за пределами ада. То же и у Булгакова: как только любовники достигают «материка», «дома», их спутники исчезают. Не следует ли отсюда, что то пространство, из которого Волянд, подобно ангелу, выводящему из Содома Лота с женой и дочерью, извлекает Мастера и Маргариту, что эта земная юдоль обречена огню?

Но спасаются не только праведники. Отменяется первоначальный приговор по «делу Фриды», и она, искупившая свой грех многолетним страданием, освобож-

дается от заgrabной кары; вершится суд над живым Майгелем и мертвым Берлиозом⁵². Изменяется и посмертная участь Пилата. Все это, строго говоря, должно находиться в компетенции «другого ведомства». Но и хозяйка бала, достойно выполнявшая все протокольные обязанности, вдруг является в совершенно несвойственной для ведьмы роли — а именно деды Марии, заступницы за грешников перед высшим судьей, в час, когда по зову трубы мертвые восстают из праха. На эти «богородичные» черты Маргариты указывает и сцена с маленьким мальчиком в объятии паникой Доме Драмлита («слеза ребенка!»). Так в народных легендах является та или иная святая, а то и сама Пречистая Дева, дабы утешить плачущее дитя. Кроме того, само появление королевы (которую один из гостей на сатанинском сходбище, видимо, не случайно именует «светлая») можно рассматривать как аналог сошествия Богородицы в ад.

Царство мертвых потрясено вступлением в его пределы живой человеческой души. Как потрясена, в свою очередь, и вступившая, которая, несмотря на все происходящее, не в силах сдерживать природного любопытства. Впрочем, «душа ведь женщина, ей нравятся безделки». В этом гениальном 1920 года стихотворении («Когда Психея-жизнь спускается к теням...») есть поразительные, волнующие своей загадочностью строки:

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Почему «с недоумением»? И, главное, — с «робким упованьем»? На что могут надеяться обреченные вечному одиночеству тени? Получить весточку от близких? Или их «упованье» сродни тому, которое пережила Фрида? Правда, в «Мастере и Маргарите» царство мертвых посещает живое существо, а у Мандельштама отлетевшая Психея-жизнь уравнена со своими «новыми товарками». Но и там и здесь вечной гибели противостоит вечное и милосердное женское начало. И это соприкосновение мрака и света, безнадежности и надежды придает смысл самой жизни и смерти.

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождают воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их

призвание.

Маргарита сопровождает воскресших — до их вечного приюта и делит с ними их посмертное бытие. («И расставаться с ними непосильно».) Она приветствует умерших, даже когда они отравили и детоубийцы. И если женская всепрощающая любовь — залог искупления, то для Мандельштама и Булгакова «смерти нет» еще и по этой причине.

Но смерть — была.

⁵¹ Barratt A. Between two worlds. Oxford, 1987. p. 169.

⁵² Ibid. p. 240.

Квартирный вопрос в 1937 году

13 апреля 1935 года Елена Сергеевна Булгакова записывает в дневнике: «М. А. ходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштамов».

Меж тем хозяин квартиры № 26 пребывает в Воронеже. В квартире живет его теща. Надежда Яковлевна (может быть, предварительно сговорившись с Ахматовой) также ненадолго приезжает в столицу.

«Жена Мандельштама, — продолжает свою запись Елена Сергеевна, — вспоминала, как видела М. А. в Батуме лет четырнадцать назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал картошку на базаре».

Старые знакомые, они, естественно, предаются воспоминаниям: 1921 год, Батум. О той давней встрече вдова Мандельштама еще раз вспомнит в 1962 году — в письме к Елене Сергеевне: «Вы себе представляете, в каком виде мы были все трое». Автор «Камня» приглядывается к подошедшему к нему с литературными расспросами «юноше»: «В нем что-то есть — он, наверное, что-нибудь сделает».

В 1935 году вспомнить об этом приятно.

Можно ли, однако, быть уверенным в том, что разговор ограничился ностальгической темой? «Горькая участь Мандельштама» по-прежнему занимает его соседа. Благодаря присутствию Надежды Яковлевны он может получить информацию из первых рук.

Обсуждаются ли в этой соседской беседе местные новости?

Исчезновение жильца квартиры № 26 не могло не вызвать некоторого волнения среди его профессионально чутких коллег. «Под нажимом писателей, — говорит Надежда Яковлевна, — наш командант Мате Залка даже ездил в МГБ просить разрешения выбросить с площади сыльного старуху — мою мать — и использовать квартиру для настоящего советского писателя».

Это все тот же «квартирный вопрос», который, по тонкому наблюдению Воланда, испортил жителей столицы. Освобождение площади, неважно по какой причине случившееся, всегда влечет за собой всплеск потаенных страхов. Недаром в первые часы после гибели Берлиоза председатель жилтоварищества (такого же по типу, как и в Нацкоинском переулке) Никанор Иванович Босой принял тридцать два заявления, в которых «заклучались мольбы, угрозы, клеветы, доносы, обещания произвести ремонт за свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами». Наличествовали также обещания покончить жизнь самоубийством и признания в тайной беременности.

Хотя одна из двух комнат Мандельштамов была пока оставлена за Надеж-

дой Яковлевной и ее матерью, их уплотнили: во второй комнате появился жилец, «вселенный к нам Союзом писателей под поручительство Ставского. Он называл себя писателем, а иногда сообщал, что он по чинам равен генералу. Фамилия его Костырев»⁵³.

Итак, в кооперативный писательский дом на чужую жилплощадь один из руководителей писательского союза вселяет некоего «писателя-генерала», который, как пишет Н. Я. Мандельштам, «пытался спланировать из органов в литературу».

Запомним пока эту связь: Костарев — Ставский.

Булгакову приходилось иметь дело с одним из них.

9 октября 1936 года Елена Сергеевна записывает: «Поехали с М. А. на Поварскую в Союз писателей платить членские взносы. Неожиданно М. А. решил зайти к Ставскому — секретарю ССП. Разговор о положении М. А. Ставский тут же записывал на блокноте: «Турбины»... «Мольер»... «Пушкин»... Ничего из этого не выйдет. Ставский — чиновник, неискренний до мозга костей. Да и не возьмет он ничего на себя!»

Владимир Петрович Ставский (Кирпичников), конечно, не Горький, хотя и унаследовал его высокий писательский пост. Сам он, как и Костарев, по преимуществу очеркист. Участник гражданской войны и старый партизанин, он, кроме того, «око государево» в литературе. Импульсивный заход Булгакова к Ставскому — это едва ли не единственный случай, когда автор «Дней Турбиных», знающий цену писательскому союзу, предпринимает попытку изменить свое положение с помощью литературного начальства.

Но через несколько дней, 14 октября, Ставский — о, чудо! — лично посещает Булгаковых. Нет, этим внезапным визитом они обязаны отнюдь не проснувшемуся вдруг интересу к гонимому собрату. Дело значительно проще: в филиале Большого театра, в ложе, Булгаков и Ставский обменялись своими шляпами. Ставский спешит восстановить справедливость.

Елена Сергеевна записывает:

«Охотно снял пальто, вошел. Разговор. Этот разговор печален и ужасен. По подтексту своему, конечно».

М. А. сказал, что в отечестве ему не дают возможности работать, все пьесы его запрещаются.

Ставский сказал, что где-то кто-то будет обсуждать произведения М. А.

⁵³ Надежда Яковлевна добавляет, что после 1936 года, когда она вернулась в Москву и ее спросили, каким образом она потеряла квартиру, секретарь Союза писателей В. Ильин (генерал госбезопасности и сам бывший зек) искал имя Костырева в писательских списках, но так и не нашел. Именные указатели дают справку: «Костарев Николай Константинович (1891—1942), очеркист». В цитатах мы будем придерживаться написания Надежды Яковлевны, в остальных случаях ошибка исправлена.

Вся его речь состоит из уверток, отпесок и хитростей».

Промысловательная, как всегда, Елена Сергеевна дает точную характеристику случайному гостю. Она видит в нем изворотливого и лживого функционера, даже к устной речи которого приложимо канцелярское слово «отписка».

Между тем, когда это было необходимо, Ставский действовал быстро и ловко.

Во «Второй книге» Надежда Яковлевна еще раз подчеркивает, что Костарева вместе с женой и дочерью вселил в их квартиру лично руководитель Союза писателей, дав, правда, гарантию, «что он (Костарев. — И. В.) уедет, когда понадобится вторая комната, то есть по возвращении Мандельштама». Если Надежда Яковлевна и не знала мнение о Ставском своей соседки по дому (особенно о его «отписочном» стиле), у нее вскоре появится возможность прийти к аналогичному заключению.

Пока Мандельштамы пребывали в Воронеже, Костарев успел сменить свою временную прописку на постоянную. Ему даже не пришлось ради этого прожить на чужой жилплощади положенный срок. «Для Костырева, — сказал управдом, — нам велели сделать исключение». Без Ставского, очевидно, не обошлось и на этот раз.

«Наша квартира была кооперативной, — продолжает Надежда Яковлевна, — мы заплатили за нее крупные деньги. По закону мы стали собственниками, и без нашего разрешения у нас никого прописывать не разрешалось». Тем более что «по закону» ссылка была подвергнута не она, а муж. И все же Костарев не только вселился в квартиру, но и перед возвращением Мандельштамов успел выписать из нее хозяйку. Смелость, с которой он решился на эту операцию, объясняется, по-видимому, и тем, что участь того, по чьему ходатайству Мандельштамы получили свое жилье, весной 1937 года уже практически решена. (Бухарин был арестован в феврале.)

Трудно сказать, разместился ли уже Костарев в квартире № 26, когда в апреле 1935-го туда заходит Булгаков. Но так или иначе, тучи над обитателями поэта сгустились.

Миновало два года. 19 апреля 1937-го Елена Сергеевна записывает: «В мое отсутствие к М. А. заходила жена поэта Мандельштама. Он выслан, она в очень тяжелом положении, без работы».

До истечения воронежской ссылки остается месяц.

Зачем заходила к Булгакову Н. Я. Мандельштам? Хотела ли просто попросить о помощи или у нее были какие-то иные заботы? Какой состоялся между ними разговор? Во всяком случае, есть основания полагать, что Булгаков в курсе соседских дел — он, для которого слово «квартира» всегда имело магический смысл.

«Костыревская прописка, — говорит Надежда Яковлевна, — указывала, что

ему помогают захватить квартиру, и это было плохим предзнаменованием». Опасения подтвердились. Отбыв ссылку, Мандельштам лишился московской прописки, а заодно права жить в семидесяти с лишним городах Союза. Не имевшая судимости Надежда Яковлевна тоже теряла прописку — в качестве законной жены.

Таким образом, вернувшись из Воронежа в мае 1937 года, Мандельштамы нашли свою квартиру прочно оккупированной чужими людьми. Им пришлось ютиться в проходной комнате, которую занимала мать Надежды Яковлевны. Их пребывание в Москве сделалось нелегальным.

Автор «Камня», разумеется, не был членом Союза писателей. Тем не менее он направился к Ставскому: куда ему было еще пойти? Ставский его не принял.

После того, как приступ стенокардии укладывает Мандельштама в постель, Литфонд проявляет гуманность: «бывшего поэта» навещают врачи. Мандельштам пишет Ставскому: «...хочу жить и работать <...> Если не теперь — то когда?»

Но «жить» хочет и Костарев. Он приводит в квартиру монтера, который оказывается, как сказал бы Булгаков, сотрудником «одного учреждения». Следуют вызовы в милицию. В июне 1937 года Мандельштамы вынуждены покинуть Москву, где, с каждым днем набирая силу, неистовствует террор.

Теперь вновь обратимся к «закатному роману».

Какова причина ареста Мастера? На этот вопрос отвечает Маргарита: «Он написал книгу об Иешуа Ганоцри» (запись 6 января 1934 года)⁵⁴. Но почти одновременно с этой версией излагаются и мотивы: жилплощадь. Причем доносчик, погубивший «поэта», именуется здесь Понковским.

« — Понковский? — спросил хозяин <Воланд>.

— Понковский, так точно, — ответил, трясаясь, человек.

— Это вы, молодой человек, — заговорил хозяин, — написали, что он <...> сочиняет роман?

— Я-с, — ответил человек с чемоданом, мертвея.

— А теперь в квартире его проживаете? — прищурясь, спросил хозяин.

— Да-с, — плаксиво ответил человек⁵⁵. (Редакция 1934 г.)

Проходит пять лет. Роман практически завершен. Но именно к этому сюжету возвращается писатель в лютые январские морозы 1940 года, когда, смертельно больной, ослепший, он диктует жене свою последнюю правку.

Так возникает Алоизий Могарыч.

Следует поставить вопрос: не сказа-

⁵⁴ Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии писателя. Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 37. М., 1976, с. 109.

⁵⁵ Слово, 1991, № 7, с. 74.

лась ли история с Костаревым (захват квартиры Мандельштамов и их последующее из нее изгнание) на творческой истории «Мастера и Маргариты»?

Приведем аргументы.

Кому надлежит отправиться во Владивосток?

Понковский (будущий Алоизий Могарыч) возникает в рукописных редакциях романа, как мы уже говорили, в 1934 году — скорее всего после ареста Мандельштама.

Теперь — дополнение 1940 года. «Отрекомендовался он мне журналистом», — говорит об Алоизии Мастер. «Генерал-писатель» Костарев, ничего особенного не написавший, был известен главным образом своими очерками о Дальнем Востоке, откуда, собственно, и прибыл в столицу. «Я узнал, — добавляет Мастер, — что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее». Так обростает подробностями главный мотив, подвигший Алоизия на его поступок.

«Покорил меня Алоизий своей страстью к литературе», — признается Иванушке Мастер. Этой бескорыстной страсти не чужд и Костарев. Надежда Яковлевна повествует, как он перестукивал на машинке стихи Мандельштама.

Характеристика, данная Мастером своему новому знакомцу (его феноменальная способность толковать газетные заметки, объяснять «жизненные явления и вопросы», предугадывать редакторские претензии и т. д. и т. п.), очевидно, не имеет прямого касательства к Костареву и относится к какому-то другому лицу⁵⁶. Булгаков воспроизводит лишь общую модель — ситуационную схему мандельштамовской квартирной истории.

«Это вы, прочитав статью Лагунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? — спросил Азazelло».

Азazelло именует донос «жалобой»: следует оценить его деликатность. Неясно также, что подразумевается под «нелегальной литературой»: то ли сам роман, то ли что-то другое.

Конечно, здесь можно было бы усмотреть отдаленную аналогию с обстоятельствами первого ареста Мандельштама: поэт тоже хранит у себя нелегальную литературу собственного сочинения. (Хотя, если быть точным, «хранит» ее исключительно в голове, ибо криминальные стихи о Сталине им не записаны и при обыске не найдены.) С другой стороны, ситуация приближена к той, которая

сложилась в квартире Мандельштамов после вселения Костарева.

В рукописях «Мастера и Маргариты», относящихся к 1934 году, есть любопытные детали, которые отсутствуют в окончательном тексте. Во-первых, слог претендента на чужую жилплощадь. «Так точно», — отвечает Понковский, выдавая, может быть, свое «генеральство». И, во-вторых, то географическое пространство, где оказывается доносчик, будучи выброшен из столицы.

«— Квартира ваша таперича свободна, — ласково заговорил Коровьев, — гражданин Понковский уехали во Владивосток»⁵⁷.

«Уехали во Владивосток...» Но почему, скажем, не в ту же Ялту, где однажды уже побывал, когда понадобилась его жилплощадь, «симпатичнейший» Степа Лиходеев? Владивосток, конечно, гораздо дальше: край, так сказать, света. Но если вспомнить, что Костарев прибыл в Москву именно из этих краев, тогда выбор места для его «возвращения» может показаться отнюдь не случайным.

Увы, во Владивостоке окажется отнюдь не Понковский. Там, на Второй речке (где имя как бы напоминает о той — пушкинской — первой), окончит свои дни поэт Осип Мандельштам.

Когда в мае 1938 года Мандельштам был вторично арестован, Надежда Яковлевна предприняла последнюю отчаянную попытку зацепиться за собственную жилплощадь. «Я, — пишет она во «Второй книге», — получила временную прописку (на один или два месца) в проходной комнате у моей матери, а он (Костарев. — И. В.), шествуя в свою, произносил: «В Биробиджан этих стерв». В конце концов он выбросил меня на улицу, не дав дожить срока, через особую комнату в милиции, где сидит представитель органов».

«— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнулсил Азazelло».

«Однажды меня вызвали в отделение ГПУ при милиции в Москве, где после смерти О. М. я добилась временной прописки в своей квартире, и потребовали объяснений, — вспоминает Надежда Яковлевна. — На этот раз донос оказался довольно квалифицированным: в моей комнате происходят собрания, на которых ведутся контрреволюционные разговоры. Единственным человеком, посещавшим меня, был Пастернак. Он прибежал ко мне, узнав о смерти О. М. Кроме него, никто не решался зайти, что я и объяснила уполномоченному. Дело кончилось ничем, то есть мне просто предложили выехать из Москвы до окончания срока временной прописки».

Это был почерк Костарева, который в результате своих усилий «получил комнату О. М. размером в 16 метров». Заметим, что «контрреволюционные разговоры» почти эквивалентны «нелегаль-

⁵⁶ В качестве одного из прототипов Алоизия Могарыча назван С. А. Ермолинский. (См.: Соколов В. В. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Очерки творческой истории. М., 1991, с. 164—165). Однако столь жестокое подозрение требует дополнительных доказательств.

⁵⁷ Слово, 1991, № 7, с. 74.

вой литературе». Впрочем, Костарев проявлял интерес и к последней.

«Супруги Костыревы рылись во всех углах в поисках бумаг Мандельштама. Они нашли за ванной список стихов Мандельштама. «В меня вошла такая сила», как выражалась Ахматова, что я отняла список, и генерал не посмел пикнуть».

«Нашли за ванной...» — пишет Надежда Яковлевна. Когда Мандельштама в мае 1934-го уводили из дома, ванна еще не работала и не был подключен газ. Не вдохновлялся ли Костарев в своем стремлении закрепиться на чужой жилплощади еще и тем соображением, что в квартиру им уже вложены средства?

«— Я ванну пристроил, — стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесицу, — одна побелка... купорос...»

— Ну, вот и хорошо, что ванну пристроил, — одобрительно сказал Азazelо, — ему надо брать ванны, — и крикнул: — Вон!»

Надежда Яковлевна — не Маргарита. Бряд ли — при всем желании — была бы она способна вцепиться «в лицо Алоизия ногтями». Но и в ее душе пламенеет жажда мести — надежда, что некто, произнеся громовое: «Вон!», — сумеет выбросить обидчика к чертовой матери.

«Как почти всем женщинам в моем положении, — пишет автор «Второй книги», — мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники — они явились в дом, навели порядок, и, может даже, увели Костырева из украденной им квартиры». Правда, она тут же добавляет, что не хотела бы «иметь своих фашистов». Но кто же, спросили бы мы, откажется от услуг таких славных помощников, как Бегемот, Коровьев и Азazelо?

Еще раз зададимся вопросом: знал ли о том, что происходит у Мандельштамов, автор «Мастера и Маргариты»?

Последние годы Булгакова — бесконечные чередования отчаяния и надежды. Покинув МХАТ и поклявшись больше никогда не ступать на его порог, он осуществит свою художественную месть в «Записках покойника», где язвительнейшая ирония неотличима порой от страстного объяснения в любви. Он спешит завершить «Мастера и Маргариту». Он губит остатки здоровья, исправляя чужие либретто для Большого театра и сочиняя собственные. Он пишет «Батум».

Елена Сергеевна скупо отмечает в дневнике известия об арестах, процессах и приговорах. Имя Мандельштама там более не встречается. Но мало ли о чем не пишет осмотровательная Елена Сергеевна!

Если в первые месяцы террора Булгаков еще склонен полагать, что это — сведение счетов между «своими», теперь он не может не чувствовать, что снаря-

ды ложатся вслепую. Трудно допустить, чтобы судьба Мандельштама вдруг исчезла из поля его внимания. Кроме того, он наверняка интересуется всем, что совершается в доме. Из людей более или менее близких к нему сведениями о Мандельштаме располагают Ахматова и Катаев. Нельзя исключить и возможности личных встреч — в период с мая 1937-го по март 1938-го.

Его могла еще застать весть о гибели соседа: посылка с пометой «за смертью адресата» вернулась к Надежде Яковлевне летом 1939 года.

Напомним: автор «закатного романа» возвращается к теме доноса зимой 1940 года. Мандельштам уже мертв, его жена выброшена из квартиры. Не отдавал ли смертельно больной Булгаков последний — соседский — долг уничтоженному поэту?

Разумеется, «рассказ о вселении Алоизия Могарыча в новую квартиру» мог основываться на многих подобных фактах. Донос из-за жилплощади — явление довольно распространенное, можно даже сказать, «типичное» для эпохи. В этом смысле история с Алоизием тоже метасюжет. Булгаков, однако, любит отталкиваться от конкретных фактов и обстоятельств. И если допустить, что одно из слагаемых Мастера — Осип Мандельштам, нет ничего невозможного в том, что в истории с Алоизием сказались отголоски его квартирных невзгод.

Но гений постигает и то, о чем он не мог ни ведать, ни знать.

Алоизий — виновник ареста Мастера. Казалось бы, роль Костарева скромнее: он «всего лишь» изгоняет поэта из его же жилища. Но если бы Булгаков дожид до наших дней, когда, наконец, открылись архивы, он мог бы произнести те же слова, что и Мастер, его герой: «О, как я угадал! О, как я все угадал!»

Свет уединенных окон

«Сов. секретно
Союз советских писателей СССР
16 марта 1938 г.
Наркомвнудел тов. Ежову Н. И.

Уважаемый Николай Иванович!

В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме.

Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию О. Мандельштам был три-четыре года тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).

Так начинается недавно извлеченное из «хронологической пыли» письмо генерального секретаря Союза советских писателей Ставского народному комиссару внутренних дел Ежову. Именно оно послужило причиной возникновения второго «дела Мандельштама».

В письме Ставского Ежову вопрос сразу ставится на политическую основу. Волнение «части писательской среды», как выражается Ставский, — достаточный повод для того, чтобы обеспокоить начальство.

«Но на деле — он (Мандельштам, — И. В.) часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов, — продолжает свое послание главный руководитель советских писателей. — Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступили Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступили остро.

С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме».

Здесь что ни слово — чистая правда. Мандельштам действительно без разрешения приезжает в Москву — из стопятикилометровой «зоны» (он делает это «легулярно», как напишет впоследствии худший, нежели Ставский, стилист, следователь НКВД). Он ночует в чужих квартирах, не ставя в известность об этом доверчивое государство. И т. д. и т. п.

Ставский, по сути, повторяет одно из тех обвинений, при помощи которых боролся с жильцами «своей» квартиры Костарев, — нарушение паспортного режима. Но это для Ставского мелочь. Гораздо существеннее в письме то, на чем сделаны профессионально безукоризненные акценты. Мандельштам — объект частного милосердия, его жалеют, из него делают «страдальца», «гениального поэта». В благоустроенном государстве не должно быть ни одиноких гениев, ни самозванных нищих. Жалость — такая же привилегия государственной власти, как, скажем, монополия внешней торговли. Помощь писателям должен оказывать Литфонд, что он и делал «с целью разрядить обстановку». (Не ведающая об этой формулировке Надежда Яковлевна вспоминает, как они с Мандельштамом были приятно удивлены посещениями литфондовских врачей.) Последнее, однако, «не решает всего вопроса».

Как же его предполагается разрешить?

Ставский пишет Ежову: «Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

Общественное мнение — это святое. Но если в 1934 году Бухарин прибегает к подобному аргументу («Пастернак тоже волнуется», — напишет он Сталину), чтобы облегчить участь Мандельштама, то теперь, в 1938 году, Ставский при

помощи аналогичной ссылки («в защиту его открыто выступили Валентин Катаев, И. Прут... выступили остро») пытается решить дело в смысле прямо противоположном.

Нет, Ставский не требует немедленно арестовать автора «похабных стихов»: это вовсе не входит в его компетенцию. (Вспомним слова Елены Сергеевны: «Да и не возьмет он на себя ничего!»). Он говорит с властью на языке цветов, на служебной фене, на жаргоне опытных эвфемистов. Он ждет от Николая Ивановича Ежова, как сказал бы Мандельштам, «услуги или вести». Но лучше — услуги.

Чем органы НКВД в силах помочь Союзу советских писателей? Автор письма догадывается, что их возможности велики.

Этот целомудренный стиль аппаратных интимов замечательно передан в шварцевской «Тени»⁵⁸.

«Тайный советник. Было бы грубо, было бы негуманно рубить голову бедному безумцу. Против казни я протестую, но маленькую хирургическую операцию над головой бедняги необходимо произвести немедленно. Медицинская операция не омрачит праздника.

Первый министр. Прекрасно сказано.

Тайный советник. Наш уважаемый доктор, как известно, терапевт, а не хирург. Поэтому в данном случае, чтобы ампутировать большой орган, я советую воспользоваться услугами господина королевского палача».

Генеральный секретарь Союза советских писателей — «терапевт, а не хирург». Но он не хуже героев Е. Шварца знает, к кому обратиться в случае необходимости.

Ставский не мог при этом не помнить о давнем звонке Сталина Пастернаку. Ему близки заботы вождя, его тревожно-отеческое: «...он мастер?» Поэтому он спешит уведомить Ежова, что последние стихи Мандельштама «особой ценности <...> не представляют — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними <...>». Тут же приложен отзыв одного из «товарищей» — писателя Павленко (именно об этой «внутренней рецензии» уже упоминалось выше).

Будущий автор романа «Счастье» и такого энического кинополотна, как «Падение Берлина», честно признает: он всегда подозревал, что Мандельштам — «не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений». И новые его стихи лишь утвердили рецензента в этом убеждении: «Они в большинстве своем холодны, в них нет даже того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, —

⁵⁸ Ср. название пьесы с мандельштамовским: «Несчастен тот, кого, как тень его...», а также — в письмах «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень» (Ю. Н. Тынянову) и «Я тень. Меня нет» (К. И. Чуковскому).

нет темперамента, нет веры в свою страну».

Сталин по вопросу о «мастерстве» консультировался с Пастернаком. Для Ежова годился и Павленко⁵⁹.

Строго говоря, рецензия Павленко отнюдь не является доносом. Автор почти не переступает границ эстетического анализа. Он снисходительно хвалит «хорошие строки» в «Стихах к Сталину» и даже готов признать, что это «советские стихи». Все остальное он бы лично к печати не рекомендовал. Он делает вид, что только об этом его и спрашивают.

Действительно ли автор рецензии не знал, для какой цели понадобилась его литературная экспертиза? В это трудно поверить, если вспомнить упорные слухи, будто Павленко вхож на Лубянку и ему даже позволено присутствовать при допросах. Надежда Яковлевна утверждает, что в мае 1934 года, увидев в кабине лубянского лифта бьющегося в припадке поэта (его, вероятно, везли на допрос), Павленко негодуяще повторял: «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно...» (Сцена почти набоксовская — из «Приглашения на казнь»: «Но, но, пожалуйста без глупостей, — сказал м-сье Пьер, — Не смей падать в обморок. Это недостойно мужчины».)

Во всяком случае, Ставский подстраховался. Он подкрепил свое письмо официальным свидетельством о том, что поэт Мандельштам не находка для советской литературы. Поэтому вывод из обращения к Ежову краток и недвусмыслен: «Еще раз прошу вас помочь решить этот вопрос о Мандельштаме». И подпись-пароль: «С коммунистическим приветом В. Ставский».

Остальное было делом техники.

Неисправимые романтики, мы полагаем, что Сталин, словно охотник за дичью, зорко следил за опальным поэтом, как будто у него не было других забот. Все оказалось гораздо проще. Те, от кого поэт ожидал помощи и защиты, дружественными руками отдали его на закланье⁶⁰.

⁵⁹ Небезынтересно, что Дом-музей Пастернака в Переделькине располагается на ул. Павленко.

⁶⁰ Не исключено, впрочем, что Сталин мог с подачи Ставского и Ежова дать личную санкцию на арест. Вообще пикантность ситуации заключается в том, что руководителем государства — при всей его злопамятности и мстительности — было **неудобно** открыто преследовать поэта. «Кремлевский горец» был задет Мандельштамом **лично**: отсюда, думается, проясненная в 1934 году беспрецедентная «мягкость». То есть Сталин как бы демонстрировал свою **лично** незаинтересованность в каре и давал понять, что соглашается с ней только в силу высших государственных соображений. Что весьма характерно для сталинской политической тактики. Так, в деле Рютина Сталин, против которого были направлены его оппонентом жесточайшие личные обвинения, оказался среди тех немногих членов политбюро, кто выступил против смертной казни. (Рютин был расстрелян, но — значительно позже). Естественно, что любую репрессивную акцию против Мандельштама герой его стихов

«В своем одичании и падении, — говорит Н. Я. Мандельштам, — писатели превосходят всех».

Письмо Ставского Ежову помечено 16 марта 1938 года. Ему предшествовало важное для Мандельштама событие. Ставский, наконец, «принял О. М. и предложил поехать в «здравницу», чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с работой».

Мандельштамы прибыли в Саматиху, очевидно, 9 марта. («Глушь такая, — заметит в письме поэт, — что хочется определить широту и долготу») Через неделю Ставский подпишет роковое письмо.

Не зря все-таки было сказано об «иудинных окнах» в Доме Герцена. Правда, Ставский сидел уже на Поварской (где Союз помещается и поныне): эвхитет, однако, оставался в силе.

«— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно».

И еще одно пророчество сбылось. «Все шло как по маслу, — говорит Надежда Яковлевна о первом дне их приезда в санаторий. — Мы вышли на станции Черусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замерзнуть». О чем, собственно, и было сказано в давних стихах: «На розвальнях, уложенных соломой...» И в других, тоже давних: «Как кони медленно ступают, / Как мало в фонарях огня! / Чужие люди, верно, знают, / Куда везут они меня».

«Чужие люди» знали это уже в тот день, когда Мандельштама принимал «начальник Союза» и поэт вышел от него окрыленный.

Но только ли о возможной работе для Мандельштама шла речь в кабинете генерального секретаря ССП? Неужели поэт не поднял самую болезную для него тему — о прописке, о возвращении на свою законную жилплощадь? Ведь еще прошлым (1937) летом, строя планы обмена квартиры, Мандельштамы пришли к выводу: «Спешить не надо — пусть Ставский раньше исполнит обещание и переселит Костырева». Неужели на этой, с таким трудом полученной аудиенции Мандельштам не затронул «квартирный вопрос»?

«Переселять» Костарева Ставскому не было ни малейшего резона.

Вспомним; не обладающий никакими особыми заслугами писатель-дальневосточник получил жилплощадь и прописку «под поручительство Ставского». Почему подобная милость излилась на скромного очеркиста? Это мы попытаемся выяснить чуть ниже.

Костарев крайне заинтересован в устраниении докучного соседа. И Ставский

предпочел бы провести чужими руками. В этом смысле «инициатива» Ставского была как нельзя кстати.

не может не порадовать родному человеку. Но не просить же официально железного сталинского наркома, чтобы он оградил товарища Костарева от притязаний какого-то Мандельштама? Уместнее сослаться на более солидный предлог: волнение в «части писательской среды». Тем более что подобное волнение действительно имело место.

Костарев — Ставский — Ежов: дернув за эту веревочку, погубишь поэта.

19 мая 1939 года, еще не зная о смерти мужа, Надежда Яковлевна направляет Л. Н. Берии ходатайство о пересмотре дела. Она просит нового руководителя государственной безопасности «проверить, не было ли чьей-либо личной заинтересованности в этой ссылке». Она ничего не знает о письме Ставского. Ей достаточно Костарева.

Алоизий пишет донос: Мастера забирают. Через несколько месяцев его выпустят из тюрьмы. Но в его подвальчике уже будет жить Алоизий.

Костарев мог не волноваться: Мандельштама не выпустят никогда.

Ангелы смерти

Из протокола допроса Мандельштама от 17 мая 1938 года (ровно четыре года назад его впервые арестовали и ровно год назад кончился срок его воронежской ссылки):

«Вопрос. Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?»

Ответ. Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю».

Так мог бы ответить и оболганный Мастер.

Приведем один из характернейших анекдотов той поры:

— За что десять лет схлопотал?

— А ни за что.

— Не ври, ни за что пять дают.

«Второго» дела Мандельштама фактически нет. Есть письмо Ставского, формулировка которого повторены в обвинительном заключении. Мандельштам получил пять лет лагерей — исключительно для того, чтобы исчезнуть с глаз писательского начальства и не досаждать своему Алоизию.

«О, как я угадал! О, как я все угадал!»

Не подозревавший о тех документах, какие ныне известны нам, Булгаков слишком хорошо изучил своих современников, писателей в том числе. Он знал, что помимо тех хитроумных способов увеличения жилой площади, о которых Коровьев поведал изумленной Маргарите, существует еще один — простейший. Он догадывался, что людей испортил не только квартирный вопрос.

В документах следствия сказано: «В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия». Это ли не предлог для его изоляции — причем, разумеется, не в «клинике Стравинского»?

Ибо комиссией врачей установлено: «Душевной болезнью не страдает, а является личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым идеям и фантазированию. Как душевнобольной — **вменяем**».

Так тюремная медицина подтвердила, что Мандельштам — поэт: «навязчивые мысли и фантазирование» есть принадлежность творца. Мастеру на сей раз было отказано в безумии.

Но никому не отказано в бессмертии.

В марте 1938 года, еще рассчитывая на получение работы, Мандельштам писал Ставскому: «Жду Вашего содействия — ответа». Ответ явился через пару месяцев — в виде двух вежливых сотрудников НКВД.

Ставский умрет в 1943 году — достойной военной смертью. Вряд ли вспомнит он в свой последний час о погубленном им поэте. И вряд ли явится ему, словно некогда пытому прокуратору Иудеи, «нелепая» мысль «о каком-то долженствующем непременно быть — и с кем? — бессмертии, причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску». Но, как замечает в мучительном сне Пилата бездомный философ Иешуа Га-Ноцри: «Раз один — то, значит, тут же и другой! Помянут меня, — сейчас же помянут и тебя!»

«Глупый и по-своему жестокий человек Ставский»⁶¹, — скажет нелюбо знавшая его Валерия Герасимова, первая жена Александра Фадеева.

Так замыкается круг «странных сближений». Ибо Фадеев — тот, кто будет напутствовать Булгакова и Мандельштама на пороге смерти.

Осенью 1937 года, стараясь облегчить участь гонимого поэта, Катаев и Шкловский решают свести его с входящим в силу автором «Разгрома». Встреча происходит на квартире Катаева в Лаврушинском переулке (все в том же «Доме Драмлита»). «О. М. читал стихи, Фадеева проныло — он отличался чувствительностью...» — пишет Надежда Яковлевна.

Фадеев одним из последних видит Мандельштамов накануне их отъезда по дарованной Литфондом путевке в дом отдыха в Саматиху. Оттуда начнется путь на Вторую речку.

«Фадеев, — вспоминает Надежда Яковлевна, — вышел из машины и на прощание расцеловал О. М. По возвращении О. М. обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да, да, обязательно», — отвечал Фадеев, и мы расстались. Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева».

Тот, кто через несколько лет сменит Ставского на его посту, если и не знает о письме Ежову, то догадывается о многом. И не только в силу своего высоко-

⁶¹ Герасимова В. А. Беглые записи. Вопросы литературы, 1989, № 6, с. 127.

го положения, но и потому, что близко знаком с одним из участников драмы.

26 сентября 1921 года Фадеев писал своему школьному другу: «Здесь в Москве кое-кто из дальневосточников прибавился. Например, появился поэт Никола с супругой...»

«Поэт Никола» — это не кто иной, как будущий жилец квартиры № 26 Николай Константинович Костарев. Он — товарищ Фадеева по незабываемым партизанским походам. Они — на «ты». И если партизанское братство чего-нибудь стоит, преуспевший Фадеев прямо таки обязан поддерживать неудачника Никола, которому за всю его творческую жизнь удалось выпустить в «Дешевой библиотеке» и «Библиотеке «Огонька» несколько тощих брошюрок⁶². Тем более, что и у того бывали светлые дни...

«Месяца через два, — продолжает свое письмо к другу будущий автор «Разгрома», — в первом Государственном театре РСФСР идет премьерой (открытие зимнего сезона) пьеса Костарева «Idée Fixe». Вот, брат, если можешь, — приезжай, то-то будет любопытно»⁶³.

Итак, прежде чем сделаться очеркистом, Костарев пробовал свои силы в иных жанрах. Он, оказывается, не чужд поэзии и драматургии. Недаром перестукивал он на машинке стихи Мандельштама! Надо думать, интересовал его и сосед-драматург. Не были ли они часом знакомы?

Фадеев — приятель Костарева. Возможно, он хотел помочь земляку с жильем, хлопотал за него перед Ставским. Это, конечно, не значит, что Фадеев как-то причастен к посланию Ставского Ежову. Но, повторяем, будущий генсек Союза писателей мог догадываться о многом. Он, говорит Н. Я. Мандельштам, «был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу». Когда через год придет весть о гибели Мандельштама, Фадеев, празднующий все в том же доме в Лаврушинском первые писательские награды, выпьет за его упокой: «Загубили большого поэта». Тепло отзовется он и о покойном Булгакове.

Впервые Фадеев посещает больного и малознакомого автора «Батума» 15 февраля 1940 года — скорее по служебной необходимости, нежели по личному чувству. Писательский союз должен был выказать заботу об одном из своих сочленов. «Разговор вел на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления, — записывает Елена Сергеевна. — Сказал, что наведет все

справки и через несколько дней позво-нит».

Булгакову, так никогда и не побывавшему за границей, обещано наконец Средиземное море. Ему остается жить менее месяца.

5 марта, за пять дней до смерти, Фадеев является вновь. По словам Елены Сергеевны, умирающий «подобрался, сколько мог». Это его последнее усилие — при последнем соприкосновении с властью.

Позже Еленой Сергеевной будут уточнены подробности:

«Булгаков, глядя невидящими глазами, сказал:

— Александр Александрович, я умираю. Если задумаете издавать — она все знает, все у нее...

Фадеев, своим высоким голосом, выговорил:

— Михаил Афанасьевич, Вы жили мужественно и умрете мужественно! Слезы залили ему лицо, он выскочил в коридор и, забыв шапку, выбежал за дверь, загрохотал по ступеням...»⁶⁴

Фадеев, как сказано, отличался чувствительностью. Слово бледнолицый вестник смерти — Абадонна, возникает он на исходе жизни Мандельштама и Булгакова, как бы знаменуя собой неотвратимость судьбы. И если «женщины, сырой земле родные», призваны «сопровождать умерших», он, родственник совсем иным стихиям, вослед живым, но уже обреченным роняет искреннюю, с оттенком государственной горечи, напутственную слезу...

Его собственная, отчаянная и взывающая об искуплении смерть тоже будет связана с именем человека, который стал героем Булгакова и Мандельштама и чье имя они вынуждены были произносить в минуту гибели.

«Славь великодушного игемона! — торжественно шепнул он (палач. — И. В.) и тихонько колынул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул:

— Игемон...»

Было угадано все: даже то, как «игемон» захочет убедиться в том, что смерть — была.

«Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно осмотрел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам: — Мертв».

С. Ермолинский вспоминает:

«...Зазвонил телефон. Подошел я. Говорили из Секретариата Сталина. (Звонок, ожидаемый десять лет! — И. В.) Голос спросил:

— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Тот, кто говорил со мной, положил трубку».

Смерть Мандельштама никаких удостоверений не требовала: в ней можно было не сомневаться.

⁶² Костарев Н. К. Граница на замке. М.-Л., 1930; Китайские дневники. М.-Л., 1935; Сахалинские записи. М., 1936; Три рассказа. М., 1937 и т. п. Интересно, что одну из этих книг иллюстрировал Н. Тырса, автор известного портрета Анны Ахматовой.

⁶³ Фадеев А. А. Собр. соч., т. 5. М., 1961, с. 285—286.

⁶⁴ Жизнеописание... С. 649.

Тамара ИВАНОВА

Глава из жизни*

ВОСПОМИНАНИЯ. ПИСЬМА И. БАБЕЛЯ

121. Из Киева — в Москву¹

Милая Тамара. Старик умер 7-го. 8 я похоронил его. На моих руках безумная старуха и остатки громадного некогда состояния. По нынешним временам остатки эти представляют большую ценность. Бросить этого я не могу, п. ч. все это будет без меня разворовано в 2 дня. Я написал детям старика, находящимся за границей, и потребовал у них инструкций. Надеюсь, что кто-нибудь из них придет. Во всяком случае, на ближайшее время база моя — Киев. В Москву я буду наезжать для устройства дел, для сдачи рукописей, если таковые у меня будут. Надо думать, что сторожем при наследстве мне придется быть месяц, а может быть, два. Это было бы терпимо, если бы мне удалось поработать. Буду стараться.

Вчера отправил тебе 100 рубл. Напиши о денежных делах. Пиши до востребования. Из «Континенталя» я сегодня выезжаю, гостиница обходится мне очень дорого. Мне нужно спешно выяснить — есть ли какая-нибудь надежда на Всеволода или никакой, тогда я сам напишу. Это важное и срочное дело.

Получила ли ты справку из Домоуправления о квартирной плате за февраль? Что слышно у Зинаиды?

Всем спрашивающим обо мне отвечай, что у меня всяческие катастрофы. Подает ли признаки жизни фининспектор, подала ли ты декларацию?

Какое было у тебя романтическое приключение?

О чем ты беседовала с Воронской? Эйзенштейну, Воронскому, Полонскому² и проч. моим кредиторам напишу.

Спрашивала ли ты, когда выйдет третье издание рассказов?

Надеюсь, что все немногочисленные твои дела ты исполнишь с толком.

Очень рад за мальчика, дай ему бог и Карл Маркс. Поклон чадам и домочадцам.

Твой И.

Киев, 11/III- 27.

122. Из Киева — в Москву

Милая Тамара. Два дня не был на почте и не знаю, как-то вы поживаете в Москве. Подробное письмо до завтра, а сегодня вот о чем: если на Всеволода нет никакой надежды, а это крушение всех планов, то пришли мне немедленно все мои заметки для сценария. Выхода здесь два — приезд Е. Б. или отъезд мой и истории. Спроси у Всеволода позволения свалить вину за опоздание на него. Он очень меня подвел. Я должен деньги Госкино, и выходит, что я уваливаю от

* Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 5, 6, с. г.

¹ Ср. это письмо с письмом от 12 марта 1927 г. к А. Г. Слоним: «Милая Анна Григорьевна. Спасибо за услугу. Это было очень важно. Старик умер 7-го. Похоронил я его в невыразимо грустный, туманный, грязный день. На моих руках больная, совсем больная старуха и остатки большого некогда состояния. Остатки эти по нынешним временам представляют кое-какую ценность. Я объясни их охранять до приезда Евгении Борисовны или до ее распоряжения. Выхода здесь два — приезд Е. Б. или отъезд мой и старухи за границу, откуда сын перевезет ее в Америку. Все это сложно. На ближайшее время база моя поэтому Киев. В Москву буду наезжать по делам на два-три дня. В следующем письме я смогу, может быть, определить срок ближайшего моего приезда. Объяснять Вам нечего — живу грустно, а надеяться «на лучшее будущее» считаю ниже своего достоинства. Настоящее должно быть хорошим, а будущее — это утешение для дурачков и несчастнейших».

² Полонский (наст. фамилия Гусин) Вячеслав Павлович (1886—1932), критик, журналист, историк. Редактор журнала «Печать и революция» (1921—1929), «Нового мира» (1926—1931).

³ Бляхин Павел Андреевич (1886—1961), писатель, киносценарист. С 1926 года возглавлял производственно-художественный отдел «Совкино».

уплаты. Бляхину скажи, что я сам напишу и очень скоро пришло. 15-го начнется суд над Капчинским и др. — будет очень худо, если на суде пойдет речь о неоправданном моем авансе. Бляхину можно позвонить по телефону (3-52-76), если ты найдешь нужным, зайдя в Госкино.

До свиданья, дружок.

И.

Киев, 12/III—27.

123. Из Киева — в Москву

Милая Тамара. Из «Континенталя» мне прислали письма твои от 8 и 9/III. Пожалуйста, пиши мне до востребования. Я переехал на частную квартиру, в освободившуюся комнату сотрудника Вуфку, уехавшего в командировку на Одесскую фабрику. С нетерпением жду материалов для сценария. Возьми также у Всеволода все, что у него есть, все заметки. Прислать мне это нужно спешно.

Сколько должно стоить пальто? Денег у меня сейчас нет. На похороны и проч. я истратил 500 рубл. Эти деньги будут мне возвращены, когда, не знаю. Постараюсь в ближайшие дни достать денег.

Почему это у Зинаиды ничего не выходит с Союзом? Что за напасть? Бесконечная канитель... Хоть бы ты ей помогла... Ты как будто поделовитей... А то выгонят ее со службы — где мы ей достанем другую?..

Давно ли уехала Лид<ия> Ник<олаевна> и куда?

Предпринимаешь ли ты какие-нибудь конкретные шаги для своего «устройства» или решила ждать моего сценария? Я постараюсь его лично привезти в Москву: когда это будет, не знаю... Сообщи о денежных делах.

Живу я плохо.

Поклон всем обитателям нашей жилплощади.

И. Б.

Киев, 14/III—27.

124. Из Киева — в Москву

Постараюсь ответить на ливень твоих укоров, вопросов, заклинаний. Внимание твое по-прежнему пристально обращено на меня. Обстоятельство это тяжко меня угнетает.

Фактически обстоятельства для работы у меня сейчас благоприятные — сытость, отдельная тихая комната. Но где взять мысли, отлетевшие от меня в Детском Селе? Кто мне их вернет? Дух мой грустен. Его надо лечить. Не тебя ли взять в доктора? Нет. Рецепт мне известен. Это — одиночество, свобода, бедность. Я медленно иду к этой цели. Ты возмущаешься этой медленностью. Тебе ли возмущаться, тебе — требующей от меня слов, которые я не люблю произносить, писем, которые я не люблю писать, поступков, которые мне противно совершать? Я тебе друг, Тамара, может быть, единственный друг. Дружба моя может выразиться в простейшей помощи и в невмешательстве. Невмешательство в мою жизнь — вот идеал, о котором я мечтаю для себя. Больше этого жалкого идеала я никому ничего не могу дать.

О твоей работе. Ты знаешь все мои возможности. Скажи ясно и точно, что я должен сделать. К сожалению, у меня нет сноровки догадываться. Это всегдашняя моя беда. Уехать отсюда я сейчас не могу. Я затеял несколько публичных вечеров — здесь и в Одессе, м. б., в Харькове. Буду читать пьесу. Кое-как я ее отдал. Вышло хуже, чем раньше, очень вымучено. Условия и распорядок этих вечеров я сообщу тебе. Отказываться от них нельзя — очень нужны деньги. Плохо, что я не получил от тебя моих заметок для сценария. Я приготовился его написать, ждать Всеволода мне некогда. В случае, если он еще не написал или не приступил к работе, пришли мне заметки спешной почтой. Это чрезвычайно важно. Мне нужно сбросить эту обузу с своих плеч. Больше недели т<ому> н<азад> я послал тебе почтовым переводом сто рублей. Как это ты их не получила? Постараюсь послать тебе еще денег в ближайшие дни.

Если Всеволод сценария не написал, то я по моим заметкам изготовлю его скоро и по окончании вечеров моих на Украине привезу пьесу и сценарий в Москву. Зачем ты сообщаешь мне вздор об Анне Павловне⁴, которая «всполошилась» и прочее?

Очень жалею, что не удалось мне повидать Виктора Андреевича⁵. Я его люблю. Кланяйся ему, пожалуйста.

После двух-трех человеческих писем от тебя совершенно закономерно посыпались истерические вопли. Принимая во внимание опыт прошлого, ничего другого и ждать было нельзя. Но от этого не легче. С Евгенией Борисовной отношением у меня никаких. Я жду от нее распоряжений относительно того, как посту-

⁴ А. П. Иванова-Беснина, жена Вс. Иванова.

⁵ В. А. Шекин.

пить со старухой, с имуществом и проч. Только это — ожидание письма — и удерживает меня в Киеве, да вот попутно хочу заработать.

Я тебе друг, Тамара, но ты перестань быть моим врагом, Тамара.

И. Б.

К. 17/III—27.

125. Из Киева — в Москву

Не успел я отправить тебе ругательное письмо, как мне принесли из «Континентала» очередную «анкету». Преимущество скандала, устраиваемого тобою мне по почте, заключается в том, что я нахожусь вне сферы физического твоего досягновения.

И на том спасибо.

1) Знает ли мать о существовании Миши? Знает.

2) Как она к нему относится? Не знаю. Я категорически запретил ей вмешиваться в мою личную жизнь и выражать по поводу этой личной моей жизни одобрение или порицание, запретил под угрозой, что не буду вскрывать ее писем и никогда не напишу ей. Угроза подействовала.

3) Чем я объяснил необходимость жизни у Слонимов? Тем, что в соседней комнате кричит ребенок, сон у меня плохой, не выспавшись, я не могу работать — и прочее, и прочее, и прочее, — песня тебе известная.

4) Что я говорил о тебе Слонимам? Говорил, что ты превосходная женщина и что между нами существуют отношения мужа и жены.

5) Где находится сейчас Евгения Борисовна? В Париже.

6) Какие у меня с ней отношения? Отношения дружбы и связанность материальная.

7) Что известно Е. Б. о тебе и о ребенке? Ей известно, что между мною и ею отношения мужа и жены прекращены. Фамилии твоей я ей не сообщал, о рождении ребенка тоже не сообщал. Думаю, что обстоятельства эти превосходно ей известны.

Ответив на все вопросы, я считаю нужным заявить, что корреспонденция твоя лишает меня остатков спокойствия, столь необходимого мне. Бесперывное несдержанное нервическое вторжение в мои побуждения, планы, чувства, желания очень для меня тягостно, почти непереносимо.

И. Б.

Киев, 17/III—27.

126. Из Киева — в Москву

Сегодня послал тебе из скудных моих достатков 50 р. по телеграфу. На будущей неделе пришлю тебе более солидное подкрепление. Устроить работу в Вуфку можно было бы, хотя здесь не с кем и не над чем работать. Но, чтобы привести в исполнение этот план, нужно переехать на постоянное жительство в Одессу, Киев или Ялту. Можешь ли ты это сделать? Кажется, нет. С ножом у горла ты требуешь от меня работы. Что я могу сделать, сидя здесь? А сидеть здесь я должен, п. ч. меня связывают дела, п. ч. здесь кое-как я работаю, п. ч. я подписал договор на устройство вечеров.

За что ты внесла в домоуправление 30 р. и какие 35 р. долгу? Сообщи мне об этом точно и немедленно. Я думаю, что постоянные твои упоминания о Евг<ении> Б<орисовне> бестактны. Она переживает черные дни. Она без ума любила отца, и больше ей некого любить. Ты спрашиваешь, будет ли когда-нибудь сносная жизнь. Если ты не изменишь своего «характера», если ты по-прежнему неотступно будешь интересоваться мной и каждым моим шагом, если сносной жизнью ты считаешь обычную семейную жизнь со мной — то не будет.

Кланяйся моему больному маленькому другу. Он хороший человек. Я его люблю. Он меня не мучает.

И.

Киев, 19/III—27.

Что делать со Всеволодом? История эта по известным тебе причинам огорчает и тревожит меня. Восстановить в памяти все мои записи трудно, я бы немедленно засел за работу, если бы получил окончательный отказ. Сходи к Ивановым на дом, выясни раз навсегда — сколько же может длиться такое жалкое мое ожидание.

127. Из Киева — в Москву

Послал тебе вчера по телеграфу 80 р. Рассчитываю в субботу получить деньги, тогда пошлю больше. Ты не подтвердила получение 100 и 50 р., послан-

ных раньше. Как обстоит дело с весенней твоей экипировкой? Я спрашивал насчет потребной суммы, ты не ответила.

Вечер мой состоится завтра, в пятницу, в Одессе чтения предположены 3/III и 3/IV, вероятно, поеду еще и в Харьков. Вопрос с сценарием сохраняет свою остроту. Суд над кинемат. деятелями начнется 31/III. Мне бы не хотелось, чтобы обо мне упоминали как о злостном должнике. Поэтому по-прежнему надо изо всех сил наседать на Всеволода, пусть показывает сценарий в Госкино, где хочет, только бы сделал. Не стоит мне писать, если он уже сделал эту работу. Очень жду от тебя сообщений по этому поводу и сценария. Если Всеволод показал сценарий в Совкино, то пусть он подробно расскажет, как отнеслись к нашей работе.

Мальчика лечить нужно как можно лучше, тут и толковать не об чем. Помочь тебе прискать работу я могу только в Москве. Считаешь ли ты, что я могу что-нибудь сделать отсюда и что я могу сделать? Я считаю, что пора мне научиться помогать ближним моим, не губя самого себя. Не знаю, могу ли я еще спасти себя. Я пытаюсь работать и вижу, что я так ослабел, снизился, сделался жалок и слаб, что спастись трудно. И тут ты, не разбирая ни времени, ни места, ни обстановки, мучаешь себя и меня безостановочно, мучительно, бессмысленно. Что делать? Сдаваться — т. е. погубить себя и тебя — или защищаться от тебя — и этим спасти тебя и себя. Я решил защищаться. В день моего отъезда из Москвы я впервые почувствовал утомление от жизни, отвращение к ней, отвращение к человеческому голосу. Это грозное чувство. Я буду защищаться. Пассивной моей борьбе пришел конец. Я погибаю. Иногда мне хочется не каинтиться и «швидче опуститься на дно», как в украинском анекдоте. Иногда я думаю, что не имею на это права. Я тебе друг, Тамара. Со мной надо помолчать. Ты не умеешь этого делать.

Ответь мне, пожалуйста, на вопросы, которые я задавал тебе и раньше, — о квартирной плате; как дела Зинаиды; прислали ли извещение о подоходн. налоге.

И.

К. 24/III—27.

128. Из Киева — в Москву

Пишу на почте. Только что получил сценарий и твои письма от 21 и 23-го. Очень рад. Сценарий читаю и обработаю в меру моего разумения. Доволен ли сценарием Всеволод? Что ему сказали в Совкино?

Очень рад вестям о мальчике. Я так не избалован хорошими вестями, что от каждого просто благополучного слова прихожу в телеший восторг. Обязательно надо его снять, попроси от моего имени Николая Николаевича Соколова, живет в нашем доме, квартиру укажут Черниковы⁶. Если с ним не выйдет, то, я думаю, нетрудно найти фотографа. Обязательно это надо сделать, а то он переменится и лица его не восстановишь.

Вчера читал пьесу⁷. Вечер прошел «с материальным и художественным» успехом. Посылаю тебе рецензию⁸, посылаю потому, что это первые строки о детстве, которое я до написания очень любил. Третью сцену выправил, но недостаточно, каждый раз я чего-нибудь подчищаю и думаю, что доведу в конце концов до приличного состояния, а то рецензент прав насчет ржавых мест. Для окончательного суждения очень мне нужен твой совет, когда привезу это сочинение в Москву — тогда поговорим. О каком третьем взносе за топливо ты говоришь и почему 30 руб.? Это чистый вздор. Я давно заплатил уже за пятый или шестой взнос. Расследуй это дело, пожалуйста. 60 коп. за квадр. сажень — это очень по-божески, надо заплатить. Деньги тебе вышло, о финансовом твоим положении ты ни звука не пишешь, а мне бы надо сообразить в смысле денег. Пошлю тебе толику в ближайшие дни.

Здесь после совершенной весны — лютая зима. Уж на что я старожил, а не запомню. С Митей⁹ сущая неразбериха. Неустойчивый элемент. Кланяйся ему от меня, как ему писать, я напишу.

С планами твоими о Вуфку несогласен, да и как можно согласиться на отъезд семьи в Одессу или Ялту, всех сразу, с грудным чуть ли дитем? В уме ли ты? Подожди приезда моего в Москву, если сама ничего не сделаешь. Жду из Одессы телеграммы о дне моего выступления там.

Виктору Андреевичу¹⁰ напишу. Получив несколько дней передышки, я на-

⁶ Дворники, два брата, жившие в одной квартире с Исааком Эммануиловичем.

⁷ Ср. также с письмом от 26 марта 1927 г. к матери, Ф. А. Бабель: «Вчера впервые читал мою новую пьесу. Успех велик, и если бы не моя скромность, я сказал бы, громаден. Каким образом я мог при ужасающих таких обстоятельствах сочинить что-то путное — никак — никак не возьму. Посылаю тебе вырезку из сегодняшней газеты, посылаю потому, что это первые строки о новом моем детстве.»

⁸ К письму приложена вырезка из газеты «Вечерний Киев» (от 26 марта 1927 г.) со статьей «Вечер писателя И. Э. Бабеля, «Закат» (И. Э. Бабель) С. Пакентрейгера.

⁹ Д. А. Шмидт.

¹⁰ В. А. Щекин.

чал работать, но грустно, не тот я, все жиже, беднее, слабее. Трудно привыкать к бедности и к среднему существованию.

До свиданья, буйный, мучительный мой друг. Что это с тобой приключилось — болезнь, отчего это, оправляешься ли ты?

Будь весела и равнодушна.

Твой И. Б.

Киев, 26/III—27.

129. Из Киева — в Москву

Киев, вокзал, 30/III—27.

Милая Тамара. Сейчас еду в Одессу, вечера мои там состоятся 1 и 2 апреля, 4-го «выступаю» в Виннице (совсем балериной сделался), 5-го возвращаюсь в Киев. Деньги переведу тебе телеграфно из Одессы. Карточку получил, она согревает невеселое мое бытие, только карточка очень плохая, обязательно надо сняться по-настоящему. Из Одессы пошлю тебе отделанный сценарий спешной почтой. На всякий случай телеграфный мой адрес в Одессе — «Лондонская» гостиница.

Твой И.

130. Телеграмма из Киева — в Москву

4/IV—1927 г.

Здоров. Пишу

131. Телеграмма из Киева — в Москву

5/IV—1927 г.

Вернулся пишу высылаю деньги

132. Телеграмма из Киева — в Москву

6/IV—1927 г.

Воскресенье переведу дополнительно

133. Из Киева — в Москву

Утром отправил тебе письмо, а днем получила от тебя телеграмма. О деньгах я помню неустанно, и не надо мне напоминать. С деньгами все образуется. Корректуру «Короля»¹¹ пришли. Делов там немного, но просмотреть надо.

Приехать в Москву я хочу 24-го, к Пасхе. Очень хочется мне успеть исполнить до этого времени ту чертову гибель работы, которая висит на моей шее. Пожалуйста, дай мне поработать спокойно. «Спокойно» — это звучит иронически в рассуждении нынешнего душевного моего состояния, — мне худо, но может быть еще хуже. Вот этого «хуже» надо избежать во что бы то ни стало.

После отправки тебе денег напишу еще.

Твой И.

Киев, 9/IV—27.

134. Из Киева — в Москву

Милая Тамара. Предчувствие тебя не обмануло. В Одессе у меня украли 270 рубл. (ночью во время «банкета», когда все перепились), затем я рассчитывал получить деньги в Вуфку, но и здесь вышла отсрочка. Положение в Вуфку напоминает положение Госкино во время арестов, здесь идут интриги, перемещения, приезжал нарком, председатель Хелмно все время в Харькове, о деньгах говорит глупо и бестактно. Из-за этих обстоятельств вышла заминка с деньгами. Завтра, в воскресенье, вышлю тебе по телеграфу сто рублей, не позже 15-го пошлю еще сто рублей. После 15/IV финансовое положение, надеюсь, резко изменится к лучшему и «перебоев» не будет.

В Москву собираюсь приехать на Пасху. Там, в Москве, мы порешим вопрос о дальнейшей моей судьбе. Нынешняя — невыносима. Вопрос с квартирой (мена с Третьяковым и проч.) предоставляю целиком твоему усмотрению. Помни только, что в течение ближайших двух-трех месяцев производить экстраординарные расходы мы не можем, мы должны ограничиваться «текущими делами». Я написал Шубину¹² и надеюсь, что домоуправление тебя не беспокоит. Судебную повестку получил, как говорится, приму меры.

Сценарий Всеволода написан анекдотически небрежно и безо всякой «установки». Вместо заказанной нам «бодрой комедии» получилась скептическая, ме-

¹¹ Речь идет, вероятно, о книге «Король», М.-Л., Госиздат, 1927.

¹² Председатель домового комитета.

стами очень талантливая канитель. Я переделываю ее резко, написал об этом Бляхину. Хлопотать о тебе в Вуфку при нынешнем его настроении не перед кем. Я с нетерпением жду приезда Хелмно, а когда он придет — я от него не отстану. Где же твои «хваленые устроительные» способности — где они? Неужели ты не можешь проложить в Москве маленькую, ничтожную тропочку? Ответь мне, Тамара, — плач твой о работе разумеет всякую работу или по-прежнему — только кинематографическую? Передай Эйзеншт<ейну> прилагаемую заметку¹³. Я не успел написать статьи о нем, но рекламу делаю ему всемерно и повсеместно. Вести о том, что вы сгниваете заживо, приводят меня в уныние. «Аппетитные дамочки»... Не потеряет ли Зинаида службу из-за многочисленных своих болячек? Вот будет пассаж!.. Мальчика обязательно надо снять да получше, очень прошу тебя. Как поживает Татьяна? Правда ли, что Воронского окончательно сняли?¹⁴ Долго ли пробудет Митя в Москве? Мне хотелось бы повидаться с ним. Осталось ли в силе назначение его в Краснодар?

У нас весна никак не может разродиться, да и в Одессе погода была скверная. Очень уж долго приходится нам жить без солнца.

Получила ли ты эпизодические 50 рубл., отправленные вчера по телеграфу? Завтра напишу еще. Пожалуйста, будьте здоровы и веселы.

Твой И.

Киев, 9/IV—27.

135. Из Киева — в Москву

Письмо твое от 9/IV и корректуру получил. В корректуру сделал незначительные изменения в порядке рассказов и написал на титульном листе «третье издание»¹⁵. Это необходимо сделать для того, чтобы не вводить публику в заблуждение. Корректуру посылаю одновременно заказной бандеролью.

Недоразумения с деньгами, вероятно, уже выяснились. С 5/IV я послал тебе по телеграфу 75 р., 50 р., 100 р. Деньги эти, надо надеяться, ты получила. Постараюсь в ближайшие дни послать тебе еще 100 р.

Приехать рассчитываю 24/IV, приеду только затем, чтобы повидаться с вами, потом снова вернуться в Киев, п. ч. дела мои здесь далеко не закончены. О приезде моем сообщать не следует, п. ч. мне не до людей теперь, а работать надо так усиленно, что я могу терять только то время, которое я провожу в вагоне. На время пребывания моего в Москве надо бы мне найти комнату для работы. Ты знаешь удручающие мои литературные, денежные и моральные обстоятельства — очень хорошо, если бы ты могла что-нибудь прискать для меня.

В Вуфку мне сообщили, что Хелмно приезжает завтра. О результате моих переговоров с ним я немедленно напишу тебе. Сценарий я пришлю или привезу в отделанном виде.

Получил от Маркова телеграмму об отсылке моей «части»¹⁶. Дело это движется у меня с трудом. Узнай, пожалуйста, как обстоят дела с другими «авторами» спектакля. Что с Воронским? Как коллективное ваше здоровье?

Моя мечта все та же — полгода покоя для того, чтобы я мог поработать и пораздумать над жалкой моей долей.

В Москве ли Митя? Едет ли он в Китай? Поклон чадам и домочадцам.

Киев, 13/IV—27.

Твой И.

136. Из Киева — в Москву

Милая Тамара. Надеюсь, что последние сто рублей помогли тебе на несколько дней преодолеть нужду. Как только добуду денег — сейчас же вышлю тебе по телеграфу. У меня есть убеждение, что Госкинпром — учреждение не лучше других, а может, хуже. Я был в Тифлисе и не верю в тифлисское художества. И затем, на кого ты покинешь чад своих и домочадцев в Москве, — не понимаю?! Хелмно придет в воскресенье. Есть основания предполагать, что в Вуфковской распре он победит. О разговоре с ним я немедленно тебе сообщу.

¹³ К письму приложена вырезка из газеты «Вечерний Киев» (1927 г.) со статьей за подписью Ур. «Театр и кино. И. Э. Бабель о новой картине С. Эйзенштейна». (Имеется в виду фильм «Генеральная линия»).

В газете «Кино» от 26 февраля 1927 г. было сообщено: «16 февраля состоялся закрытый просмотр готовых кусков «Генеральной линии» для узкого круга приглашенных. Присутствовали Бабель, Шкловский, Третьяков, Шукто, Агаджанова. Общее мнение присутствующих, что по силе впечатления «Генеральная линия» во многом превосходит «Потемкина».

¹⁴ Воронский был отстранен от должности.

¹⁵ «Юнармия», изд. 3-е, исправленное, М.-Л., Госиздат, 1928.

¹⁶ Группе прозаиков, в их числе Бабелю, Олеше, Леонову, Вс. Иванову, было предложено попробовать написать драматический фрагмент, чтобы впоследствии объединить лучшие опыты и сделать сборную постановку к десятилетию революции. Остановились на сцене, представленной Вс. Ивановым, из которой возникла пьеса «Бронепоезд 14-69».

Я здоров, работаю, результаты скажутся не скоро, м. б., через много месяцев. Что же делать? Работать по методам искусства, а не по методам унижения (которого и без того довольно) — это одно из немногих утешений, оставшихся мне. В материальном смысле от этих «утешений», конечно, не легче.

Очень радуюсь сообщениям твоим о мальчике, хотя и не верю им. Откуда, скажи на милость, привалят к нему этакие роскошные качества? Чудес в природе не бывает, и это справедливо. Не будет он идиотиком и уродцем, — и за это слава господу богу. А уж что сверх того, то будет премия. Тебе-то премия полагается, а мне нет, я дурной человек.

Как я тебе писал, рассчитываю приехать в Москву 24 го. Скоро напишу еще. До свиданья, друг мой.

И.

Киев, 15/IV — 27.

Поступила ли Зинаида в профсоюз? Учится ли Татьяна? Кто у тебя в при-
слугах?

137. Из Киева — в Москву

Уважаемая Тамара. Послал тебе сегодня по телеграфу 50 рубл. Извини, что по столовой ложке. Посылаю по мере поступления, а поступление плохое. Оно таким будет долго, впредь до моего воскресения (если таковое состоится). Довольно унижаться, халтурить, изворачиваться. Надеюсь, что до моего приезда я смогу послать тебе еще денег. В отношении приезда планы пока не изменились. По последним имеющимся у меня сведениям я смогу кое-что сделать для тебя в Совкино. Во всяком случае, какое-нибудь предложение Вуфку я в Москву привезу.

К мальчику я отношусь хорошо, а не худо. В этом ты ошибаешься. Клянись ему. Подарков не привезу, — какие отсюда подарки? Купим на месте. Сошла ли сыпь? Что он ест? Орет ли по ночам?

Поступила ли Татьяна в детский сад или на это не хватает денег?

Очень беспокоит меня вопрос о рабочей комнате для меня в Москве. Работать я должен ежедневно, иначе подохнем с голоду.

Будь благополучна и весела. Умным людям свойственно веселье.

Твой И.

Киев, 17/IV — 27.

138. Телеграмма из Киева — в Москву

22/IV — 1927 г.

Задерживаюсь несколько дней очень огорчен пишу

Приехал Исаак Эммануилович к 1 мая. То ли он еще любил меня и соскучился обо мне, то ли его вдохновил и примирил с жизнью успех «Заката» на чтениях, но приехал он веселый и благорасположенный. Только хватило такого благополучия, конечно, ненадолго.

Меня больше всего утешило то, что он подробно советовался со мной о переделках «Заката». Хвалил мои замечания и поручил мне передиктовать окончательный текст машинистке. У меня дома было устроено им чтение «Заката» избранным московским писателям. И он всем говорил, что без моей помощи ему бы пьесы не кончить.

Обрадовало меня и заключение со мной как ассистентом режиссера договора для работы над постановкой «Китайской мельницы» (режиссер Левшин).

Наступила весна. Надо было до моего отъезда на съемки устроить детей на дачу. Я сняла дачу в Жуковке совместно с Лифшицами, старинными, еще с Одессы, друзьями Исаака Эммануиловича. Он сам познакомил меня, сперва на бегах, еще весной 25-го года, с Исааком Леопольдовичем, а позже (когда я вернулась из Ленинграда в Москву) и с его женой, Людмилой Николаевной. Однако совместную с Лифшицами дачу Исаак Эммануилович не одобрил. Но я его уже не слушала, — понимала, что сам-то он на этой даче все равно не будет жить, а мне спокойнее уехать, если дети останутся не только с моей сестрой и Марией Егоровной, но еще и с Лифшицами, у которых тоже есть маленькая дочь.

К этому времени Исаак Эммануилович уже объявил мне о своем отъезде за границу¹⁷ (подготовку к которому тщательно скрывал от меня), как он говорил на месяц-другой, повидаться с матерью (ома жила у его замужней сестры в Бельгии).

Перед самым своим отъездом Исаак Эммануилович перестал ссориться со

¹⁷ Бабель выехал из Киева вместе с матерью жены Б. Д. Гронфайн 10 июля. 12—14 го был в Берлине.

мною, был опять нежен и предупредителен, а когда я отправила детей с Зиной и Марией Егоровной на дачу, даже переселился ко мне, строя какие-то, как всегда, эфемерные планы на далекое будущее — наше общее будущее.

Мы поехали к детям на дачу в день Мишиного рожденья, когда ему исполнился год. Он в этот день как раз впервые самостоятельно пошел. Это было последнее свидание Исаака Эммануиловича с сыном. Свидание было очень короткое. Мы приехали на машине, нанятой по часам. А денег, как всегда, не было.

Провожала я Исаака Эммануиловича, еще не понимая, что если за границу он едет и не навсегда, то от меня-то уж, во всяком случае, — навсегда. Я огорчалась разлуке, потому что все еще любила его (несмотря на все наши раздоры и ссоры), но мне и в голову не приходило (я ведь не окончательно разучилась верить ему), что он именно от меня уезжает. Поэтому, погоревав недолго в одиночестве, я вполне бодро отправилась на киносъемки. Каково же мне было именно там, в Воронежской губернии, получить пересланное мне сестрой из Москвы письмо Бабеля, извещавшего меня о том, что он навсегда порывает со мной. Хорошо для меня было только то, что тон письма, а также признание во лжи меня возмутили куда больше, чем огорчили.

139. Из Парижа — в Москву

Уезжая, я утаил, что старуху надо сдать в Париже. Последняя эта ложь была вызвана, как и всегда, жалостью, трусостью, невозможностью для меня нанести удары прямо в лицо.

Путешествие было печально. Возня с безумной старухой измучила меня. В Льеже меня встретила мать. Я прошел мимо, не узнав ее, так она постарела, одряхла, истерзалась. В Париже¹⁸ нас встретила Е<вгения> Б<орисовна>. Она выглядит не лучше моей матери. Надо думать, что я виноват во всех этих бедствиях. Мучительное сознание. Жизнь моя нестерпимо грустна. Пути, Берлина, Парижа я просто не заметил. Мне не до впечатлений. Я болен. Мне надо лечиться.

Е. Б. сняла в Париже на окраине маленький дом. Я буду жить в комнатке, в первом этаже этого дома, и попытаюсь работать. Если мне это не удастся, я порву последние связи с прошлым и уеду в место, намеченное мной. Если между мною и Е. Б. возникнут отношения мужа и жены — я напишу тебе. У тебя нет никаких обязательств по отношению ко мне. Тывольна в своих действиях. У меня нет намерения вернуться к тебе. Я попытаюсь вести с Е. Б. безрадостную, несчастную нашу, но, м. б., спокойную жизнь. Если не выйдет — я уйду.

Прошу тебя не писать мне. Твои письма, я знаю, добьют меня, а я должен работать, а Мишке, единственному человеку на земле, которого я люблю, единственному человеку, не терзавшему меня непосильной для меня любовью, надо как-нибудь жить. О всех делах — личных или материальных — передавай Слонимам.

Я отослал тебе из Шепетовки сто семьдесят рублей. За границу, оказываешься, нельзя везти русских денег.

В Киеве в книжном киоске я видел второе издание моих рассказов¹⁹ (выпуск «Универсальной библиотеки»). Не знаю — то ли это издание, которое я продавал. Если «Универс. Библ.» выпустила книжку по собственной инициативе — надо получить деньги.

Прощай, Тамара. Я хочу верить, что у тебя есть силы быть счастливой. Мне кажется, что у меня нет этих сил. Прости меня. Я буду писать тебе, если ты пообещаешь не отвечать на мои письма.

И. Б.

20/VII—27.

Несмотря на отрезвившее меня возмущение, я тяжело перенесла этот удар (хотя, казалось бы, давно должна была быть к нему готова). Но зато я разом рассталась со своими тщетными надеждами и иллюзиями, длившимися два с лишним года. Бабель просил меня в своем прощальном письме не писать ему, а мне это стало уже и не нужно. Раз все кончено — значит, кончено.

Через месяц с небольшим пришло от Бабеля новое письмо, в котором он, уже забыв, что просил меня не писать ему, наоборот, задавал множество вопросов и сообщал свой адрес.

140. Из Парижа — в Москву

Мечта моя об одиночестве близится к осуществлению. С завтрашнего дня в течение трех месяцев я буду один. Скоро я уеду, вероятно, в дальнюю деревню на берегу Средиземного моря. Может быть, я добьюсь там грустного моего спокойствия — единственного, что мне осталось. Один, большой, почему-то разрушивший все, что могло быть мне дорого, я брожу здесь по паркам, смотрю

¹⁸ В Париж Бабель приехал 24 июля

¹⁹ Рассказы «Универсальная библиотека», № 22. М.-Л., Госиздат, 1926.

на играющих детей, и вид их раздирает мне сердце. Жаловаться мне не на кого и не на что, кроме как на себя. Очевидно, я этого хотел...

О Слонимах я сболтул сгоряча. Прости. У меня вот уже больше месяца не переставая болит голова, я не отдавал себе отчета в бессмысленных моих поступках. Напиши мне, как идет работа над картиной, прочна ли твоя служба? Получаешь ли ты деньги в «Новом мире»? Я написал секретарю журнала, Смирнову, что рассказы пришлось обязательно. Правда, я это сделаю. Несмотря на ужасное мое состояние, я работаю. Что уже там выйдет из этой работы — трудно сказать, но строки для бухгалтерии будут. Что в театре? Я до сих пор не переделал 3 сцены. Опротивела мне пьеса. Надо бы сократить два-три куплета в песне, да охоты не хватает... Может быть, сделаю. Все переделки пришлось тебе, если ты не откажешься. Да, не запретили злосчастную эту пьесу, как сделали со Всеволодом²⁰.

Всеволод уезжает во вторник. Я постараюсь передать ему для вас кое-какие вещи. Я растолкую ему да и тебе напишу, как их можно будет получить.

Почаще присылай мне, если хочешь, карточки Миши. Наконец-то есть на божьем свете существо, которое я люблю. Я очень его люблю. Какая грустная любовь... Она не делает мне чести, п. ч. это мой собственный сын. Я еще не совсем потерял веру в себя и думаю, что я поправлю ужасный нанесенный ему вред... А если не поправлю, тогда жизнь не будет мне в жизнь... Как твоё здоровье, Тамара? Больше всего в свете я боюсь услышать худые вести о тебе, хотя, правда, я ничего не сделал для того, чтобы услышать хорошие.

Мой адрес пока: XV-е, Rue de Venille. Bureau de Postes № 69, Poste-réstante, Mr. J. Babel. О перемене адреса я тебе сообщу. Если хочешь, дай руку человеку, который мог бы быть счастлив с тобой и не сумел этого сделать.

И. Б.

Париж, 3/IX—27.

Я не ответила. Молодость брала свое (в 27 лет можно еще начать жить сначала), я уже не хотела беречь столь болезненное для меня прошлое. Новая моя установка гласила: работа, дети — и никаких любвей. Пришло еще одно письмо. Бабель писал: «Если не хочешь писать — сообщи». Как будто отсутствие ответа не является само по себе сообщением.

141. Из Парижа — в Москву.

Давно — около месяца тому назад — я отправил тебе письмо. Ответа нет. Если ты не хочешь писать, сообщи мне об этом, мне это надо знать.

И. Б.

28/IX—27.

Я опять не ответила. Мне не о чем было ему писать. Тут приехал из Парижа Всеволод. Бабель виделся с ним там и дал ему ко мне поручение. В первый же день по приезде Всеволод попросил меня встретиться с ним. Он рассказал мне, что Бабель, отыскав его, умолял поговорить со мной и уговорить меня писать ему, так как он не может жить, не зная, что со мной. Надо думать, что разговор с Бабелем обо мне произвел на Всеволода сильное впечатление. Ведь до тех пор, встречаясь со мной неоднократно, он не обращал на меня решительно никакого внимания, а тут сразу проявил очень большую заинтересованность, и вовсе не данным ему поручением, а мной лично. С тех пор Всеволод стал искать встреч со мной, и уже очень скоро он заговорил о «чувствах».

Разговор со Всеволодом меня, не скрою, утешил, — мне было приятно осознать, какой все же глубокий след оставили в сознании Бабеля наши с ним взаимоотношения. Теперь я уже смогла написать ему. И написала вполне спокойно, даже предложив, если он хочет, заняться его делами, как я это делала до его отъезда, после своего возвращения в Москву. Он ответил, что ему после моего письма «...полегче будет житься теперь».

142. Из Парижа — в Москву

Тамара, получил, наконец, от тебя письмо. Я очень рад и благодарю тебя за то, что ты согласна заняться моими делами. Мне очень понадобится твоя помощь. Выразиться она может вот в чем: когда я начисто отделаю некоторые вещи для печати, я буду присылать их тебе, и распоряжаться ими нужно будет расчетливо для того, чтобы поскорее заткнуть зияющие дыры моих долгов и обязательств. Я об этом напишу тебе подробно в свое время. Я надеюсь, что закончу к 1 января книгу²¹, но печатать придется ее по частям.

²⁰ Когда шли репетиции, репертком запретил «Бронепоезд 14-69», т. к.: «В пьесе не отражена роль партии в партизанском движении на Дальнем Востоке». В тот момент Вс. Иванов был в Париже. Любопытно, что после премьеры при неоднородности оценок критикам возражал, поддерживая пьесу, М. Ольшонец («Известия», 24 ноября 1929).

²¹ Бабель говорит о книге «История моей голубятни».

Я видел здесь Полонского. Он подтвердил наш договор и обещал аккуратно производить выплату. Он должен был приехать в Москву в первых числах октября. Я уверен, что в «Новом мире» тебе заплатят. Я сегодня пишу Полонскому. Очень прошу тебя немедленно сообщить мне о положении дел в «Новом мире». Я думаю, Тамара, что если я буду работать, то мне удастся покончить с ужасным материальным моим наследством, и ты сможешь зажить не так нищенски и ограниченно, как тебе, вероятно, приходится жить.

У меня нет никакой возможности начать выплату долга Центросоюзу до 1 января. Очень хорошо будет, если ты и я сможем до этого времени выкалывать на насущные наши нужды и если мне удастся выполнить некоторые из литературных моих обязательств. Я напишу обо всем этом в Центросоюз, поговори и ты с ними, если тебе не противно, с Госиздатом я тоже надеюсь уладить, упрощу их дать мне последнюю отсрочку. Я прочитал в «Правде» отзыв Маркова о постановке «Смерти Иоанна Грозного». Статья эта убедительно написана, и такое у меня чувство, что она правильно излагает то, что происходило в театре. (Я знаю, ты невысокого мнения о критических способностях Маркова, но не бог весть какие способности нужны, чтобы разобраться в незатейливой стряпне 2 МХАТа.) Плохой театр, тут и толковать нечего. Если тебе придется говорить с Берсеневым²², попроси их сократить 3 сцену, в особенности песню. Один чех попросил у меня пьесу для того, чтобы показать ее в Праге, я сдуру отдал, теперь у меня нет ни одного экземпляра. Он, правда, обещал вернуть через несколько дней.

Правда ли, что картина выходит сносно? Побольше бы пейзажа, солнца, что-бы интрига, шитая белыми грубыми нитками, не выпирала. Впрочем, не мне судить. Хорошо бы тебе не бросать службу. Трудно работать с бессмысленными и маленькими этими людьми из Совкино, но большие люди — где их возьмешь, а во-вторых, чему-нибудь, может, и научишься. Овладела ли ты техникой съемок, изучила ли аппарат?

В Союзе Драмат<ических> Писат<елей> мне обещали выдать еще пятьсот рублей, когда дело дойдет до постановки. Ты не должна упускать из виду этого обстоятельства.

Альтману²³ мой портрет заказал Госиздат. Не знаю, составляет ли этот рисунок собственность Госиздата. Если нет, то тогда мы можем купить. Но стоящий ли этот рисунок? Ведь всего был один сеанс. Позвони Альтману — 2-59-69, он тебе расскажет, как обстоит дело.

Прости, Тамара, что я ничего не послал тебе с Всеволодом. У меня не было ни копейки, вернее, ни одного су, а занять здесь не у кого. Скоро будет оказия, и, я думаю, смогу переслать вам кое-какие вещи.

Пришли мне карточку мальчика. Я очень скучаю без него. Если бы я умел плакать, я бы плакал. Не надо ему говорить, что у него нет отца. Я на чужбине. Тело мое, душа, мозги, — все на чужбине. То, что от тебя не было писем, мучило меня все дни напролет. То, что ты сообщила мне о себе, утешило мою тревогу. Не знаю, имею ли я право написать это тебе, но мне полегче будет жить теперь.

Париж, 4/X-27.

И.

Между нами завязалась регулярная переписка. Мне нравилось (я любила покрасоваться перед самой собой — вот, мол, я какая!) сознавать, что я благородно отвечаю Бабелю добром за причиненное мне зло. Теперь-то я понимаю, что еще неизвестно, кто из нас двоих кому причинил большее зло. А подводя итоги жизни, не винить мне его надо, а благодарить. Веди он себя иначе (вернее, будь он другим человеком) — и не стало бы тогда в моей жизни ни Всеволода, ни Комы!

В жизнь мою уже вошло новое чувство. На первых порах еще не мое, но чувство ко мне Всеволода, которое все разрасталось и было для меня великопленным целительным средством от ран, нанесенных Бабелем.

А Бабель давал мне множество письменных поручений, и я их выполняла.

143. Из Парижа — в Москву

Тамара. Авторы наши в отношении к цензуре перешли всякие границы робости и послушания. Я не собираюсь принять к сведению или исполнению ни одно из их замечаний. Все их «исправления» бессмысленны, продиктованы отвратительным вкусом и политически не нужны и смехотворны. С болванами этим не стоило бы и разговаривать. Я не принадлежу к числу тех, кто плачет над запрещенными своими вещами или злобится. Но «тогда гордого безразличия» —

²² Берсенева Иван Николаевич (1889—1951), режиссер, актер, в 1924—1936 гг. во МХАТе 2-м, с 1928 г. художественный руководитель театра. В «Закате» играл Веню Крика.

²³ Альтман Натан Исаевич (1889—1970), скульптор, живописец.

это, конечно, пышная тога, но деньги — деньгами. Поэтому надо бороться за сохранение моих фраз. В Главрешеткоме есть у меня приятель Ричард Тикель (Арбат, 35, кв. 32, т. 2-69-31, сл. тел. 1-51-11). Если хочешь, поговори с ним. Он когда-то был разумным человеком. Можно обратиться через Галину Серебрякову²⁴ (5 дом Советов, ул. Грановского, 3, кв. 70, т. т. 5-91-45 и 3-49-24) к Сокольникову, показать ему пьесу, попросить «оказать влияние». Надо, чтобы Сокольников прочитал пьесу. Посоветуйся с Полонским или Воронским. Я думаю, что борьбу надо вести, ища поддержки у «сильных мира сего». Уступить нельзя. Вероятно, и Чехов²⁵ может что-нибудь сделать. Сокольниковым я со своей стороны напишу. Если хлопоты не дадут результата, тогда лучше пьесу снять.

Я пишу теперь рассказы. Что-нибудь из них да напечатают. Это даст деньги. Как-нибудь проживем. Вчера отправил тебе письмо. Скоро напишу еще. Очень прошу тебя, сообщай мне обо всем. Жду фотографий.

И.

П. 6/X-27.

144. Из Парижа — в Москву

Тамара. Вчера получил письмо твое и Гриппича. Сегодня отправил Гриппичу все нужные ему заявления. Знаешь ли ты что-нибудь о судьбе пьесы в Петербурге? Благополучнее ли она прошла там цензуру, чем в Москве? В Москве ни на какие уступки идти нельзя. Пусть лучше до всеобщего сведения дойдет, что пьеса изуродована и запрещена, чем подвергнуться такой уродливой, бессмысленной операции.

Хотел послать тебе вещи, но никак не мог. Нет ни копейки. Перебиваюсь с трудом. А тут еще дней десять тому назад я захворал. Простудился, и начался тяжелый мой «астматический период». Десять дней я снова не работал и так этим испуган, что решил ехать на юг, лечиться. Раз навсегда мне надо привести себя в работоспособный вид. Рассчитываю осуществить мечту мою — поехать в Марсель. Поеду, если добуду денег. Здесь не Москва, — пропадешь и ни копейки не достанешь. Т. к. я убежден, что деньги когда-нибудь да будут, то насчет вещей не отчаивайся. Пришло, как говорится, при первой, при первой возможности. Я очень страдаю оттого, что не мог это сделать до сих пор.

Мишкины снимки получил, очень им обрадовался. Мне все же кажется, что на фотографии он получается лучше.

В Париж больше писать не надо. Я пришлю тебе новый адрес. Как у Мишки ноги, не кривые ли? Какие слова он уже говорит? Скоро ли закончатся съемки картины? Напиши по совести, получается ли толк?

Как только приеду на новое место — напишу.

И.

П. 16/X-27.

145. Из Марселя — в Москву

Тамара,

Сообщаю мой адрес: Mr. Babel, Belvédère Hotel, rue des Pecheurs, Marseille.

Здоровье мое идет на поправку. Надеюсь, что дня через два-три смогу приступить к работе. Больше двух недель потеряно безвозвратно. Жду от тебя сообщения о делах. Они, вероятно, не предвещают ничего хорошего.

И.

М. 22/X-27.

146. Из Марселя — в Москву

Тамара. Я верю в маленького нашего человечка. Я верю в то, что болезнь его скоро пройдет. Пиши мне почаще, пожалуйста, не ленись. Очень ли он исхудал? Много ли слов говорит? Всякое упоминание о нем растапливает мое сердце.

Жизнь мою за границей нельзя назвать хорошей. В России мне жить лучше, переучиваться на здешний лад мне не хочется, не нахожу нужным. Потом, меня не оставляла душевная тревога о тебе, она мучила меня неостановимо. Теперь, после последнего твоего письма, я чувствую себя спокойно. Будь счастлива, мой друг, и благоразумна. Это дешевое занятие — давать советы, да и я в роли человека, призывающего к благоразумию, смешон, но, право же, Тамара, выходит так, что немножко расчета в жизни нужно, а то очень хлопотливо, и не успеешь оглянуться, как, глядишь, помирать надо.

К огорчению моему из-за недостатка денег я должен уехать обратно в Па-

²⁴ Серебрякова Галина Иосифовна (1905—1980), писательница, дочь партийных работников.

²⁵ Чехов Михаил Александрович (1891—1955), актер, режиссер, в 1924—1927 гг. художественный руководитель МХАТа 2-го.

риж. Пиши по-прежнему: Mr. J. Babel, Poste-réstante, Bureau de Postes № 69, Rue de Venillé, Paris, XV-е.

Никогда я не испытывал такой материальной нужды, как теперь. Положение иногда создается унижающее. Вся надежда на пьесу и на то, что ты хлопочешь. Если пьеса прошла несколько раз в провинции, то я думаю, что в Модпике²⁶ можно брать еще аванс. Я взял там всего пятьсот рублей. Они обещали мне перед генеральной репетицией дать еще денег. Надо думать, что представления в провинции равносильны генер. репетиции в Москве. Я не знаю, конечно, как обстоит дело с пьесой, снимается ли она после нескольких представлений или продержится. Прошу тебя, Тамара, пришли мне все материалы, какие у тебя по этому поводу имеются. Выражал ли еще какой-нибудь провинциальный театр желание поставить «Закат»? Что ты знаешь о постановке в Одессе? Неужели история с авансом от Александринки тянется до сих пор? Есть ли уверенность в том, что пьеса пойдет в Александринке?

Итак, надо попросить аванс в Модпике. Я пишу заявление на тысячу рублей. Борись. Но получить деньги — это поддела, очень трудно отослать их за границу. Если посылают сумму, превышающую пятьдесят долларов, надо просить разрешения Валютного Управления. Всеволод может дать тебе совет²⁷. Конечно, посылать надо от Модпика, вообще от официального учреждения, тогда скорее выдают разрешения. Во всяком случае, сообщай тебе еще адреса, по которым можно посылать деньги: Mr. A. Fasini, 27, Rue Dareaux, Paris, XIV-е; Mr. N. Granovsky, 17, Boulevard Garibaldi, Paris.

Если обстоятельства сложатся благоприятно, пошли деньги по телеграфу. Мне протелеграфируй о перспективах. Можно еще в Модпике упомянуть о фильме, за это ведь тоже будут проценты. Впрочем, увидит ли фильм экран, как ты думаешь? Кстати, надо поставить имя Всеволода как соавтора, а то он обидится.

Напиши мне еще, Тамара, о пьесах Всеволода и Леонова²⁸, как они выглядели со сцены, имеют ли успех? Что получилось у Эйзенштейна? Я совсем отрезан от мира. Я думаю, что я тебе друг, преданный и верный до самой смерти, не оставляй меня без всяких вестей.

Я все время стараюсь работать, но ощутимых результатов пока нет. Очень трудно писать на темы, интересующие меня, очень трудно, если хочешь быть честным. Я снова подтвердил Полонскому мое обещание не посылать рассказов, кроме как в «Новый мир». Но если бы ты знала, как мучительно мне привыкать к писанию из-за нужды, к писанию из-под палки. Очень хорошо было бы, если бы пьеса помогла нам дожить до новой моей работы. Вся надежда на тебя, Тамара. Деньги Модпик или всякое иное учреждение должно посылать мне по адресу: Mr. J. Babel, 15, villa Chawelot, Paris, XV. В банке без протекции не обойдешься. Попроси помощи у некоего т. Наглера, из Промбанка (против Биржи на Ильинке). Жду твоей телеграммы по поводу всех этих дел.

До свиданья, друг мой. Пиши мне почаще. Кланяйся от меня милому нашему Михайле. Будь весела, красива, счастлива, добра.

И. Б.

М. 11/XI-27.

В Модпике надо обратиться к члену Правления Гольденвейзеру. Я сегодня пишу ему. В Париж уезжаю отсюда 14-го.

Часть денег, буде таковые окажутся, надо еще послать маме (Madam Marie Charochnikoff, 38, Rue de Vergnies, Bruxelles). Ей можно послать 50 долларов, т. е. 100 рублей. Но это все в том случае, если... Прости за докучу...

Переписка моя с Бабелем и выполнение его поручений шли своим чередом, а жизнь своим чередом. В ноябре я уже сообщила Исааку Эммануиловичу, что Всеволод полюбил меня и я его ответно полюбила.

147. Из Парижа — в Москву

Тамара. Письмо твое от 21/XI и рецензии получил. Спасибо. Если тебе удастся прислать мне в нынешнем году тысячу рублей, будет очень хорошо. Прошу тебя сделать все усилия, какие только можно. Привлечь к этому делу Лившица. Он не откажется тебе помочь. Я напишу ему. Не помню, сообщал ли я тебе адрес сестры: Madam Marie Charochnikoff, 38, Rue de Vergnies, Bruxelles, (Belgique). Хорошо бы, если бы и ей можно было отправлять ежемесячно. Дежневные дела мои, по совести говоря, удручающи.

²⁶ Правильно «МОДПик» — Московское общество драматических писателей и композиторов.

²⁷ Ср. с записью в дневнике К. И. Чуковского: «Всеволод Иванов рассказывает, что Лунач<арский> остался тут, на курорте, потому что ему не дали валюты, не позволили вывезти деньги за границу, а ему. Всеволоду, позволили, и он взял с собой 1½ тысячи».

²⁸ Леонов Леонид Максимович (р. 1899), писатель. Речь идет о постановке его пьесы «Барсуки» в театре им. Вахтангова.

Идет ли пьеса еще где-нибудь, кроме как в Одессе и Баку? Если у тебя накопились еще материалы, сделай милость, пришли. Что тебе сказали в Александрино? Прежде чем перерешать, я хотел бы знать в точности положение дела. Напиши откровенно.

Очень огорчает меня Мишка. Неужели он серьезно болен? Я почему-то верю в него всем сердцем и верю, что он скоро перестанет хворать и будет веселым человеком, ум — это дело двусмысленное, главное, пусть будет веселым человеком.

Милая Тамара. Очень прошу тебя прислать мне заказной бандеролью экземпляр пьесы. Она мне **очень** нужна. Не знаю, радоваться или печалиться известию о Всеволоде. Я чувствую душевную к нему привязанность, он выдающийся человек, трудно найти лучшего. Мне хотелось бы, чтобы счастье твое и покой были долговечны и прочны. Если это случится, тогда в самом деле — все идет к лучшему в этом мире.

Пиши мне о Мише, о делах и помни, что за тридцать земель у тебя есть друг. Это я пишу не для красного словца.

П. 30/XI-27.

И. Бабель

Ценой огромных усилий мне удалось перевести Бабелю деньги. Я чрезвычайно гордилась перед самой собой этим своим подвигом. По частным адресам, им указанным, я тоже передавала деньги, но это поручение мне не нравилось. Я выполняла его скрепя сердце. Какие-то трупповые адреса, странные люди... Мне было неприятно иметь с ними дело, хотя я совершенно не понимала, какому риску себя подвергала. Ведь подобные «операции», с точки зрения закона, приравнивались к запрещенным «валютным».

Мне нравились установившиеся в письмах новые, чисто дружеские отношения с Бабелем. Однако многое в его письмах меня корбило, и прежде всего постоянные восклицания о моей материальной необеспеченности и посулы каких-то вещей, которых я у него никогда не просила. Не нравился мне и несколько нравоучительный его тон, который он опять по старой привычке мною командовать начал себе позволять. Обо всем этом я не преминула ему сообщить.

148. Из Парижа — в Москву

Милая Тамара. Получил вчера 205 долларов. Деньги эти — кислород, вернувший меня к жизни. Я находился при последнем издыхании. 100 долларов было у меня долгу, на остальные, конечно, не разойдешься, но все же поживу. Было бы истинным благодеянием, если бы ты могла в начале января повторить твой подвиг. Финансовые перспективы мои, а следовательно, и твои, таковы: работать регулярно я начал очень недавно, но если бы поднажать, можно бы кое-что подготовить для печатания. Но все существо мое этому противится. Очутившись вдали от редакционной толкучки, от бессмысленных рецептов, мне непреодолимо захотелось работать «по правилам». Я уверен, что смогу напечатать много вещей в 1928 году, но сроков никаких не знаю да и думать о них не хочу. Если вещи мои будут хороши, тогда редакторы не станут на меня сердиться за несоблюдение сроков, если они будут плохи, так о чем же тут толковать, что раньше, что позже — все равно... Очень меня беспокоите ты и мальчик. Если бы пьеса помогла всем нам продержаться до нового моего «урожая», то она целиком оправдала бы все мои на нее надежды. Возможно ли это, как ты думаешь? Пожалуйста, изложи твои соображения на этот счет, тебе виднее...

Давно я не имел от тебя писем. Как поживает мальчик? Неужели он все еще хворает? В существовании моем недавно произошел перелом к лучшему, я придумал себе побочную литературную работу, которую нигде, кроме как в Париже, сделать нельзя²⁹. Это душевно оправдывает мое житье здесь и помогает мне бороться с тоской по России, а тоска моя по России очень велика.

Пожалуйста, пришли мне еще материалов о пьесе, если они у тебя есть. Мы, помнится, заключали условие с Одессой и Баку и выговорили повышенные проценты; соблюдают ли они это условие?

Над чем ты работаешь в кино? Совершенно ли уже закончили картину? Не ленись, пиши. До свидания. Будь счастлива со чадами и домочадцами.

И. Б.

П. 16/XII-27.

149. Из Парижа — в Москву

Милая Тамара. Я знаю, как трудно посылать деньги из Москвы. Я сделаю все, что могу для того, чтобы избавить тебя от лишних хлопот. Знаменитый еврейский писатель Шолом Аш³⁰, приехавший из Америки, дал мне семьдесят пять

²⁹ В Париже Бабель знакомился с архивными документами по истории Французской революции.

³⁰ Шолом Аш (1880—1957), еврейский писатель, в то время жил в США.

долларов, их надо выслать в Москве. Сделай это, Тамара, немедленно, прошу тебя, если не хватит денег — достань где-нибудь. Деньги надо выдать следующим лицам: сто рублей — З. Гринбергу, Тверская, 44, кв. 32, пятьдесят рублей — В. Спиро, 2-я Обыденская, 9. Второй адрес возбуждает сомнения, я не знаю Обыденской улицы в Москве. З. Гринберг, впрочем, может дать точный адрес этой Спиро. Очень важно, чтобы это поручение было хорошо и быстро исполнено, тогда я время от времени смогу здесь получать у Аша деньги, это избавит тебя от необходимости бегать по бесконечным инстанциям. Письмо это надо бы отправить заказным, но теперь поздно, пишу в кафе, я думаю, что и так дойдет. Пожалуйста, не теряя времени, извести о выплате и прости за бесчисленные поручения. Когда-нибудь отслужу.

Я писал тебе о моих планах. Они отличаются большой неопределенностью, как, впрочем, и моя работа. У меня есть уверенность, что через несколько месяцев я снова смогу зарабатывать «текущей» моей литературой, пока же надо из этой несчастной пьесы высосать все, что она может дать для того, чтобы как-нибудь дожидаться более обильных времен. Конечно, никакому театру ее предлагать не нужно, отвечать следует только на предложения. Кто к тебе обратился? Сколько представлений выдержал «Закат» в Одессе и Баку? Собираются ли ставить еще где-нибудь? Не знаешь ли ты, как идут репетиции во 2 МХАТе?

Я, вероятно, пробуду здесь до осени. У меня затеяна большая работа, связанная с Парижем.

Экземпляр «Заката» получил. Он мне очень был нужен. Я написал еврейскому переводчику Бродскому о том, чтобы он мне переслал перевод. В Америке или в Польше с этим переводом можно было бы что-нибудь сделать, подзаработать немного денег, это теперь главная моя забота. Но Бродский не отвечает; адрес его: Тверской бульв., 7, кв. 1. Узнай, сделай милость, живет ли он еще на прежней квартире и получил ли он мое письмо.

Доверенность в случае надобности я смогу заверить в здешнем консульстве и послать тебе.

Что говорят тебе в Валютном Управлении? Есть ли надежды на январь? Сообщаю тебе телефоны Галины Серебряковой: 5-91-45, 3-49-24. Узнай у нее, не сможет ли она помочь?

Что с Мишей? Бедный мальчик, ему не везет... Нельзя ли его сфотографировать? Я не вижу его, он растет без меня, хотя бы мне по карточкам следить за ним... Я больше не могу писать, меня терять, скоро напишу еще. Жду от тебя известий. Я много думаю о тебе и так хорошо, как только могу.

П. 22/ХII-27.

И.

Прилагаю записку Ш. Аша Гринбергу.

150. Из Парижа — в Москву

Милая Тамара. Ты, вероятно, получила два моих письма. Очень хорошо сделала, что дала Бродскому деньги на перепечатку пьесы. Может быть, мне удастся всучить ее евреям, м. б., они заплатят деньги. Я не знал, что «Новый мир» выслал тебе так мало денег. Нечего сказать, не балую я тебя. Но и мне не лучше. Что же делать, я совсем не писатель, как ни тружусь — не могу сделать из себя профессионала. Мне невыносимо думать, что вы сидите без денег. Буду писать, буду стараться изо всех сил. Очень прошу тебя занять у кого-нибудь деньги, приложить все усилия для того, чтобы выслать деньги по поручению Аша. Тут последний шанс на благополучие держится на самой тонкой ниточке. Я думаю, что в январе Модрик даст деньги, это, конечно, в том случае, если постановка во МХАТе все сомнений. Какого ты мнения на этот счет? Если же постановка состоится, то, может быть, она на три-четыре месяца жизни даст денег. Я думаю, что на «несозвучную» пьесу нельзя возлагать больших надежд в денежном смысле, но неужели она ничего не даст? Делает ли пьеса какие-нибудь сборы в Одессе и Баку? Я буду стараться, Тамара, я знаю, как это нужно, но трудно продать первородство за чечевичную похлебку.

Дети опять хворают, что же это такое? Почему бы это, не забросила ли ты их совсем, они, может, без призора, уходят на улицу, простужаются? Учится ли Татьяна, есть ли у нее охота к учению?

Я знаю, что человек легче всего дает советы, но мне так хочется, чтобы тебе жилось полегче, что трудно противостоять искушению. Тебе на фабрике надо работать как можно ревностней, изо всех сил, — работа очень интересная и может очень помочь душевно. Очень это хорошо, что у тебя есть способности к монтажу, — это удивительная, захватывающая работа.

Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам этим и скучным

людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней и работаю для нее.

Как поживают Лившицы? Они мне почему-то не ответили на мое письмо. Не забудь о моей просьбе — сфотографировать Мишу, если к этому представится возможность.

Скоро Новый год. Будем пытаться жить спокойно и мужественно. Всей силой моего сердца я желаю тебе «со чадами» счастья.

И.

П. 26/ХІІ-27.

Переписка моя с Исааком Эммануиловичем принимала совсем невразумительный характер. Письма не совпадали с ответами, потому что и он и я писали в большинстве случаев по ходу событий, а не по ходу переписки. К тому же Бабель никак не хотел взять в толк, что в моей жизни занял очень большое место Всеволод. Так, например, я не могла посещать репетиций «Заката», ибо Всеволод посчитал бы это предательством с моей стороны.

А мне хотелось посмотреть эти репетиции, ведь «Закат» был в какой-то мере и моим детищем. Он писался в «мое время», о многом Бабель со мной советовался, да я же и передиктовывала конечный вариант.

Но передо мной стоял нешуточный выбор, и я его сделала.

151. Из Парижа — в Москву

Милая Тамара. Выплатила ли ты деньги по поручению Аша? Это очень важно, и, главное, важна в этом деле аккуратность. Если это первое поручение, первый блин, выйдет комом, тогда я не смогу продельвать такого рода операции. Если ты получишь деньги из Модпика, то заплати еще 60 рублей Ассе Полонскому, Тверской бульв., 9, кв. 15. Эти 60 рублей тоже мною получены. Я здесь прилагаю все усилия для того, чтобы освободить тебя от этого тяжелого и гнусного труда — посылки денег за границу. С нетерпением жду от тебя сообщения по поводу всех этих несчастных дел. В каком положении счет с Модпиком? Есть ли надежда, что «комсомольский»³¹ фильм увидит экран? Выучилась ли ты как следует монтажу? Мне кажется, что это превосходная, увлекательная работа. Заклинаю тебя, не бросай ее, не бросай дела на полдороге, не уходи с фабрики, п. ч. последствия этого шага будут для тебя неисчислимо губельны. Я это чувствую. В нынешней моей жизни меня согревает то, что ты пишешь мне дружеские письма. Это легкое дело — желать другому добра, я верю всем сердцем, что еще пригожусь тебе в жизни и помогу. Всеволод, конечно, трудный человек. Ты знаешь мое отношение к нему. Оно ни в чем не изменилось. Мы с тобой очень худо жили, нам бы надо отдохнуть. Меня терзает мысль о том, что отдыха тебе не будет. Ты выбираешь пламенных, мучительных людей. Я пишу тебе об этом, решаюсь давать советы — легчайшее из человеческих даров, п. ч., мне кажется, твои письма дают мне на это право. Тебе нельзя сбиваться с самостоятельного твоего пути, до последней степени нельзя. Полагаясь только на себя — худо ли, хорошо ли, — прожить можно. Так я думаю.

Со всех сторон мне сообщают, что 2 МХАТ разваливается, что никакой постановки там не будет, что никаких денег мы не увидим. Не худо бы тебе побывать на репетициях, если только они происходят. Если хочешь, я напишу в этом смысле письмо Берсеневу или Чехову?..

Очень хорошо, что мальчик здоров и гуляет. Сделай милость, сфотографируй его. Ты, небось, совсем нищенствуешь. Право, я заработаю денег, ждать осталось не особо долго. Говорят, у вас суровая, снежная зима? Я скучаю об зиме, по родине... Мальчик — хорошо ли он ходит? Изменилось ли его лицо? Ну, до свиданья.

И. Б.

П.10/І-28.

Я не утаивала от Всеволода ни того, что переписываюсь с Бабелем, ни того, что занимаюсь бабелевскими делами. Но по мере развития наших с ним взаимоотношений Всеволод все больше и больше ревновал меня к Бабелю. Ревновал не только к моему прошлому, но и к настоящему, подозревая, что я все еще люблю Бабеля. А Бабель, игнорируя мои признания (возможно, считая их «игрой»), продолжал писать мне так, как будто я все еще неразрывно с ним связана.

При монтаже картины «Китайская мельница» я принципиально разошлась во взглядах с режиссером Левшиным и даже попросила снять мою фамилию как

³¹ Фильм назван «комсомольским» потому, что сценарий «Китайской мельницы» («Пробная мобилизация») создавался по сюжету, взятому из фельетона «Комсомольской правды».

ассистента с титров. Уйдя с кинофабрики, я сразу же получила работу в драматических кружках.

Бабелю я продолжала писать обо всем. Но он отвечал мне как-то помимо моих писем, делая из них не вполне понятные выводы, скажем, о моей работе.

152. Из Парижа в Москву

Тамара, если бы тебе удалось выплатить Полонскому 60 рубл., это избавило бы меня от стыда. Больше никаких поручений к тебе нет. Ольшевцу я придумаю, что написать. Стыдно, что я ничего им не послал, но ужас моей жизни заключается в том, что мне не хочется работать и, вернее, совсем не хочется работать.

Письмо от тебя грустное. Грустнее всего то, что ты потеряла работу. Не знаю, что и сказать. Если бы я хоть работал, чтобы исправить наше материальное положение, но, право, делаю, что могу... Пиши, пожалуйста, пиши, не оставляй меня без всяких известий.

Что с Воронским, в Москве он или уехал?
12/1-28.

И. Б.

К Всеволоду я относилась абсолютно серьезно, поэтому, когда он поставил передо мной ультиматум — или я прекращаю заниматься бабелевскими делами, или он порывает со мной, — я согласилась отказаться от бабелевских дел, о чем и известила Исаака Эммануиловича.

153. Из Парижа в Москву

Тамара.

В Центросоюз³² написал. Думаю, что они больше тревожить тебя не будут. Обождая один день, позвони Ольшевцу. Я отправил ему сегодня письмо, просил продлить командировку.

Я поручил Зозуле выплатить деньги Полонскому. Зозуля позвонит тебе, чтобы узнать, не заплачены ли уже деньги. Ты приписываешь мне мысль о том, что я тебя «обеспечил». Такой мысли у меня нет. Разве только в припадке умопомешательства я мог бы написать такой вздор. Я превосходно осведомлен о том, какой моральный и денежный долг есть у меня в отношении тебя и Мишки. Я рассчитываю на то, что придет день, когда я смогу заплатить этот долг.

Ты нашла нужным сообщить, что Всеволод запретил тебе разговаривать обо мне. Удивительное это сообщение — совершенная для меня новость. Если бы шальная мысль о том, что ты посвящаешь Всеволода в плачевные мои дела, могла бы взбрести мне в голову, я, конечно, воздержался бы от дачи тебе каких бы то ни было поручений.

Я напишу Лившицу и попрошу его заняться моим долгом фининспектору.

Жду карточки. Очень буду рад, если получу ее. От всего сердца желаю тебе получить работу.

П.26/1-28.

И. Бабель

Бабель ответил мне обиженно и, в общем-то, крайне несправедливо. Во-первых, он сам, обращая ко мне с просьбой о высылке денег, писал: «Всеволод может дать тебе совет...». Во-вторых, как же он представлял себе мои отношения со Всеволодом (о которых я не раз писала ему), если ему показалась «шалльной» мысль о том, что я рассказываю Всеволоду о своей переписке?!

Все это я ему и изложила, изо всех сил постаравшись, чтобы он, наконец, правильно меня понял. На что опять пришел обиженный ответ.

154. Из Парижа — в Москву

Право, Тамара, было бы подло с моей стороны сердиться на тебя. Как я ни выискиваю виновных, но нахожу только самого себя — единственного виновника моих злоключений. Правда, иногда я совершаю промахи не по злобе, а по недомыслию. Я не сумел вовремя догадаться, что не следует отягощать тебя моими обращениями. Если сможешь, пришли карточку. Я теперь главным образом хочу заняться устройством ужасных, непереносимых моих материальных дел.

П.2/II-28.

И.

Для Исаака Эммануиловича, видимо, мало что изменилось в наших отношениях, которые с самого начала носили для него скорее «письменный», чем какой-либо другой характер. Поэтому, наверное, он и продолжал писать мне так, как будто ничего не изменилось, и все еще тянутся наши давние разногласия и пререкания...

³² Имущество Т. Б. Ивановой было описано, т. к. Бабель задолжал Центросоюзу.

155. Из Парижа — в Москву

Тамара. Хоть убей, не помню, что было для тебя обидного в моем письме. По правде сказать, после твоих сообщений я совсем растерялся и не знал, должен ли я тебе писать, не доставят ли тебе мои письма новые огорчения, в которых как будто особенной нужды нет... Я не знал, в каком тоне следует мне писать, может, от этого чувства неловкости, растерянности письмо приняло дурной, неестественный характер, прости меня, если это так.

Я с Ольшевцем заключил договор, по которому мне до 1/1-29 ежемесячно будет выплачиваться по 200 р. и Мишке по 100 р. Теперь есть надежда, что будем сыты, а то в Париже я попросту недоедал, никогда не терпел такой нужды. С долгами подступили к горлу, у меня их на несколько тысяч рублей, долги вопиющие, неотложные. Посмотрим, даст ли «Закат» что-нибудь. Никогда я с большим отвращением не относился к этой пьесе, и разнесчастному, и надоевшему детищу, чем теперь. Вероятно, в марте уже выяснится, даст ли «Закат» что-нибудь в смысле материальном. Нет для меня сейчас большего счастья, чем заплатить долги да и тебе послать некоторую сумму для покрытия прошлых прорех — и для того, чтобы вы как-нибудь получше провели лето.

Я думаю, что усилие, которое я делаю сейчас для того, чтобы выпрямить мою жизнь, есть в то же время усилие, направленное к улучшению Мишкиной жизни. И кто знает, не во имя ли его это чудовищное, почти непереносимое усилие... Я не хочу толковать об этом, слов мною наговорено довольно, пора бы дела показать, об этом я теперь только и думаю, и, может, и покажу... Но ты сделай истинную милость, скажи, посоветуй, что я могу сделать для Мишки сейчас, в нынешнем моем положении, т. е. до возвращения моего в Россию? Посоветуй, я никогда этой услуги не забуду...

До свиданья. Не сердись на меня. Мне живется трудно. Я хочу привести себя в такое состояние, чтобы я мог быть вам полезен, тебе и Мишке.

2/III-28.

И. Б.

Когда-то, в начале наших взаимоотношений, я совершенно превратно читала письма ко мне Исаака Эммануиловича. Теперь мы поменялись ролями. Я усиливалась втолковать ему, что люблю Всеволода и Всеволод любит меня. Что мне не нужно его, бабелевское, «обеспечение», его денежная помощь. Что я ценю его дружбу, но прошу перестать писать о деньгах. И, наконец, что, если он не возражает, я хочу обменять комнаты. Ответ Исаака Эммануиловича ни с чем из того, что я писала ему, не сообразен.

156. Из Парижа — в Москву

Тамара. Я хворал гриппом, вообще здоровье мое все время плохо, потом уехал в деревню поправляться и работать, благо комнату дали даром. Приехал вчера на день в Париж, получил твои письма. Я телеграфировал тебе с почты, не мог написать ни одной строчки. Не хочу говорить, как я живу — вот с твоими жгущими письмами в кармане, что чувствую, — довольно об этом. Ты сердись на меня, что я все толкую о деньгах, о деньгах, но, по-моему, только устройство наших дел, установление какого-нибудь бюджета поможет нам сохранить достоинство в наших нынешних обстоятельствах. Я отказываюсь верить тому, что ты написала в последнем письме, — что отказываешься от каких бы то ни было деловых разговоров со мной, от каких бы то ни было денег. Не надо этого делать, Тамара, не надо добивать меня и себя.

Мое доверенное (в материальном смысле) лицо — Анна Григорьевна³³. Она должна была несколько дней т. н. получить в Модпике деньги для частичной расплаты с долгами, для посылки тебе и мне. Надеюсь, что она это уже сделала. Я телеграфировал ей вчера для того, чтобы она ускорила все эти операции. Я и без твоего напоминания понимал и чувствовал, что тебе противно иметь дело с какими бы то ни было посредниками. Поэтому задолго до твоего письма я просил ее послать тебе деньги просто почтовым переводом. Без ее совершенно формального, канцелярского, что ли, посредничества никак не обойтись, ведь должен же кто-нибудь делать за меня все это, — тебе я доверенность побоялся послать, чтобы не наслать на тебя лишних огорчений. Никто, кроме нее, тебе впредь денег посылать не будет, и тебе никого не придется видеть по этому поводу, ей ничего ведь не стоит выполнить мою просьбу и посылать почтовым переводом.

Я не совсем понял, что ты мне написала о комнатах, как это ты собираешься выезжать. Комнаты эти принадлежат тебе, ты должна извлечь из них возможную пользу. Если у тебя снова затруднения — напиши мне, я попрошу Ингулова³⁴, нынешнего редактора «Нового мира» и давнишнего моего приятеля, помочь тебе. Он это сделает, и это не будет унижительно.

Теперь обо мне или, вернее, о мальчике. Только мысль о нем, сознание

³³ А. Г. Слоним.³⁴ Ингулов С. Б. (1893—1939), журналист, партийный работник, критик. Бабель был знаком с ним еще в начале 20-х годов в Одессе.

того, что он существует, дает мне силы делать то, что я делаю, — быть в изгнании, в уединении, работать и готовить мой приезд — достойный приезд, без шума, без унижений, без суесть. Ты можешь мне не верить — я делаю для него все, что могу. Я хочу отвоевать у беды еще несколько месяцев, и тогда наступит черед дел, и я смогу придти к тебе и сказать, что у меня есть за душой и что я должен сделать. Если я молчал до сих пор и молчу, то только из уважения к тебе, из чувства горького нашего товарищества, я не хотел унижать тебя, морочить, путать словами, чувствами, жалобами, в которых нету силы, действия, твердости, окончательности. Не осуждай меня за это, Тамара, и давай додержимся до лучших времен, — почему не верить, что они наступят. Но только если с мальчиком случится что-нибудь худое, — тогда, я думаю, нам счастья никогда не будет. Что с ним? Почему он захворал? Что это значит — ему лучше? Как твоя нога? Пиши мне, прошу тебя, пиши.

1/IV-28.

И. Б.

Правда, письмо это является ответом на несколько моих писем, полученных им сразу.

Кроме приведенных выше просьб: не писать о деньгах, не посылать их ни через кого и т. д. — я сообщала еще, что Миша заболел мастоидитом и его положили в больницу, куда пришлось лечь с ним няне, Марии Егоровне, потому что в это же самое время я попала под трамвай. Вернее, попал под трамвай извозчик, на котором я ехала, и перевернувшаяся пролетка придавила мне ногу, раздробив кость в щиколотке, что, естественно, приковало меня к постели.

Не успел поправиться Миша, как заболела scarлатиной Таня. Я жила в коммунальной квартире, где были и другие дети, кроме моих. Пришлось положить Таню в больницу. В тяжелую минуту дружеское участие очень уместно и приятно. Но бабелевская риторика «надо спасать детей» была мною воспринята не как проявление заботы и участия, а как «отписка». Вероятно, я была несправедлива к нему. Он, конечно, сочувствовал мне и беспокоился о Мише, но выражал свои чувства как-то очень уж неподходяще к случаю и совсем вразрез с тем, что я ему писала.

157. Из Парижа -- в Москву

P. 27/IV-28

Я никогда не спрашивал у докторов, но думаю, что у меня плохой обмен веществ. Миша это унаследовал. Если он унаследует еще твою нервную систему, то это, как говорят французы, будет «complet». Я никогда не хотел «продолжать себя» в потомстве, я с ужасом думал о том, что могу передать моему сыну то, с чем мне так жестоко приходится бороться. Надо думать, что худшие мои предположения оправдались. Но унывать нечего, надо защищаться. Мне кажется, что пройдет несколько месяцев, я поработаю, залечу многие глупости, сделанные мною, и смогу быть истинно полезен тебе и Мишке. Если бы я теперь приехал в Россию, это было бы еще ужаснее моего отъезда и никому никакой пользы не принесло бы. Напасти, сыплющиеся на тебя, превосходят силы человека. Я теперь безоружен, и помощь моя ничтожна. Я был бы счастлив, если бы смог хотя бы не мешать тебе жить хорошо. Поверь, Тамара, и мне трудно живется, но это вздор, который можно преодолеть. Я еще не утратил веры в то, что мы выправимся, если найдем в себе хотя бы немного спокойствия, терпения и внутренней гордости. Впрочем, это, кажется, начинаются советы... Тебе с ними нечего делать... Я знаю, что дети часто хворают, но болезни Миши и теперь Татьяны неисчислимы, непрерывны, смертельны. Как ты думаешь, Тамара, может, тут дело не только в том, что они подвержены заразе, может, это квартира зараженная или они гуляют мало, не закаляются?.. Право, тут не знаешь, что думать.

Денежные мои дела очень плохи и, боюсь, до конца года не поправятся. В апреле было несколько сот рублей, которые можно было внести Центросоюзу в счет долга, но я подумал, что тебе деньги нужнее, чем Центросоюзу. Получила ли ты триста рублей и потом сто пятьдесят? Я просил Анну Григорьевну отправить тебе эти деньги немедленно. Может быть, удастся внести в начале мая рублей 250 Центросоюзу, а может, и не удастся. Денег у меня как будто в Москве никаких теперь нет. Я снова написал в Центросоюз, может быть, внемлют. История с мебелью³⁵ чудовищна. Как это ты додумалась давать за меня гарантию, чего стоит в смысле денежного обязательства твоя гарантия, на какой черт она им сдалась и что они могут за эту несчастную мебель выручить?.. Я думаю, что до продажи мебели не дойдет, это нелепо, и они разрешат мне рассрочку.

Я ложаю себе голову над тем, как бы добыть еще денег, хотел бы начать халтурить, но не могу, как ни бьюсь, не могу.

Ты пишешь мне редко, неизвестность страшна. Я много раз брался за перо,

³⁵ Описанной за долги Центросоюзу.

чтобы писать тебе, но потом откладывал, — боюсь, что тебе неприятно получать от меня письма. Надо бы забыть обо всем этом, надо спасать детей... Мне стыдно это говорить, мне, который ничего для этого не делает, но я ничего и не могу сделать. До свиданья. Нет такого дня и такого часу, когда бы я не думал о вас и по-своему, по-дурацкому, не молился бы за вас, но вот бога нет, которому можно бы помолиться.

И. Б.

158. Из Парижа — в Москву

Тамара. Твое последнее письмо обрадовало меня. Не бог весть какие радостные вещи в нем содержатся, но все же хоть на этот раз нет ужасных этих неожиданных несчастий. Очень жалею Таню. Мне кажется, что осложнения на суставы — скоропреходящи, об этом много приходится слышать, и у всех улаживается. «У людей все как у людей», а тут из кулька в рогожку, из осложнения в осложнение. Ну, да выздоровеет она, — одной болячкой на счетах будет меньше, скарлатина, кажется, не возвращается. Скажи на милость, почему это у мальчика все время течь из уха? Разве это имеет какое-нибудь отношение к болезни обмена веществ? Думаю, что никакого отношения, так откуда это? Надо бы мне повидаться с ним... Ну, да passons.

Денежные твои дела повергают меня в отчаяние, и есть, от чего придти в отчаяние. Боюсь, что в мае я никаких денег не раздобуду. Вообще же и ближайшие три-четыре месяца будут месяцами лишений, зная это — как тут быть? Я работаю недавно, в форму вхожу трудно, с маху стоящую книгу не напишешь, по крайней мере я-то не напишу... Что же ты будешь делать и где достанешь нехватящие деньги? Теперь-то ты ничего заработать не можешь, а есть ли по крайней мере шансы какие-нибудь? Бедная ты, работа прервалась, я знаю, как трудно наладиться вновь... Может, мне стоит написать что-нибудь Ингулову (нынешнему редактору «Нового мира»), — он, может, по старой дружбе окажет какую-нибудь протекцию?..

Я просил Анну Григорьевну из первых денег, из каких угодно денег внести хоть небольшую сумму Центросоюзу, чтобы заткнуть глотку и отвести от тебя и меня эту унизительную угрсзу. Очень хорошо, что дело отложили до 2 августа³⁶, — до этого времени часть долга заплатим.

Буду теперь раскидывать мозгами, как бы в эти три-четыре скудных месяца заработать сверх комплекта.

Ну что же, Тамара, дай тебе бог и все ангелы его покояствия. Не сердись на меня, если я пишу дурно. Это значит, что я думаю лучше и сердечнее, чем пишу.

П.5/V-28.

И. Б.

Я обещала Всеволоду не заниматься делами Бабеля и не брать у него денег, а Бабель нет-нет да и посылал тем или иным способом какие-то деньги, отчего Всеволод приходил в полное неистовство. Хотя мы со Всеволодом продолжали жить врозь, он приходил ко мне ежедневно и проводил большую часть времени у меня, так что все происходящее в моей квартире происходило на его глазах.

Конечно, я не показывала Всеволоду писем Бабеля, да он никогда и не стал бы их читать, но я ему (таков уж мой характер) обо всем рассказывала, что подливало масла в огонь его ревности.

Вероятно, разумнее всего было тогда же прекратить переписку с Исааком Эммануиловичем. Но я этого делать не желала. Мне нравилось воображать, что за тридевять земель, как он писал, у меня есть верный друг. Вот я и убеждала Всеволода, что мы с ним должны предоставлять друг другу свободу. Хотя бы такую относительную, как «право переписки» с кем угодно.

С Бабелем я жаждала совместной жизни, а он бежал от нее. Всеволода же я, наоборот, уговаривала, что наша с ним любовь должна быть «отделена от жизни». Я доказывала ему, что нам не надо съезжаться под одной крышей.

У меня — дети. У него родилась дочь. Чем больше я отказывалась съехаться со Всеволодом, тем большую это вызывало в нем ревность. Ревность вообще, а главным образом к Бабелю. Поэтому упорное стремление Бабеля «обеспечивать» меня материально все время держало Всеволода в состоянии, близком к взрыву...

160. Из Парижа — в Москву

Париж, 7/VII-28.

Прости, Тамара, что так долго не писал. Причина этому — нездоровье, не такое, чтобы лежать в постели, а похуже — болезнь нервов, частая утомляемость, бессонница. Я, по правде говоря, мало трудился на моем веку, больше

³⁶ Центросоюз подал на Бабеля в суд за просроченные авансы.

баловался, а вот теперь, когда надо работать по-настоящему, мне приходится трудно. 13-го мальчик именинник. Я о нем думаю непрестанно, ежечасно. Очень тягостно это положение, когда ничем ему не помогаешь, а скорее вредишь... Но я верю, что смогу заплатить, хотя бы ему, душевный мой долг.

Если Анне Григорьевне удастся получить для меня в этом месяце какие-нибудь деньги, она кое-какие гроши пошлет и тебе. Истинно гроши, но ты знаешь, у меня теперь нет денег. Собираюсь поехать на некоторое время к матери в Брюссель; м. б., поселюсь с ней в приморской какой-нибудь деревушке; там, говорят, жизнь очень дешева, а это для меня важное соображение.

Ты обещала мне прислать карточку Мишки. Ты окажешь мне громадное благодеяние, если исполнишь это обещание и вообще напишешь о нем, ты очень хорошо это делаешь.

Работаешь ли ты?

До свиданья. Постараемся как можно лучше прожить новый год³⁷ нашей жизни.

И. Б.

Получил несколько писем от Горького. Он просит меня приехать, обещая, что устроит у себя, что у него тихо, можно работать и расходов никаких не будет. Я бы хотел поехать, но пока нету денег на дорогу. Если раздобуду, напишу тебе и сообщу адрес.

И. Б.

Но все это было отодвинуто для меня на второй, если не на третий план. На первом плане была Танина болезнь. Скарлатина, давшая сперва осложнение на суставы, потом осложнилась мастоидитом. Потребовалась трепанация черепа, после которой начался общий сепсис.

Продолжая переписку с Исааком Эммануиловичем, я, разумеется, писала ему и о ходе Таниной болезни.

161. Из Парижа — в Москву

Париж, 22/VII-28

Где тонко, там и рвется. Я, кажется, писал тебе о своей болезни, о том, что работать я не в состоянии, с великим трудом волочу «бремя дней». Ты сама можешь судить, как это все кстати. Я серьезно подумываю о том, чтобы центр тяжести моей жизни перевести из литературы в другую область. У меня всегда было так: когда литература была побочным занятием, тогда все шло лучше. С такими требованиями к литературе, как у меня, и с такими ограниченными возможностями исполнения нельзя делать писательство единственным источником существования. В России я все это перемену. Завтра еду в Брюссель, повидаться с матерью и сестрой, пожить там, если будет к тому возможность, потом вернусь на короткое время в Париж и отсюда уеду в Россию. Только там я смогу снова стать «ответственным» за свои поступки человеком, сочинить какой-нибудь план жизни. Ты не знаешь, как мучает меня мысль о Мишке, но что болтать попусту до времени, до того времени, когда и я смогу сделать что-нибудь!.. Подала ли Анна Григорьевна признаки существования? Я просил ее послать денег, сколько может, тебе, кое-какие вещи Мишке. Не знаю, была ли у нее возможность выполнить мою просьбу. Я был так плох все последнее время, что совсем забросил мои денежные дела, и они обстоят так, что лучше об этом не говорить. Все же насчет Центросоюза я сделал распоряжения, которые должны их удовлетворить.

Сообщение твое о Тане ужасно. Что такое случилось, почему такая страшная болезнь? Объясни мне, очень прошу. Я не могу сказать всех слов, которые у меня на сердце, и как страстно я хочу ее выздоровления.

Мишка совсем стал похож на тебя, поразительно похож. Будет по крайней мере красивый человек. Может, к этому приложатся и другие хорошие качества... Но, правда, я смотрю на карточку, — совсем ты... Он удивительно мил...

Я тебе сообщу из Брюсселя мой адрес. Я верю в то, что Таня поправится, я не могу думать иначе.

И. Б.

162. Из Бельгии — в Москву

Панн, 6.8.28

Тамара. Отношения мои с «Новым миром» не таковы, чтобы я мог обратиться к ним с просьбами. У меня нет основания думать, что просьба моя будет

³⁷ Бабель отсчитывает от дня Мишиного рождения.

уважена³⁸. Ничтожная вероятность успеха (а м. б., я слишком пессимистичен — не знаю) есть только в том случае, если ты сама пойдешь с моим письмом к Полонскому (он, оказывается, снова редактор). Напиши мне, пожалуйста, что ты об этом думаешь!

Прости меня за огорчения, которые доставляет тебе, ни в чем не повинной, дело с Центросоюзом. Я не могу платить им быстрее, чем плачу. Постараюсь, не путая тебя в это дело, внести до 28/IX еще немного денег.

Как здоровье Тани? Об этом очень прошу тебя написать. Я гощу теперь у сестры и матери, невесело здесь. Сестра очень больна, хронически, мать от этого всегда грустна; муж у сестры тишайший человек, но тоже хилый, чуть дунешь — рассыпется. Пробуду с ними до 15-го, потом поеду в Брюссель и 25/VIII рассчитываю быть в Париже. Письма свои ты так и можешь рассчитать.

В Москве вы или за городом? Мне очень грустно оттого, что я не мог послать вам денег нынешним летом, но у меня их нет и не скоро они будут. Все же я думаю, что по приезде в Россию я могу быть вам полезнее, чем теперь. Мишка еще мал, у меня одна надежда — выправиться и выпрямиться до тех пор, пока он станет соображать. В работе моей был большой перерыв, вызванный переутомлением, — я снова стараюсь работать, но, к сожалению, мозги мои все еще не в «форме».

Как твоя нога? Все ли прошло? Я боюсь писать тебе подробнее, п. ч. не знаю, что с Таней.

И. Б.

Таня поправилась. Успокоившись относительно ее здоровья, я согласилась поехать со Всеволодом в Среднюю Азию. Поездка поначалу была очень приятной, но Всеволод так ревновал меня к каждому встречному и поперечному, что в конце концов я была рада-радешенька вернуться домой и окончательно утвердилась в решении не съезжаться с ним. Мой отказ начать совместную жизнь Всеволод воспринимал как стремление к «свободной», т. е. неподвластной ему жизни. Я так умучилась его ревностью, его недоверием, что, хотя он, несомненно, сразу стал (и таким навсегда и остался) «человеком моей жизни», я тогда предложила ему расстаться.

Расставшись со Всеволодом, я с головой ушла в работу. Получила самостоятельную постановку в Районном оперном театре. И хотя это было не столько даже дерзостно, сколько нахально — браться ставить оперу, будучи немusыкальной, я за неимением лучшего взялась и с честью вышла из этого испытания. Но в то время, когда я только начинала свою режиссерскую деятельность, домоуправление предъявило мне иск об изъятии у меня одной из комнат, мотивируя свое требование тем, что прописанный в этой комнате Бабель отсутствует больше года и, следовательно, потерял право прописки.

Когда я изложила эти обстоятельства в письме к Исааку Эммануиловичу, он, как и повелось в нашей переписке (то ли я невнятно писала, то ли он невнимательно читал), опять все понял превратно, решив, что «нас выселяют», а также проявил и полную свою оторванность от жизни, полагая, что может «нотариально уступить нам комнаты».

Я же его просила или получить у Полонского (редактора «Нового мира») справку о том, что он находится в командировке, или же выслать мне из Парижа заверенную в посольстве справку, что он возвращается. Объяснила, что мне это нужно всего лишь для отсрочки, пока я не получу удостоверение, что мне как режиссеру полагается дополнительная жилплощадь.

Хотя Исаак Эммануилович сути дела не понял, он все же приложил к своему ответному письму «официальную» просьбу, заверенную в полпредстве, «сохранить за ним комнату». Это было, однако, совершенно непригодно, потому что адресовал он свою просьбу не домоуправлению (как я просила), а мне же самой.

163. Из Парижа — в Москву

Париж, 10.9.28

Тамара. В Россию я приеду в начале октября. Первый этап будет Киев, а где жить буду, — не знаю. Оседлости устраивать себе не собираюсь, буду кочевать где придется. Очень рассчитываю на то, что смогу послать вам из Киева немного денег. Нечего и говорить о том, как меня мучают материальные ваши дела. Я много думал и решил, что обращаться с просьбой к Полонскому не стоит, — не исполнит. И вообще насчет квартиры надо принять окончательные меры. Приезда моего не утаишь, в Москве я жить не буду, как это все делается? Посылаю письмо с заверенной подписью, но это, конечно, пустяки, оно может дать отсрочку на месяц-другой, а дальше как быть?.. Во мне теплится надеж-

³⁸ Речь идет о предоставлении справки, что Бабель находится в командировке. Справка была нужна, чтобы его не выписали с жилплощади.

да, что выселить вас не могут, за вами ведь уже право давности немалое, но все-таки посоветуйся с юристом о том, что я могу сделать, когда приеду в Россию, может, мне надо будет составить нотариальное заявление об уступке вам комнат, дальше считать эту «площадь» за мной, наверное, не удастся.

Я возвращаюсь, состояние духа у меня смутное. Работать столько, сколько бы надо, не умею, мозги не осиливают. Я чувствую, впрочем, что житье, вольное житье в России принесет мне много добра, выправит и выпрямит меня. Я считаю сущими пустяками (и скорее хорошими, чем дурными) то, что я не печатаюсь, не участвую в литературе. Чем дольше мое молчание будет продолжаться, тем лучше смогу я обдумать свою работу, только бы, конечно, с долгами развязаться и на прожитые зарабатывать.

Бедная Таня, она не идет у меня из головы. Из писем твоих я не понимаю, какая же у нее болезнь... Бедная, милая девочка. Кланяйся Мишке. Приближается то время, когда мы с ним увидимся — если ты этого захочешь, конечно. Мне трудно и больно писать, п. ч. до поры до времени я бессилён доказать вам страстную мою готовность помочь, быть полезным, дружественным вам человеком.

И. Б.

Копия

164. Париж, 30.8.28

Уважаемая Тамара Владимировна.

Работа моя в Bibliothèque Nationale по изучению архива Французской революции задержала меня в Париже гораздо долее, чем я предполагал. Надеюсь, что в течение ближайшего месяца-двух я эту работу закончу и смогу вернуться домой. Очень прошу Вас сохранить за мной комнату и защищать ее от всяких посягательств.

И. Бабель

Полномочное Представительство СССР во Франции удостоверяет подлинность подписи И. Бабеля.

п.п. Секретарь Полпредства: Л. Гельфанд
Париж, 8-го сентября
1928 г.

Мне удалось отсрочить жилищный суд. Тем временем Бабель вернулся в СССР³⁹.

165. Из Парижа — в Москву

Париж, 21.9.28

Тамара. Выехать я собираюсь отсюда первого октября. В Киев, который будет первым моим этапом, приеду числа шестого-седьмого (хочу на два дня остановиться в Берлине). Из Киева немедленно сообщу тебе мой адрес. В литературных или начальственных кругах возвращаться не собираюсь, хотелось бы пожить в тишине. Я радуюсь тому, что в России я смогу быть тебе полезнее, чем сейчас, когда я и сам бессилён, безденежен и вообще не в авантаже.

И. Б.

166. Из Киева — в Москву

Писать мне лучше всего по адр.: Киев, Главн. Почтамт, до востребования.

Киев 24/X — 28

Тамара. Получила ли ты из Шепетовской таможни посылку для Миши? Ее надо было оплатить пошлиной, поэтому она задержалась на границе. Я послал тебе отсюда флакон духов и одеколона. Прости, что так мало. В Париже мне не на что было покупать, никаких денег не было, да и провезти нельзя. В Киеве я пробуду еще недели две-три, потом поеду в какое-нибудь захолустье работать. Куда поеду — еще не знаю. Противоположения Парижа и нынешней России так разительны, что я никак не могу собраться с мыслями, и душа от всех этих рассеянных мыслей растерзана. Старюсь, как только могу, привести себя в форму. Послал тебе 200 рубл. Получила ли ты их? Хотя я дал себе зарок зарабатывать как можно меньше, жить на отшибе и бедно, но я страстно хочу, чтобы вы ни в чем не нуждались, и буду делать в этом направлении все, что могу.

Как твои дела? Как здоровье детей?

Преданный вам

И. Б.

³⁹ Бабель выехал в СССР 1 октября 1928 г.; после заезда в Берлин и Варшаву приехал 15 октября 1928 г. в Киев.

167. Из Киева — в Москву

Киев, 1/XI — 28.

Тамара. С бедным Мишиным костюмчиком черт знает чего делают. Вдруг оказалось, что для его получения требуется разрешение на ввоз. Я распорядился Шепетовской таможене послать его в Москву, в таможеню, для тебя. Тебе объяснят, что там нужно сделать. Пошлину придется тебе уплатить. Я в начале будущей недели пошлю тебе немного денег, ты из них и уплатишь (если не сможешь отбиться). Служащий местного отделения Совторгфлота по фамилии Блех уехал сегодня в служебную командировку в Москву. Он обещал позвонить тебе и надоумить, как надо действовать. Прошу тебя еще, когда вещи получатся, позвони от моего имени Пом. Нач. Главного Таможенного Управления Аркадию Петровичу Винокуру, расскажи ему всю эту идиотскую историю с детским костюмчиком, попроси о сложении пошлины и о выдаче без мучительных процедур. У меня есть основание думать, что он все это сделает. О результатах, пожалуйста, уведоми меня.

Не могу тебе сказать, как огорчают меня вести о твоём нездоровьи. Печень — с чего бы это? Я всегда думал, что это болезнь пожилых людей. Лечишься ли ты, поправляешься ли? Как здоровье Тани? Бедная девочка, как подумаешь, что с ней приключилось, — страшно становится. Изменилась ли она?

В каком клубе ты работаешь? Теперь, мне кажется, никакой работой не надо брезговать. Я знаю, что очень трудно сохранить достоинство, когда нету денег, когда надо клянчить, бегать, биться, унижаться. Я решил сам зарабатывать как можно меньше, — это хорошее решение, но тебе буду посылать сколько смогу, п. ч. я хочу, чтобы это самое достоинство, независимость ты сохраняла, чтобы жизнь ваша была сколько можно легка, независима, достойна, чтобы и ты смогла подумать о душевной, хорошей, а не халтурной работе. Я верю, что дружбу нашу, если ты сможешь мне быть другом, я никогда не предаю, никогда.

Преданный вам И. Б.

К этому сроку истекла отсрочка суда, а м. б., и домоуправление поторопилось, прознав, что Бабель вернулся в СССР, но не в Москву. Я написала Исааку Эммануиловичу, что прошу его приехать на день-два для возобновления прописки. Он ответил отказом.

168. Из Киева — в Москву

Киев, 13/XI — 28.

Прости, Тамара, я не могу приехать в Москву. Знаю, что ставлю тебя в ужасное положение, и все-таки не могу. Очень горько, что нельзя оказать этой услуги.

Завтра рассчитываю послать вам двести рублей.

Больше не могу писать — голова болит. Завтра напишу подробнее.

И. Б.

Меня этот отказ после всех заверений в дружбе и желании быть полезным так возмутил, что я написала ему очень резко, наотрез отказываясь от дальнейшей переписки и каких бы то ни было взаимоотношений с ним.

Наши письма разошлись, и, еще не успев получить моего гневного, он написал мне, как ни в чем не бывало, отвечая на предыдущее мое вполне дружеское письмо, где я делилась с ним всеми своими бедами; а сама я опять заболела. Возобновились приступы холецистита, начавшиеся во время Таниной болезни.

Исаак Эммануилович отвечал мне на все эти мои жалобы, прибавив свое обычное — о деньгах. И опять о привезенном им Мише костюмчике, застрявшем на таможене.

169. Из Киева — в Москву

Киев, 16/XI — 28.

Тамара, послал тебе 200 рубл. Прошу подтвердить получение этих денег. Вчера не мог написать подробнее, п. ч. голова очень болела. Я теперь часто хвораю. Очень часты головные боли, очевидно, у меня мозговое переутомление. Тут бы работать, а голова часто отказывается. Часто мне бывает от этого очень грустно. Но так как я упрям и терпелив, то надеюсь, что вылечу себя.

Теперь о деньгах. Посылаю сколько могу. Это главная моя забота — чтобы вам не только было более или менее удобно жить, но главное этого, чтобы ни к кому не прибегать с просьбами, быть независимыми, не быть жалкими. Я не знаю, сколько смогу послать в будущем месяце; первый месяц после приезда из-за границы был у меня благополучный — подобрались от Вуфку и от заштатных каких-то издательств долги, так как я еще несколько месяцев зарабатывать не буду, то, может, дальше будет хуже. Впрочем, буду стараться.

О посылке, право, ничего не могу сказать. Когда получишь от таможи извещение, тебе все объяснят; как я уже писал, ты сможешь обратиться к А. Винокуру, в Главное Таможенное Управление. С моим чемоданом тоже беда, все еще не прибыл, наверное, распатронили его здорово. Беда, не во что одеться, да и заметок, вырезок в этом чемодане тьма.

Как здоровье Тани? Что наш орел подделывает? Прости меня, но я не думаю, чтобы у тебя, Тамара, могло быть органическое, хроническое заболевание. Рано еще как будто. Если суждено тебе войти в норму, тогда, я думаю, все исчезнет.

Поступок Ник. Вас.⁴⁰ я объясняю себе так, что он, боясь новой своей жены, хочет, чтобы деньги автоматически вычитались, а то добровольно она, может, и не отдаст (нету чернил, окончу карандашом). А, впрочем, может, есть и другие причины, о которых я не догадываюсь.

Есть ли у тебя уже работа?.. Хорошо было бы набрести на что-нибудь прочное, постоянное... Я пока остаюсь в Киеве, вернее, за Киевом, живу, можно сказать, в губе у старой старухи, отшельником — и очень от этого выправляюсь душой и телом. Может, и хворости пройдут. До свиданья.

И. Б.

Я еще раз подтвердила свой отказ от переписки. Написала, что никаких денег я все равно не приму, — у меня много работы, и я вполне достаточно зарабатываю.

Жилищный суд я тоже выиграла. И без посторонней помощи. Успела-таки получить ходившую по инстанциям справку о полагающейся мне как режиссеру дополнительной площади.

Словом, я просила Бабеля больше обо мне не заботиться. И не писать мне.

Однако через месяц пришло от него еще два письма; одно ко мне, другое к Тане (ответ на ее давнее, посланное почти тотчас по его возвращении в СССР).

170. Из Киева — в Москву

Киев, 12 декабря 1928

Милая Таня. Спасибо за письмо. Оно очень меня обрадовало. Рад я и тому, что игрушки тебе понравились. За границей, в магазинах, я видел множество прекрасных игрушек, но ты знаешь, верно, что их не разрешают привозить к нам. Ужасно жалко. Напиши мне, пожалуйста, есть ли у тебя лыжи или коньки. Ты уже большая девочка, и, я думаю, тебе пора научиться бегать на лыжах или на коньках. Это очень весело и полезно. Я живу неподалеку от Киева, в маленьком домике, у одной очень доброй старухи. Одна беда — зима сюда никак не приходит, все слякоть и дожди. Я скучаю по северной московской зиме. У вас, верно, и снегу уже навалило, и на санках ездят.

Кланяйся Мише. Если будет какое дело — напиши. Я с великой охотой исполню твои поручения.

Любящий тебя И. Бабель.

171. Из Киева — в Москву

Киев, 11/ХІІ — 28.

Тамара, в дурацком этом Совторгфлоте мне сказали, что Мишкин костюмчик переотправлен из таможи в Москву. Неужели ты его еще не получила? Вот уж и злосчастный мой чемодан прибыл, и я послал Лившицам заказанный Людмилой Николаевной костюм для их девочки. А нашего все нет... Нечего сказать, толково я распорядился. Если нужно заплатить пошлину, напиши мне.

У меня решительно ничего нового. Нелюдимое состояние укрепляется. Отвычка от добросовестной, независимой, систематической работы была так велика, что теперь, когда я пытаюсь внести в мою жизнь сколько могу покоя и чистоты, я с горечью и раскаянием думаю о том, сколько было халтуры, сколько гнусностей, обид и ошибок. А может, это была судьба? Правда, от судьбы не уйдешь, не внешней, мотающей нас судьбы, а внутренней скорби и безумия.

Может, в конце месяца двинусь куда-нибудь. Впрочем, до этого я напишу еще.

Нынче жаловался Тане на киевскую зиму; как у вас, в столицах?

Хорошая ли у тебя работа, много ли ее?

И.

Я всегда отличалась вспыльчивостью, но и отходчивостью. Однако тут я все еще не отошла. А письма даже поддали жару. Они показались мне какими-то через силу написанными, неискренними, даже пренебрежительными, начисто

⁴⁰ Н. В. Неврев настаивал на получении от него алиментов на дочь Таню.

игнорирующими мои предшествовавшие. Под горячую руку я еще раз написала, что прощу оставить меня в покое и не писать мне больше **никогда**.

Здесь надо поставить точку и начинать новую главу.

Но в заключение хочу добавить, что на этом наша переписка кончилась и Исаака Эммануиловича я больше уже никогда не видела.

За исключением одного случая в Париже (в 1932 году), когда он появился (вероятно, пришел к кому-то в гости) в том отеле, где мы жили тогда со Всеволодом. Мы спускались по лестнице, весело разговаривая. Вдруг Всеволод замолчал и как-то весь сразу почернел. Я посмотрела в направлении его взгляда и увидела в вестибюле Исаака Эммануиловича. Мы прошли мимо него не поздоровавшись. Я предложила Всеволоду переехать в другой отель. Он радостно согласился. И мы немедленно переехали.

В Москве, в нашем кругу, всем было известно, что Всеволод не переносит не только вида Бабеля, но даже упоминания его имени, поэтому Бабеля от нас прятали. Так поступали, например, в Горках, у Горького, если Бабель там оказывался к моменту нашего приезда. Да и сам Бабель прятался от нас, а мы-то уж никак не искали встреч с ним.

Всеволод никогда (вернее сказать, до самого трагического конца Бабеля, после которого, конечно, все переменялось и в чувствах к нему Всеволода) не мог простить мне, что я любила Бабеля, — это было для Всеволода незаживающей раной.

Когда Мише было года три-четыре, Исаак Эммануилович засылал ко мне послов с просьбой разрешить ему свидание с сыном. Я наотрез отказалась. Миша считал Всеволода своим отцом (ведь ему и двух лет не исполнилось, когда Всеволод вошел в мою жизнь), очень любил его, а Всеволод прекрасно к нему относился⁴¹. Имела ли я право осложнять жизнь ребенка какой-то непонятной ему двойственностью? Я посчитала, что не имела, и никогда не раскаивалась в том, что отказала Бабелю в свидании с сыном.

Всеволод был Мише прекрасным отцом, и Миша всегда испытывал и продолжает испытывать к нему подлинные сыновьи чувства.

Во всех злоключениях, вызванных моей любовью к Бабелю, я сама была виновата. Я никак не могла научиться понимать его и никак не годилась в спутницы его жизни.

Во всяком случае, сознательно я никогда не хотела причинить ему зло. Наоборот, на все была готова для его блага. Но представления о том, что есть благо, у нас с ним никогда не совпадали. Дружить же без взаимопонимания оказалось тяжелее, чем любить без взаимности.

Послесловие

Постаралась прочесть свою публикацию писем Бабеля к Тамаре Кашириной (психология которой для меня теперешней трудно представима) глазами не участника событий, а читателя. Ибо всеми фибрами своего существа я ощущаю себя вдовой Всеволода Иванова, ставшего «человеком моей жизни», Бабель же был всего лишь эпизодом.

Как читатель я свою публикацию не одобрила. В ней слишком много о чувствах получательницы писем и недостаточно о Бабеле, человеке куда более сложном и глубоком, чем он получается по своим письмам. Письма можно отнести к категории любовных, а он был человеком много- и разносторонним. Тамара Каширина хотела от него невозможного. Он бежал к ней от «семьи», а она требовала создания новой семьи — пусть иного толка, но все же семьи.

Бабель страдал от невозможности проявить свой талант ни в условиях, исключающих творчество в Советском Союзе, ни в буржуазном мире. И тут и там он ощущал свое вдохновение никому не нужным и обескрыленным. Творчество же было основой его жизни. Поразительно, что в момент наивысшего любовного увлечения Тамарой Кашириной он дает ей деловое поручение в журнал. Наивысшая форма связи с человеком проходит для него только через творчество. Если постараться рассуждать объективно, Т. К. была способна оказаться таким человеком, потому что потом именно такой союз создался у нее с Всеволодом Ивановым. Привожу рядовую записку, в которой отражены и отчаяние Бабеля из-за невозможности развития творчества в СССР, и общее неприятие им советской власти.

«Бесценный гражданин В. В. Иванов. Прибыв сего числа к месту назначения, не замедлю явиться на занимаемую вами площадь, дабы выразить вам соболезнование по поводу как общего положения (продолжающаяся власть рабочих и крестьян и сопряженные с этим для нас затруднения), а также частного положения безумцев, сде-

⁴¹ М. В. Иванов родился 13 июля 1926 г. Но при усыновлении Вс. Иванов изменил в документах месяц и год его рождения, надеясь, что таким образом ребенок никогда не узнает, кто его родной отец.

лавших вдохновение источником своих унижений. Пока же выдайте угнетенной подавательнице сего письмо ко мне сановного Ольшевца. Судя по записке, какая-то девственница привезла это письмо. Кто эта девственница и не заблуждается ли она в своих утверждениях?

Анне Павловне пламенный привет.

Твой любящий тебя

И. Бабель.

Вся записка проникнута иронией, которая была основной чертой характера Бабеля. В данной записке ирония в отношении советской власти переходит в сарказм.

Высказав свое истинное отношение к окружающему, делающему подлинное творчество невозможным, Бабель не может остановиться в своих «обличениях», распространяя их и на не ведомую ему девицу, принимая условное обозначение за точный синоним «девственница» и подвергая его саркастическому сомнению.

Судя по этой записке, Исаак Эммануилович был настроен столь негативно к настоящему и будущему советской власти, что стремился спасти от нее всех своих близких. И спасение виделось ему только в отправке их в места, где, как ему казалось, можно обрести дыхание для творчества.

Если сопоставить эту записку с воспоминаниями о Бабеле Анненкова, можно сделать вывод, что сам Бабель, очутившись за границей, никакой «свободы дыхания» там не обрел и вынужден был уехать обратно, оставляя семью, чтобы постараться заработать в Советском Союзе на их проживание «на воле», так как ему-то эта «воля» не давала никакой возможности заработка творческим трудом.

Вернувшись на родину, он мечтал, «глотив свободу», писать по новому методу, живя в глуши и не общаясь «ни с литературными, ни с начальственными кругами».

Но «суждены нам благие порывы...». По воспоминаниям А. Н. Пирожковой, ни о какой работе «для себя», «душевной», и речи не было.

Бабель опять с головой ушел — для заработка — в кинематографическую халтуру.

Его дочь от законной жены Евгении Борисовны, рожденная в Париже и живущая в Америке, издала том писем своего отца к бабушке и тетке, жившим в Брюсселе. Я читала этот томик на французском языке, находясь в 1984 году в гостях, в Париже.

Читатели, не знающие Бабеля-человека, могут посчитать его по этим письмам человеком невменяемым или, во всяком случае, не ведающим, к чему могут привести его поступки. С невероятным трудом удалось ему отправить семью за границу, и вот в самый тяжкий период глобальной посадки в тюрьмы и лагеря граждан СССР он отчаянно призывает мать и сестру вернуться, уговорив уехать с собой и жену с дочерью младенческого возраста.

Признаюсь, что и меня как читателя эти обращенные к семье призывы вернуть ошеломили.

Но я-то читатель, знающий того, чьи письма читала. Я стала искать разгадку, вчитываясь в текст писем, и нашла ее. Призывая вернуться, Исаак Эммануилович всякий раз упоминал, что отправил письмо жене с приятелем, едущим в командировку. Мне стало ясно, что в письмах, отправленных с оказией, он заклинал не верить письмам, приходившим по почте. Он явно не сомневался, что письма перлюстрируются и это в данном случае необходимо использовать как «законное» доказательство необходимости выслать деньги своей семье — на дорогу домой.

Человек умный, Бабель не мог не понимать, что сам он в любой момент может быть репрессирован. В воспоминаниях художника Валентины Михайловны Ходасевич есть описание, как она пришла к Бабелю, зная о его «дружбе» с Ежовым, просить похлопотать за ее репрессированного мужа, а Исаак Эммануилович сказал ей: «Скорее уходите. Самое опасное — общение со мной!»

Дочь Бабеля, издавшая эти «призывающие семью» письма, его совершенно не знала, видела только, будучи младенцем. Ее предисловие к публикуемым письмам свидетельствует о полном непонимании дочерью личности своего отца.

Он и сам вернулся бы к ним за границу, да путь для него был уже отрезан. Его ждала другая, «смертная дорога», и он хотел успеть до начала крестного своего пути успеть послать семье как можно больше денег, чтобы им было на что жить в «свободном мире», которому он оказался не нужным, да и сам его не принял.

Возвращаясь на родину, он питал иллюзорную надежду, что теперь-то его творчество окажется нужным, но... Писать по заказу, принять указку соцреализма он был не в состоянии. А ведь даже написанный им до отъезда «Закат» пришлось не ко двору. Следовательно, не было никакой реальной возможности опубликовать те труды, которые он начал создавать по новому методу. Каков этот новый метод, он изложил в общих чертах на своем творческом вечере, состоявшемся незадолго до ареста. При аресте же все его рукописи были изъяты, а он еще не успел ни одной из них отправить в какую-либо редакцию. Остается единственная надежда, что в архивах КГБ найдутся изъятые у писателей рукописи, в том числе и бабелевские. Тогда почитатели его таланта смогут ознакомиться с его новым методом, до сих пор никому неизвестным.

Тамара ИВАНОВА

Старинные легенды

Всемирно известный роман Густава Мейринка «Голем» впервые на русском языке вышел в 1922 году в переводе Д. И. Выготского, и только в прошлом году журнал «Иностранная литература» издал его заново в приложении. Очередное явление «глиняного чурбана», созданного согласно средневековой легенде знаменитым ученым, талмудистом, главным пражским раввином Магаралом, прошло почти не замеченным, во всяком случае, в критике. Может быть, потому, что явился искусственно созданный робот не в срок (по легенде он воскресает каждые тридцать три года). Впрочем, то, что могли бы сказать критики о романе сегодня, уже, верно, было сказано их коллегами прежде. Но вот в архиве поэта Леонида Мартынова сохранились любопытные заметки, посвященные «Голему». Суждения и гипотезы, высказанные в них, в начале 70-х годов, возможно, многим покажутся фантастическими и спорными, тем не менее точка зрения поэта, неожиданная и оригинальная, очевидно, будет интересна читателям и поклонникам этого выдающегося произведения.

Моя жена говорит, что я должен писать только о том, что я хорошо знаю. Она говорит, что, будучи полным профаном в медицине, я не имею права судить о ней. Но я и не собираюсь писать больше, чем знаю. Мне только кажется, что сперва, когда еще наша медицина не стояла на позиции классической генетики. Мария Семеновна (Певзнер-Рейснер.— Ред.), представляя нашу медицину на зарубежных конгрессах, вела кое-какие споры с некоторыми учеными, которые, якобы стоя на позициях классической генетики, судили о болезни Дауна как о наследственной и только наследственной болезни, не имеющей ничего общего с влиянием среды и, таким образом, не зависящей от этой среды и не поддающейся лечению. Мария Семеновна, еще не стоя на платформе классической генетики, смотрела на вопрос более оптимистично и, подчеркивая внешние факторы, вызывающие болезнь: природовые травмы, инфекции, то есть влияние среды,— указывала на новые, более широкие возможности борьбы с болезнью Дауна в более человеческих условиях социалистического мира. В дальнейшем же, когда и в нашей стране наряду с кибернетикой была восстановлена в правах и генетика, Мария Семеновна и во всеоружии этой науки продолжала, как мне кажется, делать то, что может, для облегчения этих больных, у которых обнаруживается лишняя хромосома в XXI паре, что, как это установлено на современном этапе биологической науки, и сообщает этим детям уродливую внешность, укороченные ко-

нечности и диластичное строение тела, скуластость, монголоидность. Вот что я уяснил из книжек Марии Семеновны, одна из которых, «Дети олигофрены», переиздана в Соединенных Штатах. И, относясь с полным уважением к ее трудам, я позволял и позволяю себе лишь одно: почтительно расспрашивать Марию Семеновну и не менее почтительно высказывать ей некоторые свои, пусть наивные, пусть сугубо ненаучные, а, так сказать, поэтические соображения на этот счет.

— Мария Семеновна,— спросил я ее однажды,— а что вы думаете о Големе?

Оказалось, что она ничего не думает о Големе, потому что ничего и не знает о нем и даже не видела пустячной чешской комедии, в которой Голем показан карикатурно.

И тогда я рассказал Марии Семеновне все, что я знаю о Големе. Я поведал о том, как еще в первой половине двадцатых годов я прочел вышедший в горьковской серии новинок иностранной литературы роман Густава Мейринка «Голем», в котором (как говорится в энциклопедии) «социальные противоречия большого капиталистического города являются фоном для фантастического образа двойника Голема, заимствованного из еврейской народной легенды», а говоря попросту, не энциклопедическим, а разговорным языком, там, в этом романе, безо всякого «пародийно-сатирического изображения буржуазного строя» описано явление Голема в Праге, в XX веке, перед германской войной и крахом Австро-Венгерской империи. В атмосфе-

ре декаданса, полубезумный, очнувшийся от потери памяти после личной трагедии герой романа, опекаемый добрыми людьми из пражской богемы, узнает легенду о Големе.

В стародавние времена некий пражский раввин-кабалист вылепил себе из глины робота Голема и, одухотворив его с помощью вложенной ему в пасть магической записки, заставил исполнять домашние работы: топить печь, готовить обед, мыть посуду и мыслить. Но однажды в непогоду сильный ветер выдул из пасти Голема магическую записку, и робот взбесился, переломал все кругом и исчез, чтоб появляться вновь на улицах старой Праги перед всяческими несчастьями — мором, голодом и войнами. Вновь возникая из небытия (вернее, из башни без окон и дверей в Старом Месте), он издалека казался гигантом, но по мере приближения становился все меньше, сокращаясь из великана в карлика, преобразаясь из мощного детеныша в ребенка, в младенца и чуть ли не в существо, по размеру подобное семени человеческого, сперматозоиду. И те, кому довелось увидеть Голема, утверждали, что он неуклюж, скуласт, плосколиц, узкоглаз, то есть — добавляю я от себя — монголоиден, подобно ребенку-олигофрену, понимаете ли вы это, дорогая Мария Семеновна!

— Допустим, — ответила она, — но я не совсем понимаю, куда вы ведете!

— А вот куда: смысл поверья, легенды или как там еще это назвать, по-моему, ясен. Во дни народных бедствий, в годы бурь, глады и мора, когда где-то на горизонте маячили призраки гигантов-разрушителей, всюду кругом, поблизости появлялись из чрев материнских уродцы, монголоидные младенцы, болезненные чада, те самые, которых мы с вами называем олигофренами. По-моему, легенда о Големе гораздо старше ее рассказчиков — пражан XVII века, которые ее, так сказать, оформили окончательно, а возникла она еще по крайней мере во времена монгольских нашествий, и имя Голем поначалу звучало, вероятно, не Голем, а Монголем, то есть прежде, чем стать локально еврейским Големом, оно был всеевропейским Монголемом. А нашествие кочевых народов Востока на Европу вызывалось не чем иным, как поиском новых угодий, пастбищ, недостаток которых на старой родине вызывался, как известно, изменением климата — засухами и всеми другими последствиями великих максимумов солнцедельности. Так что магическую записку из пасти бушующего Голема-Монголема выдувал не какой-нибудь иной, а солнечный ветер. И вот давно уж прекратились монгольские нашествия, а все же в период больших солнечных максимумов и связанных с ними тех или иных возмущений в природе, как в Европе, так и не в Европе продолжали рождаться эти болезненные монголоидные младенцы.

И помню, как однажды, толкуя о монголоидности детей-олигофренов и вида недовольное лицо Марии Семеновны, недолюбливающей этот термин — монголоидность, — я воскликнул:

— Мария Семеновна, я вижу, что вы хотите мне возразить, вы хотите сказать, что я кидаю солнечную тень на всех монголов, как бы утверждая, что все они в силу своей монголоидности суть потомки людей, пораженных когда-то солнечной радиацией, и таким образом являются как бы больными или потомками больных, хотя, как известно, олигофрены и не дают потомства! Нет, я, наоборот, считаю всех монголов и монголовидных людей здоровейшими из здоровых, потому что их предки, а может быть, и они сами, подвергнувшись опаснейшему солнечному испытанию, перебороли его губительное влияние и передали потомкам своим иммунитет к нему, и создали могущественные в былом и оставшиеся таковыми и позже кочевые, а затем и оседлые державы племен, распространившиеся из Азии в Европу и Америку. Они дали миру и Чингисхана, и Тимурленга, и славных вождей североамериканских индейцев, и южноамериканских инков. А в Европе! Мало ли добрых людей, отнюдь не олигофренов, но все-таки с неожиданным монголоидным обликом и среди европейцев! Сократ, Верлен, Достоевский, да и Максим Горький — не солнечным ли ветром овеяны их скуластые монголоидные облики и блестящие некоей с обывательской точки зрения, болезненной «ненормальностью» взоры их узковатых вдохновенных очей! В этих очах я вижу отблеск древних солнечных взрывов, уничтоживших когда-то на земле власть пресмыкающихся, но открывших дорогу млекопитающим и в том числе человеку. Человек, покоритель огня, выдержал борьбу с солнцем! Вот какова диалектика природы!

— Что и говорить, у вас богатое воображение! — воскликнула Мария Семеновна.

— Да, — согласился я. — Воображение — это не фунт гороха. И позвольте мне, не отрываясь от темы нашей беседы, рассказать вам еще одну притчу о том же Големе, связанную как раз с воображением.

Среди многих преданий о Големе существует и следующее, которое я узнал совершенно случайно из книжки товарища Беленького о Спинозе, вышедшей не так давно в серии «Замечательных людей», основанной когда-то опять-таки Горьким. В этой книге, я уже не помню, в какой связи, кто-то рассказывает философу Спинозе о том, что в 1602 году, когда Европу поразила чума, португальские лиссабонские евреи вздумали послать депутацию в Прагу к тому самому раввину Леви, который смастерил Голема. Имелось в виду спросить у знаменитого кабалиста, за что Бог наказывает Европу чумой и чем можно умиротво-

речь гнев Господень. «Не знаю, не знаю, — будто бы ответил премудрый раввин, — впрочем, попробуем спросить у Голема!» И спросила у Голема, который тогда еще не взбесился, а был занят мирной домашней работой и умственной. И Голем сказал, что он тоже не знает, но полагает, что надо спросить у души какого-нибудь невинного дитяти, погибшего от той же самой чумы. Невинные детские души, вылетая из могил, реют в небе вокруг престола Господня и находятся в курсе небесных дел... И вот пошли на погост, и Голем ловко поймал душу дитяти, порхавшую в ту ночь над могилкой, возвращаясь в нее. Но душа дитяти, трепеща, сказала, что не может выдавать тайн небесных, ибо если сделает это, то будет жестоко наказана ангелами, которые высекут ее железно-пылающими розгами молний. «Но ведь дело идет о судьбах всей Европы! Согласись пострадать на благо человечества, сделай доброе дело!» И тогда душа дитяти пошла на такой компромисс: «Я скажу. Но только обиняками. Намеками! На окраине Праги есть жалкая хижина, я укажу, где И в этой хибарке — загадка тайны!» И они пошли и увидели указанную хибарку. «Но ведь это — жилище моего любимейшего, талантливейшего ученика, горбуна Гамаила!» — воскликнул раввин Леви. И забарабанил в дверь. Но дверь не открылась. «Ломай!» — приказал хозяин-кабалист слуге-роботу, и Голем взломал дверь. Из темной хибарки хлынул ослепительный свет. Послышался шум и гам, и все увидели, что в крохотной хижине вмещается громадный многолюдный чертог, в котором идет пир во время чумы, возглавляемый несчастным горбуном Гамаилом, восседающим на председательском месте с блудницею на коленях.

— Несчастный, это ты виновник всех бедствий Европы! — воскликнул раввин Леви. — Вот что ты вызвал своим развратом!

— Виноват, равви! — ответил горбун и, сбросив с колен блудницу, сам пал на колени перед учителем. — Я виноват. Но прошу снисхождения. Смотри: чертог исчезает, бражники испаряются. Ведь все это только плод моего воображения!

Вот какую силу, оказывается, может иметь воображение. Чего только не порождает оно. Я имею в виду, конечно, не эту легенду, саму по себе очень мудрую, но факты, факты. Не горячее ли воображение кликуш и монахов породило ужасы инквизиции? Не темное ли воображение графа Гобино породило расовую теорию? Не гнусное ли воображение Гитлера, подхватившего эту теорию, породило ужасную, убийственную крематорийную и душегубочную явь! Да можно пойти еще дальше и дальше, фактов кругом достаточно.

Я, думая обо всем происходившем и происходящем, утешаю себя лично только тем, что мое собственное воображение, само собой, тоже иногда в какой-то

мере грешащее и порождающее, может быть, и негативные образы, в целом все же направлено в хорошую сторону: я лично грежу добрыми делами, такими, как, например, экология, — воссоздание равновесия в природе, создание взамен существующей буревой биосферы так называемой сферы, которую великий ученый нашего времени Вернадский называет ноосферой, то есть сферой разума. Профессор Фабрикант цитирует мои стихи для иллюстрации своих лекций о лазерах и мазерах. Я грежу о создании электромагнитных ловушек для плазмы, чтоб в конце концов предохранить нас от всяких неприятностей — и от радиации после атомных взрывов, и от последствий естественной солнечной радиации, то есть от возможных потрясений и болезней, которых в прошлом человечество не могло предотвратить. Я, быть может, фантазирую дилетантски, мечтаю, что мы справимся не только с такими мелочами, как, например, наступление энцефалитного клеща на запад с Дальнего Востока, и даже не только с болезнью Дауна, но возможно, что и с новым ледниковым периодом, а наступление ледников приносило роду людскому, как я догадываюсь, немало неприятностей в былом.

Казалось бы, что на том и надо закончить это порядочно затянувшееся повествование, но в связи со спорами с Марией Семеновной мне вспоминается еще и вот какой факт. Это было лет десять назад. Однажды, возвращаясь из Италии, мы прилетели вечером в Прагу, и выяснилось, что придется заночевать в гостинице между аэропортом и городом. Эта гостиница показалась мне в сумерках каким-то башнеобразным старинным домиком, да и внутри оказалась довольно странным страннопримным местечком. Из холла какие-то лесенки уводили ввысь к номерам-клетушкам. Полагался ужин за счет Аэрофлота, все собрались вниз. Молча явился официант с подносом. Пилзенское пиво и какие-то колбаски; и, взглянув тогда на этого буфетчика, я подумал, что он движется, как заведенный. Затем почти все разбрелись спать, в холле осталась только одна англичанка, тоже летящая в Москву и, опасаясь русских морозов, держащая в объятиях, как медвежонка, какой-то болгарский полушубок. Мне не хотелось идти спать, но было трудно беседовать с ней, и, так как шел лишь одиннадцатый час, я сказал одному своему товарищу, что хорошо бы ударить отсюда на некоторое время в город, в какое-нибудь место злачное. Так и порешили: я, он и еще кто-то из нас оделись и пошли к выходу в темную ночь. У входа возник тот же, похожий на робота, буфетчик, который теперь уже стал прихватником. Он безразличным голосом спросил, куда мы направляемся столь поздно, но, услышав наш ответ, что в город, в ресторан, вдруг просиял и весело объяснил нам, как добраться до

ближайшей остановки трамвая. «Не торопитесь, когда бы вы ни вернулись, звоните, я вам открою», — сказал он, — желаю вам приятно провести время».

Приехав в город, мы, кажется, дозвонились до кого-то из наших знакомых и, побродив по Старому Месту, вышли к центру, где и нашли, что искали. И, сидя за стойкой бара и наблюдая танцующих под музыку молодых людей, простых, хороших ребят — студентов, художников и рабочих с их подругами, я пришел в такое хорошее настроение, что мне показалось, будто среди танцующих вижу и тень англичанки, пляшущей в обнимку с собственным медвежонком, и веселого, уже несколько не похожего на робота привратника из нашей башни с буфетным подносом в руках. Конечно, это был не он, а один из официантов ночной винарни. И тогда я сказал моему знакомому литератору из молодежной газеты, как все это прекрасно и сколь не похоже на зловещее пражское ночное заведение, описанное в ро-

мане «Голем» Густава Мейринка. И, видя, что юноша смотрит на меня несколько озадаченно, я спросил:

— Вы что, не знаете «Голема» Густава Мейринка?

— Я, конечно, знаю Меринга, — задумчиво ответил журналист, — но только я не знал, что у Франца, — он подчеркнул — «у Фрайца» — Меринга, автора известной «Легенды о Лессинге», есть роман, как вы сказали, «Голем».

И этот товарищ посмотрел на меня не менее, а пожалуй, и более снисходительно, чем глядит на меня во время моих разглагольствований на медицинские темы наша добрейшая Мария Семеновна, которая вот-вот должна позвать нас в гости, вернувшись с Кавказского побережья, где загорала под нежными лучами осеннего солнца, этого ясного солнца, как будто бы не способного ни на какие коварства.

Публикация Г. СУХОВОЙ-МАРТЫНОВОЙ.

Подписка на журнал «ОКТЯБРЬ» на 1993 год принимается всеми отделениями связи и органами «Роспечати» и предприятиями связи стран Содружества.

Ф. СП-1

АБОНЕМЕНТ на газету журнал **73293**
ОКТЯБРЬ (индекс издания)
 (наименование издания) Количество комплектов: _____

на 19 _____ год по месяцам

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____
 (почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
 (фамилия, инициалы)

ДОСТАВочНАЯ КАРТОЧКА

ПВ _____ место _____ литер _____ на газету журнал **73293**
ОКТЯБРЬ (индекс издания)
 (наименование издания)

Стоимость	подписки _____ руб.	коп.	Количество комплектов
	перс. адресовки _____ руб.	коп.	

на 19 _____ год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда _____
 (почтовый индекс) (адрес)

Кому _____
 (фамилия, инициалы)

Подписка будет проводиться дважды в год: сначала на первое полугодие, затем на второе полугодие; кроме того, с каждого очередного месяца.

*Подписная цена
будет объявлена в Каталоге газет
и журналов на 1993 год*

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА!**

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ — МЕСТО» производится работниками предприятий связи.

Читайте в ближайших номерах:

Пауль ТИЛЛИХ. **Мужество быть.**

«Подлинной трагедией нашего времени стало то, что марксизм, возникший как движение за освобождение каждого, превратился в систему порабощения каждого, даже тех, кто сам порабощает других. Трудно представить себе размеры этой трагедии и ту психологическую катастрофу — особенно в среде интеллигенции, — которую она повлекла за собой. Огромное число людей утратило мужество быть, потому что это было мужество быть в смысле революционных движений XIX века. Когда оно потерпело крах, люди обратились либо к неокolleктивистской системе, что было фанатично-невротической реакцией на причину их трагического разочарования, либо к цинично-невротическому безразличию по отношению к любой системе и всякому содержанию».

«Октябрь» – 1993

Марк АЛДАНОВ. Начало конца. Роман.

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей,
или Тысячелетняя загадка России.

Михаил АРДОВ, священник. Мелочи архи...
прото... и просто иерейской жизни.
Картинки с натуры.

Борис ВАСИЛЬЕВ. Дом, который построил Дед
(Время выбора.) Роман, книга вторая.

Юрий ВЛАСОВ. Тайная Россия. Роман.

Владимир ВОЙНОВИЧ. Замысел. Роман.

Игорь ВОЛГИН. Политический процесс.
Достоевский и современники: жизнь в
документах. Книга вторая.

Антон ДЕНИКИН. Очерки русской смуты.
Тт. IV—V.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Мытари и блудницы. Роман.

Руслан КИРЕЕВ. Песни Овидия. Повесть.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ. Иисус Неизвестный.
Роман-эссе.

Нонна МОРДЮКОВА. Записки актрисы.

Вячеслав СУХНЕВ. В Москве полночь. Роман.

Юлиу ЭДЛИС. Сия пустынная страна. Повесть.

Подробнее о планах «Октября» на 1993 год читайте на стр. 3—6.